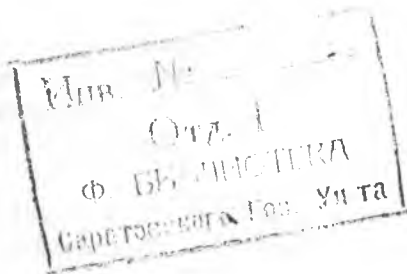


И. Г. Чернышевский

СБОРНИК.

Неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания.



Издание Нижне-Волжского Областного Научного
Общества Краеведения.

САРАТОВ.
1926.

2011

Улит. № 630.

Г. Вольск, тип. „Красный Печатник“ Комбината.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Предисловие	I—II
Из неизданных текстов Н. Г. Чернышевского:	
Мелкие рассказы:	3—35
1. Приключение друга	5.
2. Духовная сила	13.
3. Влюбленный	18.
4. Сходство мыслей	22.
5. Из Бхагават Гиты	22.
6. На правом боку	23.
7. Покража	28.
8. Сцена вторая	30.
9. Сватовство герцога Сен-Симона	30.
10. Герцог Альба	32.
11. Сцена третья	33.
12. Письмо	33.
13. Письмо	35.
Мысли о будущем Саратова	36—39
С т а т ь и:	
В. Бельский. Вопросы кооперации в разработке Н. Г. Чернышевского	40—56
Ю. Иванов. Н. Г. Чернышевский о „Падении“ Римской Империи	57—67
Г. Ильинский. О филологических работах Н. Г. Чернышевского	68—72
Василий Гиппиус. Чернышевский—стихoved	73—91
А. Скафтымов. Роман „Что делать?“	92—140
И. Чернышевская-Быстрова. Из литературных отношений Н. Г. Чернышевского к И. И. Барышеву-Мясницкому	141—154
Письмо А. Н. Плещеева к А. Н. Пыпину.	155—158
А. Скафтымов. Чернышевский и Плещеев.	159—169
С. Чернов. Н. Г. Чернышевский—учитель Саратовской гимназии	170—196
С. Быстров. Топография Саратова и его окрестностей по воспоминаниям Н. Г. Чернышевского	197—205
Марианна Чернышевская. Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской	206—214
М. Чернышевская. Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской	215—220
азатель имен	221—224

Личность, деятельность и жизненная судьба Н. Г. Чернышевского в общественном сознании саратовцев занимает особое положение. Имя Чернышевского выдвигается как знамя главных культурных учреждений города (Государственный Университет, Театр). Местные научные учреждения ставят одну из своих существенных задач изучение его жизни и деятельности и широкое обнародование его общественных и научных стремлений и достижений. В деле научного изучения Н. Г. Чернышевского весьма значительную опору является местный Дом-музей его имени, основанный сыном Н. Г.,* Михаилом Николаевичем Чернышевским.

30-го (17-го ст. ст.) октября 1924 года исполнилось тридцать пять лет со дня смерти Н. Г. Чернышевского (1889—1924). Нижневолжское Областное Научное Общество Краеведения изданием настоящего сборника имело в виду отметить память этого дня. Большинство статей, входящих в его состав, были прочитаны в качестве докладов в заседаниях Общества, посвященных тридцатипятилетию. Непредвиденные трудности печатания почти на два года отодвинули выпуск книги, и некоторые новые обстоятельства изменили ее первоначальный план. Первоначальный состав сборника был сокращен в меньшем объеме и лишь впоследствии, когда первые листы были уже отпечатаны, оказалось возможным его расширить новыми статьями. Из неизданных текстов Н. Г. Чернышевского в настоящем сборнике печатаются первая половина „Мелких рассказов“ ¹⁾ и незаконченная статья Чернышевского о Саратове. Вторая половина „Рассказов“ будет помещена во 2-м сборнике, который в настоящее время готовится к печати.

Редакция сборника принадлежала редакционной коллегии, выделенной Нижневолжским Областным Научным Обществом Краеведения в составе его председателя П. С. Рыкова, и членов: П. Г. Любомирова, А. П. Скафтымова и Н. М. Чернышевской-Быстровой с главным поручением А. П. Скафтымову. Редакционные примечания даны А. П. Скафтымовым и Н. М. Чернышевской-Быстровой.

¹⁾ Из серии „Мелких рассказов“ за время печатания сборника в „Новом Мире“, 1925 г., № 3, были напечатаны „Это не сказка“, и „Приключение друга“.

240896

Из неизданных текстов Н. Г. Чернышевского.

Рассказы. Мысли о будущем Саратова.



ПРОВЕРЕНО

Мелкие рассказы.

„Мелкие рассказы“ написаны Чернышевским в Петропавловской крепости в 1864 г. Время их написания датируется самим автором, аккуратно проставлявшим на своих рукописях даты ежедневной работы. Рукопись рассказов, в свое время, вместе со всеми бумагами Чернышевского, поступившая в архив III Отделения, теперь хранится в Ленинградском Отделении Централхива. Первая дата на полях рукописи, против заглавия первого рассказа—21 февраля, последняя—в начале рассказа, озаглавленного из „дорожных воспоминаний“—21 марта. Текст был подготовлен к печати Мих. Ник. Чернышевским.

В рассказах Чернышевским взята не та писательская манера, которая известна по его уже напечатанной беллетристике („Что делать“, „Пролог“ и др.). Здесь автор как бы отсутствует, совершенно сливается с точкой зрения той среды, которая является как бы подлинной создательницей рассказанных событий и анекдотов. Пафос рассказа принадлежит не автору, а тому рассказчику, от какого ведется рассказ. В прямом непосредственно авторском пафосе, в обычной манере Чернышевского, написан лишь один рассказ „Видели-ли Вы?“ (№ 22). Это, собственно, и не рассказ, а некоторое рассуждение на тему о невинности в разврате неразвитой и неумной женщины, не имевшей возможности узнать „правил благородства“ и инертно отдавшейся влиянию темных обстоятельств.

Другие рассказы, рассматриваемые в отдельности, в отрыве от всего текста, объединенного общим заглавием, могут быть восприняты как ряд анекдотов, занимательных по необычности ситуаций или по исключительности каких-нибудь качеств или чудачеств действующих лиц. Однако, за невинностью мещанского анекдота скоро прозревается скрытая ирония автора, и в ней мы узнаем Чернышевского. Присутствие авторского „приговора“ над лицами и картинами обнаруживается уже в сопоставлении рассказов между собою. Например, „Сватовство Герцога Сен-Симона“ (№ 9), бросает свет на рассказ „Влюбленный“ (№ 3), рассказ „Герцог Альба“ (№ 10), судит героя рассказа „На правом боку“ (№ 6). Но, кроме этого, Чернышевский принял особые меры к тому, чтобы отделить себя от наивного обывательского сознания и сообщить читателю установку на скрытую иронию рассудительности и созерцания с высоты.

Всего под общим заглавием „Мелкие рассказы“ имеется 29 номеров. Но не каждый номер представляет собою, действительно, рассказ; под некоторыми из них, или в виде коротких диалогических сцен (№№ 4, 8, 11, 16, 17, 18, 26) или в виде переписки (№№ 12, 13, 27), даются беседы автора („Г-н N“) с двумя из своих читателей („Г-н X“ и „Г-жа X“); одна из таких комментирующих сцен (№ 19 „Ужасно“) развита в небольшую аллегорическую драматическую пьеску. Объяснительное значение этих сцен несомненно. Правда, Чернышевский и здесь предпочитает оставаться в лукавом „себе на уме“, он не открывает вполне своего лица и лишь намекает на что-то недоговоренное, но за просветами этих недомолвок узнается присутствие мысли, превращающей простодушие непритязательного анекдота в урок и сатиру.

В виду такой спаянности текста „Мелких рассказов“, представляется единственно рациональным его печатание только во всей полноте и целостности. Но по условиям издания не оказалось возможным поместить в этом сборнике полностью весь текст. Здесь печатается лишь первая половина рассказов в том их размещении, как это сделано самим автором. Вторую половину надеемся напечатать в следующем выпуске.

1. Приключение друга *).

Со мною не могло быть ничего такого. Я человек одинокий, никого не люблю, меня никто не любит,—какие огорчения в жизни могут быть у меня? Иной раз чувствуешь подагру или небольшую одышку, остальное все благополучно. Но бывает иногда досадно, когда видишь ошибку.

В молодости мы служили вместе с одним тоже отличным человеком. Он вышел в отставку, уехал в деревню, нажил детей, как следует. Провел в этом занятии лет двадцать пять, и вдруг я получаю от него письмо такого содержания, что, дескать, по старой дружбе, похлопочи: сын мой, говорит, прекрасный молодой человек, но имел несчастье влюбиться в девушку без состояния и даже не нашего сословия, а дочь соседнего управляющего,—я, пишет это мне отец, не спорю, что она прекрасная девушка, но не пара: потому он выкинул такую штуку, что увез ее, и где они теперь, неизвестно; а надобно полагать, скорее всего, в Петербурге, потому что,—все он пишет,—у моего сына нет ничего, ускакал с двумястами целковых; и что теперь он с нею едят, неизвестно, а надобно полагать, что сидят не евши; и хотя,—пишет он,—я очень досадовал, но отцовское сердце заговорило, да и мать этого повесы просит: неужели, говорит, мы уморим сына с голоду?—Потому,—он пишет,—старый дружище, поищи ты моего парня. Счастье наше с женою будет, если они не повенчаны; но не смеем и надеяться на это: как бы не повенчался, безумная голова, то давно бы написал, попросил прощения. Но ты скажи, что все прощаем, Голы они и босы, надо полагать,—ты их экипируй прилично, чтобы не стыдно было показаться в нашу здешнюю публику как следует сыну богатого помещика и его жене: когда повенчались, то уж дочь и она, толковать нечего: ну, экипаж тоже возьми, посади их да и отправь к нам в Бугуруслан, обнадеживши, что примем с ласкою и благословением и попреков не будет. Приметы же: сын—вылитый как я был в те годы, лишь с окладистою бородою; а борода черная. Она же лет 19-ти, маленькая, хорошенькая, востроносенькая, глаза серые, волоса шатеновые; а если не забыл, то похожа на нашу бывшую генеральшу Назаренкову, когда генеральша еще была в девицах.

Ладно, я говорю: поищем.

*) 21 февр. Даты, помещаемые здесь, являются пометками автора на полях рукописи.

Послал своего Игнатия Трофимовича в Адресный стол,— там ему дали штук до пятнадцати Гусевых, молодых людей, и женатых и холостых: он всяких брал, на оба, знаете, случая. Проездив, в два утра, три целковых, возвратился с тем, что так ни один и не подошел под приметы. Однако я сам с'ездил к двоим, которые казались по-подходяще других на его глаза: точно и они не подходят. Один женат на брюнетке, другой тетку показал: вот, говорит, удостоверьтесь от тетушки, что все наше семейство коренные петербургские жители, безвыездные, а если этого не довольно вам, то прошу вас, отправимся к отцу-матери моей супруги, они живут в Большой Офицерской в доме Рашетта. Нет, говорю, верю. Написал своему старому однокашнику: из пятнадцати человек ни один не подходит под твоего сына с его женою ли, любезною.

Получаю от моего Гусева ответ: не прост ли ты, друг? Как же ты хотел, чтобы молодой человек с девицею ли или женою, но благородною, скрывающиеся от родителей, жили под настоящим именем?

Точно, думаю, прав старик; а вот я тоже старик, но немножко опростоволосился. Ладно, поищем по приметам, наведем справки. Дал в этом смысле инструкцию своему Игнатию Трофимовичу, он подобрал себе в пособие человека два—три таких нюхальщиков, пошли нюхать по Петербургу. И сам я старался узнавать. Но конечно в таких вещах скорее можно доискаться по мелочным лавочкам и от дворников, и притом же их целых четверо искало, а я один,—не мне, а им и случилось напасть на след.

Живут на Петербургской, на Малом Проспекте, в доме вдовы чиновницы Хрисанфовой; приехали в Петербург назад тому четыре месяца; повенчаны; паспорт у мужа чиновник канцелярии Казанского прокурора, Рукавичников уволен в Петербург на полгода. Приметы все те: высокого роста смуглый, волосы черные, курчавые, нос орлиный, лицом красив, борода окладистая. И жена по всем приметам та самая. Живут бедно, в лавочку не должны, а есть слух, что стали должать хозяйке.

Должно быть, они самые. Отправился туда. „Дома чиновник Рукавишников?“—знаете, домишка самый беднейший, весь то и с двором трех тысяч не стоит, дворника нет, спрашиваю стряпуху.—Барина, говорит, нет, он каждое утро бегаёт искать должности какой не найдет ли, или так работы. А барыня дома“.—Ну, думаю, оно и лучше, что его нет, переговорю с хозяйкою, не знает ли она чего, чтобы еще не влопаться, мимо да в лужу: может быть ведь и не они.—Нет, я говорю, кухарке, с молодой барыней мы после поговорим, а прежде ты проводи меня к своей барыне.

Ну, женщина немолодая, неглупая, сначала была пересконфузилась, потому что, точно женщина небогатая, с нашим другом не имеет знакомств,—с какой стати пожаловал?—но поразговорились, увидели друг в друге благородных людей, у ней рассеялось это, знаете подозрение, не волокитствовать ли я хочу, стала говорить откровенно. Точно, говорит, я могла заметить их из разговора, что тут что нибудь не так. В паспорте прописаны имена Павел Андреевич и Марья Степановна, и они сами при мне так называют друг дружку и в разговорах со мною и с кухаркою,—а обе мы несколько раз слышали, что она его зовет Гриша, а он ее Зина. Но, говорит, такие прекрасные молодые люди и не только я, даже Агафья так их полюбила, что мы не подаем им никакого вида, что у нас есть подозрение; а тем больше, чтобы стали мы говорить кому об этом,—а ваше дело дружеское, то перед вами открыть считаю не болтовнею.

Когда она сказала мне это, я сейчас справку по письму: так, молодой Гусев Григорий. Значит, не оставалось бы сомнения; но я всетаки говорю: а нельзя ли мне взглянуть на нее, незаметно для нее?—Можно, говорит, пойдём-те, я скажу ей, что вы осматриваете все комнаты, потому что хотите снять мой домишко под свою канцелярию.—И то дело говорю; пошли. Точно, молодая женщина, лет 19 или 20,—на генеральшу Назаренкову в девицах мало походит, потому что я был в ту генеральшу влюблен, и в девицах и в генеральшах, значит, подобных ей нет на земле; но если бы другой посмотрел, сказал бы: точно, для краткости в описании можно сказать, что есть сходство.

Хозяйка ей об'яснила, по какому случаю я тревожу ее своим входом,—я прибавлял от себя извинение, она отвечала, я еще—она тоже,—видит, что я заговариваю попросила садиться,—поговорили минут с пять, я чтобы не было опять и у ней какого нибудь мнения обо мне, не стал сидеть, раскланялся, ушли опять к хозяйке. Теперь уж не было сомнения, что точно удалось отыскать настоящую парочку. Узнавши от хозяйки, когда застать его, приезжаю на другой день.—„Дома Рукавишников?“—„Дома“, говорит кухарка. Прекрасно.

Вошел,—сидели обнявшись как нежные голуби, ворковали, вскочили, она покраснела.—„Прошу извинения сударыня, но по делу, и как надеюсь, увидите, не такой человек, чтобы вы меня конфузились. Позвольте мне поговорить сначала наедине с вашим супругом, который ничего не может услышать от меня, кроме приятного для вас и для него“.—Они, знаете, занимали две комнаты; она ушла. Я к нему, знаете, без больших предисловий:

— Ваше имя—Григорий,—не так ли? Поверьте, что я руковожусь ничем иным, как искренним расположением.

— Позвольте мне ближе узнать цель вашего вопроса, он говорит.

— Извольте, я говорю. Я бывший сослуживец отставного капитана лейб-гвардии Гусева, живущего в своем поместье в Бугурусланском уезде.

— Очень приятно, он говорит:—я слушаю вас, говорит.

— У него есть сын Григорий; этот молодой человек увез девушку, жениться на которой отец не позволял ему,—поэтому, повенчавшись молодые уехали,—в Петербург; у них не было денег, они должны нуждаться; но они совершенно ошибались, не надеясь на примирение со стариком и старухой Гусевыми. Старик от имени своей жены и своего просил меня найти сына, уверить его в их родительской любви, пригласить их возвратиться.

— Все это очень любопытно, говорит молодой человек. Признаюсь, я слушаю вас с большим интересом. Прошу вас, продолжайте,—Сам заметно меняется в лице, но с бодростью, к лучшему,—будто мои слова оживляют его.

— Я кончил, говорю я.

— Кончили?

— Да, говорю.

Он вдруг вспыхнул и побледнел. Долго молчал,—видно было, что борется с собою. Потом с усилием проговорил:

— Вы ошиблись, милостивый государь. Я не Гусев.

— Я забыл договорить я имею на руках деньги от старика моего приятеля.

— Я это понимал, милостивый государь. Но я не Гусев.

Разумеется, мы говорили громко,—что я пожелал быть на едине с ним, так ведь это больше только форма.—Как он сказал это во второй раз „я не Гусев“, она как будто застонала в той комнате.

— Не к чему это, я говорю, знаете, уже строго, как пожилой, опытный советник:—Вы слышите, я говорю,—пожалейте ее; из пустой шепетильности нечего скрываться. А если вы сомневаетесь, то совершенно напрасно.

Он свое:—Вы ошиблись я не Гусев.

— Но вы не Рукавишников.

— Если вы это знаете, то да. Надеюсь, что не обратите во вред мне это сведение.

— Не о том разговор, чтобы я стал вредить, а берите деньги, да поезжайте с богом.

— Не могу, потому что я не Гусев.

Я уже вовсе с досадою говорю ему: Вы жестокий упрямец. Пожалейте вашу жену.

Он закрыл глаза рукою и опять с большим усилием сказал: „Ну, пусть она решает сама. Зина!“

Вошла она.—Ты слышала—решай.

— Он не Гусев, и мы не можем взять ваших денег.

Я попытался урезонить ее,—нет, тоже уперлась. Бросил, ушел. Рассудив так: видно, еще не пробрала нужда до костей; подумайте, потерпите, друзья; через месяц будете поразумнее.

Сказал им, что вот мой адрес, но что если ему не будет времени увидаться со мною раньше, то я сам понаведаюсь недели через две,—а лучше заехал бы он раньше, да и взял деньги. С тем и простились.

Приезжаю через две недели, хозяйка говорит: „с'ехали с квартиры, боялись вас“.—Куда же?—„Не велели сказывать!“—А вы все таки скажите, а то и без вас найдем,—в первый раз нашли же, во второй тем легче.—„Нет, теперь будет помудренее, потому что теперь уж не в Петербурге искать“.—Ну вот, и проговорились; так уж досказывайте.—„Точно, выехали; а куда, все таки не скажу.“—Я потолковал с нею еще, опять уверил, что желаю им пользы; она призналась, что они остались ей должны, рублей до пятидесяти; разумеется, плакалась при этом на свое сиротство. Я на этом и уловил ее; „если скажете, куда они уехали, отдам вам их долг.“ Она подалась: „скажу; но так не умею, потому что уезда и села не помню, имена то мудреные, а память плохая; принесу вам адрес.“ На этом нельзя обмануть: нет, прежде принесите адрес, тогда и деньги получите.

Дело не стало у ней за адресом: на другое же утро принесла записку,—но вышло такое подозрительное обстоятельство, что я очень усомнился: возвратившись, моя чиновница запела уж совсем не тем тоном, как вчера. „Я, говорит, не хочу вас обманывать; эту записку я написала было для вас обманом; они вовсе не уехали из Петербурга, здесь они; но так запрятались, что во веки веков не отыщете, и контромарку сдали, что выезжают из Петербурга. Кроме меня, ни через кого не найдете дороги к ним. А точно, чрезвычайно нуждаются. Теперь не откажутся от ваших денег. Давайте, я им отдам.“—Да я сам отдам.—„Нет, давайте мне.“—Не очевидное ли мошенничество старуха?—Нет, матушка, я не отдам денег иначе, как из рук в руки.—Обиделась: „Ах, говорит, вы не доверяете мне, как это вы так может меня подозревать? Я тоже хотя не генеральша, а штаб-офицерша, надворная советница. Это для меня очень обидно.—Напрасно, я говорю обижаетесь, а впрочем, как угодно. Не моими деньгами не могу располагать по своему доверию, а должен отдать в руки тому, кому присланы. Знаете и я то уж прилгнул немного, потому

что никаких денег еще не было прислано мне от его отца,— ну, да это так всегда говорится. С тем и ушла.

Опять послал своего Игнатия Трофимовича. Нет, никаких следов. В полицию действительно показано, что выехали из Петербурга;—справлялись во всех кварталах, нигде не вписаны прибывшими Павел и Марья Рукавишниковы; по улицам ходили, смотрели, по лавочкам дознавались, все сделали, что можно—нет. Через неделю воротились, говорят: нет, не имеем никакой надежды.

Меня, знаете, взяла совесть, а больше досада: как же острамиться перед старым приятелем в таком деле?—были птички в руках, да вылетели; на что это похоже?—Дай, думаю, попробую с этой старухой повозиться, может быть и усовещу, урезоню. Поехал.—Что ж, господа,—страм сказать: она меня кругом оплела,—смотрю я на нее, и думаю: не дурак же я, и не слепой же я в самом деле: честная женщина, хоть зарежьте меня, честная женщина, не похожа на мошенницу. Взят, да и отдал ей 500 рублей.

— Отдали?!

— Да, отдал, говорю: „передайте, верю вам.“ И даже признаюсь вам, если бы спросила больше, то и больше дал бы, вижу, что честная женщина, не мошенница. И отдал:

— Но это непростительно.

— А что прикажите делать? Сам понимал, что делаю глупо. Но не сказывает их адреса, а по разговору, по всему—благородная женщина. Я и сказал ей: „Глупо поступлю, но извольте, отдам вам деньги.“—А, она, знаете, как ни в чем не бывало: „Да у вас, батюшка, достаточно ли денег-то? Им до пяти сот понадобится, потому что они здесь позадолжали.“—Извольте вам 500 рублей. Вынул, положил и с тем ушел. Даже расписки не взял у нее, такое доверие нашло на меня.

И знаете, как это даже странно: сам отдал, и сам думаю: хорошо, что не больше пятисот пропадет.

— Надобно сказать, действительно, вы поступили странно.

— Одним словом, отличился. Но ведь вот есть же такие люди: умеют внушить доверие.

— Как не быть. И остался в уверенности, что отдаст она им. То есть, как вам сказать?—не в полной уверенности, но все таки ждал письма от своего сослуживца, что дескать, благодарю, дружище, и с признательностью возвращаю тебе пятьсот рублей, израсходованные тобою. Сам понимаю, что, смешно это, а жду. Ждал с месяца.

— Прекрасно.

— Да-с, ждал месяца. Но однако чувствовал, что глупо, потому совестился и ему писать и вот больше года молчал передо всеми.

— Напрасно, вот вы рассказали, то каждый из нас под- держит вас: не теряйте надежды, продолжайте ждать.

— Нет, господа, теперь не жду, потому что получил.

— Получили?

— Да-с, а то стал бы рассказывать! Значит, все таки не такое же глупое ослепление было мое доверие к этой старухе. Но натурально, совсем не то. Какую ж она удрала штуку,— замысловато. Совсем не то, что мне казалось. Умная женщина.

Через полгода после этого, или и раньше, мой Гусев, старик-то, пишет мне, что благодарит меня за мои хлопоты, потому что они все таки остались не бесполезны, хоть я сам и не мог найти его сына,—натурально, я ему написал, что не нашел,—хоть отчасти и прилгнул, но и не то что прилгнул, а только утаил—согласитесь, совестно же бы написать: „нашел, да упустил.“—Итак, говорит, хотя сам ты, дружище, не нашел, но как ты расспрашивал и говорил, то слух дошел до моего сына, и он написал, правда ли, что я прощу его, и по моему ответу возвратился и имеем теперь милую дочь, за что благодарю и тебя.“ Вот как.—Возвратились, помирились,—слава богу.

Что-ж, еще через полгода или больше,—то есть, не дальше, как третьего дня,—получаю я письмо такого содержания, что, говорит, искушение было слишком велико и страшно, и у меня не достало силы характера, но не спешите винить меня: эта женщина устроила так, что мне почти не было возможности отклонить ее предложение.

История вот какого рода, в коротких словах. Совершенно такой же случай, молодые люди повенчались тихонько от родных и ускакали, только разница та, что из богатой-то фамилии она, а у него ни гроша, ни даже дворянства, что еще важнее, потому что те очень гордые, и так и не простили дочь до сих пор, и даже стараются делать неприятности. Он думал найти чтонибудь в Петербурге,—конечно, сразу ничего не найдешь,—продали ее два шелковые платья—двенадцать рублей,—но не это главный ресурс, а когда бежала из дому, в ушах были очень хорошие серьги,—забыла про них, снять,—они тоже помогли,—но все-то рублей двести не больше. Ну, а сначала-то была надежда, и в театре бывали: „как-же, Зина, надобно хоть раз побывать в Опере.“ Через три месяца, из полутора ста рублей не осталось ничего,—с 150 рублями приехали, продавши в Москве серьги-то. Стали должать,—раздумье пришло, места нет, будет ли, нет ли, через полгода ли, через год ли, а покуда, 15 рублей жалованья; плохо знаете. Очень. И вот в эту минуту, подвернись я с своим Гусевым,—ведь надобно же прийти в голову такому вздору, что человек

говорит: „да вовсе я не Гусев“—а я: „врешь, мне надо Гусева, хоть переродись, да будь Гусев, по моему.“

Что ж теперь старуха?—Теперь начинаются ее штуки. Видит она, что мне вступила дурь в глаза и пристала к ним: да вы точно ли Рукавишниковы, а не Гусевы?—Те говорят: точно не Рукавишниковы, но и не Гусевы. а—ну, я не могу сказать вам настоящей-то фамилии.

— Ах, какой же вы!—Когда есть секрет, то нечего было рассказывать; а нет, так почему не сказать фамилию?

— Ну, знаете, все как-то неловко. Нет, уж лучше не скажу, хоть точно что ничего такого нет. Вот, когда они рассказали ей все, уж и стали говорить,—он-то: „я раскаиваюсь, что поехал в Петербург; вот в такой то губернии мой товарищ и приятель правитель канцелярии, он бы сейчас доставил мне место.“—Так и поезжайте, батюшка с богом.—„Да вы сами видите, он говорит, с чем мы выедем“—Так вы, батюшка, взяли бы у него деньги, было бы в род? займа, об'яснили бы после, заплатили бы.

— „Что это вы, как это можно! это подлость!—Точно, говорит подлость, извините меня, батюшка, я женщина необразованная. Но дня через три, через четыре, говорит им: „Признаюсь вам, что для меня это очень обременительно, не получать от вас денег.“—Нечего делать, с'ехали; рады и тому, что согласилась выпустить, поверила их слову, что расплатятся при первой возможности. Она им и квартиру указала.— у своей знакомой, подешевле, и знакомой поручилась за них,— а сама к квартальному,—очень хороший человек, по ее словам (я вчера заехал к ней, посмеяться и в шутку извиниться, что считал ее обманщицею), она с ним знакома, об'яснила ему свою штуку и упросила попридержать контрмарку недели две, три,—словом, обработала все,—да и ко мне. Получивши от меня деньги, к ним: „вот вам“, говорит,—„поезжайте к своему правителю.“

„Согласитесь же, милостивый государь, пишет он мне,— что искушение было слишком сильно и не осуждайте меня строго. Я взял деньги. Я знал, что они ваши,—как было не догадаться? Хотя она и очень осторожна была, но было же видно, что это ваши деньги, я только обольщал себя успокоением, пустоту которого сам чувствовал, что эти деньги взяты у вас не обманом. Прибавляет, что просит извинения, что и теперь не может возвратить всех, прислал триста рублей—„на остальные двести, говорит, хочу остаться вашим должником, а не чьим нибудь, чтобы исключительно вам быть обязану до конца; надеюсь, через полгода пришлю и остальные 200 рублей.“

Вот удивился-то я, прочитавши!—Не утерпел, поехал к ней:—„Ну, вам бы не в юбке ходить, а быть министром“, я ей сказал,—право: министром быть бы этой старухе,—могла бы, могла бы.—„Да, батюшка, говорит, точно, голь на выдумки хитра. И их то жаль, и самой-то тяжело: за квартиру—когда с них получишь!“ А полюбила их,—и мало того, что за квартиру не получаю ничего,—почти что на всем моем содержании жили и уж рублей до сотни было моего долга на них. Что-ж мне было, как не схватиться за этот случай? Думаю: удастся—хорошо, не удастся—нет убытку. А оно и удалось.

— Да, я говорю, нашли дурака! Вот и досадно: ведь, дурак, согласитесь?

— Да, странно, что вы поверили ей деньги.

— Да-с, поверил. Так иногда покажется человек. И еще удивительнее, что не ошибся: потому и стал теперь рассказывать, а то молчал.

— Точно, все таки, развязка извиняет вас.

— Да-с, не совсем однако же слеп. Коли вижу, что честная женщина, то уже значит, что точно. Так и вышло, вышло, против всякой надежды, и вышло.

2.

Духовная сила.

(из рассказов доктора Беневоленского).

Дедушка был богатырь: невысокого роста, но очень широкий в плечах, и человек необыкновенного здоровья; он прожил до девяноста семи лет. Ему уже много лет говорили приятели;—староста, целовальник, да Терентий Акимыч, так богатый мужик, что „пора тебе, отец Еремей, отдохнуть; ужь внука-то невеста, отдай место за ней!“ Но он все бодрился, лет пятьдесят отправлял должность. Однако, старость взяла свое; поехал в Рязань просить, чтобы посвятили мужа одной из его внуков, дьякона, во священники на его место. Посвятили. Но этот новый священник сам был уже человек в летах,—я думаю, ему под пятьдесят; иной раз и нездоровится, приход верст на двадцать,—дедушка часто ездил за внука отправлять требы, особенно в ненастье. Сколько-жь лет было ему самому, когда внука была не молодая женщина? Должно быть, что под восемьдесят или за восемьдесят.

Вот однажды, приехали звать совершать требу в одну из дальних деревень, и поехал дедушка. Дело было уже к вечеру, дедушка не рассудил ехать назад: лучше переночевать в той деревне. Остался. Сошлись мужики, сидят, калякают. Только, дедушка замечает, что мужики невеселы.

— Что на вас, будто уныние, братцы? Те говорят: как же не уныние? До такого страму дожили, что и сказать нельзя. Играли вечер наши парни,—боролись, дрались на кулачки,— а на грех, по утру-то, приди к нам иностранцы, бурлаки с Волги...

— Надобно вам сказать, что у нас в Рязани людей из других мест, прохожих, звали иностранцами; особенно, это были бурлаки. Так говорят: приди к нам иностранцы, да и загуляли у нас, на прощаньи между собою: из нашей деревни, слышь ты, врозь идти им. Вот, загулявши и оставшись-то ночевать, вышли они к нашим парням на игру, и один из них, из этих иностранцев, всех наших парней поборол; и из тех борцов, из старинных, которые уж бросили эту забаву, выходили на него, всех поборол.

— И Никиту Филлипыча поборол?

— Какое тебе Никиту Филлипыча, Илья Захарыч выходил, и того смял, не пошло.

— Ну, Илья Захарыч будто выходил?

— Выходил, потому что нельзя: хотелось с деревни страм снять.

— Ну это, братцы, точно, значит силен.

— Вот какой страм, батюшка. По всей дороге пойдут, будут говорить, разнесут; положат стыд на нас.

— Точно, братцы вы мои, не хорошее дело, что иностранец наши места острамит. Разве что мне не заступиться ли за вас, своих детей духовных? Ведь и мне стыд с вами.

— Известно, батюшка, как же и тебе не быть огорчительно такому стыду на твоих детей духовных.

— Ой, пойду, ребята.

— Вот, батюшка, выручишь: сними ты охулку с наших мест.

— А сниму же, ребята; отвык я только, а сила еще есть.

Пошли за иностранцем; познакомился с ним дедушка, вечер просидели в беседе, выпили тоже. Уговорились бороться.

Сошлись по утру. Вся деревня стоит в страхе, что-то будет, снимет ли отец Еремей с деревни стыд.

Взялись за кушаки. Как взялись, рванул иностранец дедушку,—не поднял, а дедушка иностранца рванул,—да по отвычке-то, не словчился что-ли...

— Вы знаете, как борятся в наших местах: берутся за кушаки, и стараются поднять друг друга с земли, это делают порывами, и—тот рванет, этот рванет, стоит только оторвать противника от земли, или хоть немножко приподнять, и уж тем самым порывом он будет свален на землю,—

— Так по отвычке, что-ли, не словчился дедушка, или уж ослабели руки от старости,—только не удержал он ино-

странцева кушака в руках: как рванул его на себя кверху, да и перебросил его, совсем, через себя,—и не удержал за кушак: иностранец, взлетевши через дедушку, хлопнулся о землю саженьях в двух позади его,—через полчаса и умер, так разбился.

Однако дедушка успел исповедовать его.

— Ну, что же с дедушкою?

— Жалел; да мужики, говорит, виноваты: уж очень большое понятие дали мне об его силе; да нет, говорит, больше я сам виноват: точно, он очень сильно рванул, да и мужчина-то был громадный, так я и не сообразил, что надо бы мне с умеренностью, а хватил во всю силу.—Да вы не про это спрашивали, а про то, что-ж было с дедушкою? Эх, вы! Чему-ж быть-то? Дело было полюбовное.

— Да, дедушка был очень силен, и хорошо умел бороться, и был хороший кулачный боец; в другом курсе, может быть славился бы и первым бойцом: но тот курс, в котором он учился, был особенный, протодьяконский.

— Приехал, видите, в Рязань новый архиерей, ученый. Тотчас же сделал распоряжение: вызвать учиться всех, которые не были отданы отцами в ученье, а оставлены при себе. Вот и свезли в Рязань этот народец из деревень: парни лет по 18, по 20, и больше. Жили при отцах, пахали землю; грамоте не учились. А все таки и дьячки жили несколько получше мужиков; по крайней мере, в хлебе-то уж не нуждались. Так можете представить, какие это люди выросли на пашне-то, да на привольной пище: страшно смотреть, стену плечом своротит. Составили из них особый класс, не с мальчиками же их учить, хоть начинать надо тоже с азбуки. И место нашли этому классу: сарай, крупнейший. Начали учиться. Через месяц, учитель приходит к ректору, говорит:

— „Не могу, ваше высокопреподобие, силы мои слабы, назначьте покрепче меня. Не пробью их так, чтобы чувствовали.“—„Да ты что-ж их рукою бьешь? Ты палкою.“—„Я и то палкою, ваше высокопреподобие: не чувствительно им.“ Ректор увидел, точно: сечение ведь не на всякую жь минуту, оно идет в две, в три скамьи без перерыву; но одними розгами никак нельзя обойтись, это длинная материя, а нужна учительская рука кроме того. Назначил другого учителя, поздоровее. Через неделю и этот пришел, тоже говорит: „и я не в силах приносить им должной пользы, слаб“. Ну, тут ректор, да и сам архиерей задумались, кого выбрать: нет в виду более способного учителя: первые два были люди здоровые, особенно второй-то.—„Да может быть, говорят ему—„ты только предлог такой берешь, а отказываешься потому, что не буйствуют ли они, так ты так и скажи“.—„Нет, ваше прео-

священство, юноши благонаправленные и покорные, послушания нет с их стороны, а что действительно силы мои слабы по их крепости“. — „Так одно средство, говорит архиерей:—назначу учителем протодьякона“. Ну, протодьякон мог отправлять учительскую обязанность. Завел себе толстую дубину и, ничего, чувствуют. Значит, ученье пошло о своим порядком, так и отдается по всему двору, как дуби на стучит.

*) Это ничего, бока здоровые, да и порядок ученья требует; но вот какое обстоятельство: ведь они числятся в первом классе, стало быть и содержание отпускалось им по первому классу. А даже и девятилетние мальчики выходили из-за обеда не сытые; какова-ж была эта порция двадцатилетним парням, здоровенным мужикам, которые у себя по деревням чуть не по полпуду в сутки уписывали? Что им делать? Воровали с'естное, из лавочек, с рынка; но все по мелочи, только больше голодали, подзадоривши аппетит. Смотрели, смотрели, и устроили дело так: отправляются в мясные ряды на рынок партиями, человек по семи по восьми; окружают стол; один торгуется с мясником, покупает кусок фунта в, три, другие тут юлят, а тут один из-за них схватит кусок побольше, да и уходит поскорее, пока товарищи развлекают мясника; если мясник заметит, хочет погнаться, они задерживают его, уронят, или побегут с ним вместе будто тоже ловить вора, а сами мешают другим поймать его.

Это у них было заведено по очереди: ныне мне стащить, завтра тебе, послезавтра ему. Вот, дошла очередь до Кистровского. Да, я еще и не говорил вам, кто был Кистровский? Вот он-то самый и был тот, при котором ни дедушка, ни кто другой не мог заслужить в семинарии славу богатырскую. Протодьякон говорил: всех могу учить, но для Кистровского где-ж можно найти учителя? Кроток и послушен и смирен духом, только потому и могу учить его.

И точно, этот Кистровский делал подвиги, какими по преданию должна быть доказана богатырская сила. Другие только подкову ломали, а он сломанные половинки опять ломал пополам.

Запрягут в телегу пару лошадей, сядут двое, погоняют в два кнута,—а Кистровский держит за заднее колесо—и не то, что только удерживает, даже оттягивает назад.

**) Впрочем, это обыкновенно рассказывается о всяком знаменитом бойце, и почти о всех напрасно; может быть, и Кистровский вовсе не был так здоров, чтобы пересилить пару лошадей. В сторону эту присказку о нем, а вот что в самом деле было с ним.

*) 24, 25 ф. не писал этого. 26 февр.

**) 27 февр. не продолжал этого, 28 февр.

„Пришла ему очередь быть промыслителем. Товарищи торгуются, а он идет мимо, высматривает, какой кусок поближе да побольше,—прошел раз, прошел два,—смотрит, глаза разгораются,—и не утерпел, разгорелись глаза: подле прилавка стояли на полу у столбов стяги, он схватил один, да и бежать.

— С целым стягом?

— Я сказал. Мясник взвыл, все мясники ахнули, погнались все; нагоняют Кистровского: с быком на плечах не очень шибко побежишь, будь хоть Кистровский,—видит он, дело плохо; не убежит. Он с горя остановился, да как поддерживал стяг на плече руками за задние ноги, смахнул с плеча его да и начал им помахивать; помахивает, а сам уходит. Так и отбил.

— Да этого быть не может! Как же махать целым стягом, в котором пудов семь, восемь?

— По вашему „не может быть“,—и по моему тоже. Но так было.

Значит, поздно говорить, что не может быть.

Это приключение прославило Кистровского, потому он и не перешел во второй клас из первого. Отец ректор велел отдать стяг назад, а Кистровского пороть. Поронье пороньем, а слава славою и месяца через два пришло к архиерею письмо от Алексея Орлова. Архиерей призвал Кистровского сам лично объявить ему: „отправляться тебе, Кистровский, в Тулу: его сиятельство, граф Алексей Федорович Орлов просит меня прислать тебя к нему померяться с бойцом, которого он вывез из Москвы.

Мужайся, сыне, паче же укрепляйся надеждою на Господа. Бог тебя благословит. Будь кроток духом и пошлетя тебе счастье от Всевышнего через Его Сиятельство, если будешь добрыми нравами и преданностью к Его Графской Светлости достоин того“.

Благословил Кистровского и отпустил.

Приехал Кистровский в Тулу, представили его графу. Граф назначил три дня на отдых ему,—то есть, на питье с его соперником и другими своими бойцами, которые не выдержали против московского нового, а на четвертый день битва.

Вышли Московский и Кистровский. По обряду, перед боем надобно испробовать силу, дать по разу друг другу. Бросили жребий. Выпало начинать Московскому бойцу. Кистровский стал. Московский боец развернулся, и дал Кистровскому в грудь,—Кистровский упал; но через минуту поднялся на ноги. Подали штоф вина, чтобы ему оправиться.

Он кряхтел сильно,—выпил, ничего—боль отошла. Стал Московский боец. Кистровский говорит: „нагнись, в грудь не

хочу бить“, — Московский боец немного принагнулся, подставил спину, — как хватит Кистровский, спина хрустнула. Перешиб пополам спинной хребет.

Только.

— Ну?

— Тоже, как и дедушка, ее рассчитал силу, не по умыслу.

— Ах, не то! Что-жь?

— А! Что остался ли жив-то Московский боец? Ну да как же можно? Натурально, если удар перешиб спинной хребет, то и пяти минут не продышал. Только успели поцеловаться с Кистровским: „прости, брат“.

— Ну?

— Да чего-жь вам еще? Остался при графе Кистровский, будто непонятно. Не люблю бестолковых.

3.

В л ю б л е н н ы й.

— Да, если вы уже спрашиваете, Федор Николаевич, то я должен сказать вам: о вас говорят очень странно. И все.

— И без всякого сомнения, прибавляют, выставляют в дураки и Бог знает в каком виде. Я затем и приехал к вам, чтобы рассказать, как было. Был уж у троих: у Захара Родионовича, у Спиридона Ивановича, у Олимпия Яковлевича, и от Олимпия Яковлевича к вам, от вас поеду к Василью Филиповичу. Всех прошу спорить против глупых преувеличений, и распространять историю так, как она была.

— Извольте, с удовольствием. Как же она была?

— А очень просто. Приезжаю к мадам Решеткиной. Нахожу все семейство в саду: пьют чай. Несколько гостей; в том числе барышня, очень недурна собой, — милая. После чаю разошлись по саду. Я с нею. Ходим, разговариваем.

— Да кто-жь барышня?

— Ах, Боже мой, Харитова. Кто-жь, как не Харитова?

— Так. Теперь начинаю понимать. Вы тут в первый раз видели ее?

— В первый. Она мне очень понравилась, с первого взгляда. Потом совершенно очаровала. Она тоже слышала, кто я и что, как. Я влюбился. И тотчас же подумал: почему же мы с нею не партия? За нею душ сорок, у меня 800 руб. жалованья, и тоже дворянин. Согласитесь, партия?

— Против этого никто не говорит, сколько я слышал.

— Словом сказать, я об'яснился, вижу по ее словам, как она принимала мои любезности, что я также не противен ей. Она отвечает: „Мы так мало знаем друг друга“. Но какое-жь

это возраженье? Слава Богу мы не в Петербурге или в Москве. Все в городе знают всех по слухам. Пьяница ли я? Картежник ли? Первый ли месяц я живу в городе? Что обо мне спрашивать, или мне о ком? Когда понравились друг другу, что жь тут? Правда ли?

— Это ваша правда.

— Я и отвечал ей в этом смысле: „Конечно, я только ныне имел счастье увидеть вас, но смею думать, что это не препятствие блаженству моего сердца: зачем вы стали бы мучить его сомнением? Успокойте меня, или погубите одним словом. Противен ли я вам?

— Она говорит: „нет“,—я думаю, что покраснела,—но уже в это время смерклось:—нет, вы нисколько не противны мне“.—Итак, вы позволите мне говорить с вашею матушкою?— „Да, можете“. Даже позволила мне поцеловать ее руку. Если бы не были в пяти шагах от нас молодой Решоткин с кем-то еще, может быть и поцеловались бы. Так еще с четверть часа мы походили по саду. Потом она собралась домой. „Завтра ваша матушка решит мое счастье“.—„И мое“ она прибавила, прощаясь.

— Вот, хорошо-с. На другой день, в одиннадцать часов приезжаю я к ним. Вхожу, мать сидит в гостиной с инспекторшею. Пьют чай. Я отрекомендовался. Она приняла очень ласково. Посидели; я жду когда инспекторша уйдет. Ушла. Мы еще несколько минут поговорили. Поговорили о моей службе, о знакомых, нельзя же так вдруг начинать; но поговоривши, я перехожу к делу: „позвольте мне, Василиса Семеновна, прямо об'яснить вам цель моего посещения“.—Она и приготовилась слушать; я повторил ей обстоятельнее о своем положении, говорю, что моя хорошая репутация должна быть известна вам. „Да, говорит, я ничего кроме хорошего не слышала о вас“.—„Поэтому я говорю, имею смелость просить вас осчастливить меня согласием на брак с вашей дочерью“. Она подумала с минуту, и говорит: „Вы знаете, Егор Данилович, что в нынешнем свете родители не должны присваивать себе такую власть, чтобы располагать рукою дочери без ее согласия. Потому прошу вас, пожалуйста за ответом завтра“.—Я отвечаю: если в вас я нахожу согласие на мое пламеннейшее желание быть покорным и почтительным вашим сыном, то я просил бы не отлагать вашего ответа“.—„Стало быть вы имеете согласие моей дочери?“—Я говорю: я не имею ее согласия, Василиса Семеновна, сказать это было бы слишком много; но мне кажется, что я могу надеяться, что я не буду противен ей“.—„Ах, молодые люди нынешнего света!—отвечает Василиса Семеновна:—„вижу, что и вы поступили по нынешнему обычаю: сначала жених получил согласие невесты,

потом приехал просить согласие матери. Если так, то не остается мне ничего, как сказать, что я одобряю выбор моей дочери, и очень рада иметь вас моим сыном. Пойдемте к невесте, жених“. Встала, и я встал, за нею; у них четыре комнаты на улицу: зал, за залом гостинная, за гостинной еще комната, а за этою комнатою чайная или диванная,—входим мы с нею в эту диванную, там сидят все три дочери: одна за столом, смотрит шитье, две другие—на другом диване, говорят,—я к этому дивану подхожу и беру за руку Софью Зиновьевну,—а Василиса Семеновна впереди меня вошла, идет к столу, и подошедши, обернулась, будто я должен быть подле нее,—обернулась, и увидавши, что я взял за руку Софью Зиновьевну, говорит с удивлением: „как вы, Софью?“ А я говорила вовсе не о Софье, а об Марье“.—„Нет, я говорю, Василиса Семеновна, я, говоря с вами, имел в мыслях моих Софью Зиновьевну, и полагал так, что это вам известно, если вы не спрашиваете“.—„Ах, батюшка мой, чего же было мне спрашивать? Кто жь выдает среднюю дочь прежде старшей? И особенно, когда жених не упоминает, то кого-ж может иметь мать, как невесту, если не старшую дочь? Вы понимаете, какое неожиданное расстройство для всех! И я растерялся, и она, и Софья Зиновьевна, и те обе дочери.—Но первый я оправился: „Из этого я понимаю, что вы, Софья Зиновьевна, не предупредили вашу матушку“. Она покраснела бедная, и говорит: „нет“.—„Это точно, как же ты не предупредила меня, Софья? Тогда не вышло бы этого конфуза“. Она заплакала.—„Маменька, простите меня, я не успела: вечером не хотела вас беспокоить и не посмела, потому, что вы уже легли почивать, когда мы с братом приехали от Решеткиных, а по утру, когда я встала, вы уже уехали на рынок“.—„Успокойся, мой друг, Сонечка,—мать успокаивает ее: вижу что ты не так виновата“.—Видите, об'яснилось теперь: с рынка она прямо проехала к обедне, сама слезла, а кучеру велела отвезти провизию; а от обедни привела с собою инспекторшу,—и от этих случайностей, дочь не успела об'ясниться с нею о нашем вчерашнем разговоре. Кого винить, хотя случай вышел очень неприятный, не правда ли, некого?

— Некого, это правда.

— „Позвольте же просить вас“, говорит она:—„возвратимся об'ясниться нам с вами“. Ушли мы с нею опять в гостинную. „Я должна вам сказать, что ни под каким видом не могу согласиться выдать среднюю дочь прежде старшей. Это не в законе. И вы не знаете материнское сердце: дети, как пальцы, которого не коснись поранить, одинаково больно. Как я решусь обидеть мою Машу? Никогда не соглашусь“. Я стал настаивать, что влюблен в Софью Зиновьевну, и говорил очень

хорошо, с большим чувством. Она совершенно вошла в эти мысли и говорит: „против этого всего я ни слова не могу возразить, совершенно понимаю ваши чувства и уважаю их. Но правилу моему изменить не могу, не могу старшую дочь обидеть“. Бились, бились мы с нею, но тем и кончился наш разговор, что она говорит: „я не вижу никаких других средств, кроме как два: или вы должны ждать, пока пошлет Бог жениха Маше, или перемените ваш выбор“.—Я тоже понимаю ее затруднение, но и мне нельзя вдруг решиться: какже, нельзя в две минуты решиться на такую перемену, особенно, когда чувствовал себя влюбленным. Говорю: „позвольте мне подумать об этом, Василиса Семеновна“. „Подумайте, батюшка“. Я взял срок себе до вечера. Стал думать. Марья Зиновьевна показалась мне больше в моем вкусе: у Софьи Зиновьевны серые глаза, а у Марьи Зиновьевны—голубые, голубые лучше. У Софьи Зиновьевны меньше румянца, и все не так пышно, как у Марьи Зиновьевны. Потому что, оправившись от первого моего расстройства, я мог рассмотреть ее. Но мало. На том и остановился: нравится; но мало рассмотрел. Приезжаю после обеда, говорю: „позвольте мне видеть Марью Зиновьевну, чтобы прежде мог я убедиться, что не буду противен ей“. Та говорит: совершенно так, против воли не станет отдавать дочь, и надобно, чтобы девушка знала, за кого ее отдают. Вызвала Марью Зиновьевну. Так мы втроем сидели, но чем больше я гляжу на Марью Зиновьевну, тем больше она мне нравится, а потому я, видя, что напрасно было бы продолжать мое затруднение, говорю ей: Марья Зиновьевна, прошу вас осчастливить меня вашим согласием. Она согласна. Только, больше ничего не было. Верите ли вы мне, как благородному человеку?

— Совершенно; тем больше, что и в городе рассказывают совершенно так. Только одно: незнающие говорят, что вы прежде того видели Харитовых в театре.

— Никогда. В первый раз у Решеткиной, и одну Софью Зиновьевну, как я вам говорил.

— Впрочем эта разница не важная, видели ль вы их в театре раз или два.

— Нет, позвольте: тогда я имел бы время рассмотреть прежде и сравнить, и моя перемена показала бы во мне не основательность.

— Да, это правда.

— Потому-то я и прошу вас, об'ясняйте всем вашим знакомым, как именно было.

— С удовольствием.

4.

Сходство мнений.

(Вымышленная сцена).

Разговаривающие: Господин X.

Госпожа X.

Господин N.

Господин X. Извините откровенность, но я скажу вам прямо: я люблю, чтобы в рассказах был хоть какойнибудь смысл.

Господи N. Я совершенно схожусь с вами в этом.

Господин X. Но если так, милостивый государь, то что-ж это такое? Тут нет никакого смысла. Я не вижу.

Господин N. И я не вижу.

Господин X. Но если так, то я должен сказать вам: я никак не ожидал от вас этого.

Господин N. Ваши ожидания не нуждаются в моем согласии.

Господин X. Но однако я хотел бы знать, что вы скажете на это.

Господин N. Я полагаю, что вы имели основание не ожидать.

Господин X. Но этих рассказов не стоит читать.

Господин N. Я полагаю, что вы прав.

Госпожа X. Правда ли, что вы эманципатор?

Господин N. Правда.

Господин X. Поверь, мой друг, что все это глупость и химеры.

5.

Из Бхагават-Гиты.

— Папаша, какая длинная поэма есть у Индийцев: в двести тысяч стихов; ее зовут Магабхарата. Ты читал ее?

— Да и ты читал „Наля и Дамаянти“, это из нее.

— Из нее! ах, как это скучно, папаша! А еще что есть в ней?

— Кроме этого, я читал из нее только Бхагават-Гиту.

— Это что такое?

— Филосовский разговор, мой друг; это еще скучнее „Наля и Дамаянти“.

— Ну, а ты все таки скажи.

— Пожалуй; только я читал это очень давно; из всех имен, только одно помню, и то забыл, кто этот Арджунас, тот ли который говорит, или тот, который слушает,—ну, да

это все равно. А дело, видишь, в чем: стоят две армии; в одной из них этот Арджунас,—или предводитель ее, или приятель этого предводителя. Надобно начинать сражение, предводитель должен подать знак тем, что пустит стрелу. Он поднимает лук, кладет стрелу, натягивает лук и медлит, и руки его падают,—вот и начинается разговор,—если я уж забыл, кто Арджунас, и как зовут другого,—то уж ты можешь сам видеть, что не припомню я и разговора в подробности,—да оно и лучше впрочем, потому что он очень длинен, а у меня на твоё счастье выйдет коротко. Ну, слушай,—это будет в том тоне, в тоне индийских поэм,—только попроще:

— О, божественный, что ж ты медлишь, и упал дух твой вместе с рукою твою?

— О, божественный! Ты видишь эти войска: как много будет убитых! И дух мой упал.

— О, божественный! Читал ли ты книги мудрецов?

„Что значит твоя воля, о человек? У тебя нет воли.

„Как падет камень, так падешь ты на того, кого подавишь.

„Как растет банан на пищу людям, так растут твои дела на пользу тем, кому приносят пользу.

„Что ж тебе смущаться? Совершай то, чего не можешь не совершать.

„Будет зло,—не вини себя: ты камень; будет добро—не хвали себя, ты банан.

„Натяни лук твой, о божественный, и пусти стрелу.

„Войска ждут, они хотят битвы.

„Кто победит? Кто уцелеет?—Думай или не думай об этом, но войска ждут, они хотят битвы“.

Так сказал божественный мудрец.

И божественный вождь поднял лук, понеслась стрела и пошли полки в битву.

— Это, папаша, хорошо тем, что коротко.

— Нет, там это целых сто страниц, я думаю.

— Сто страниц! Это ужасно!

6.

На правом боку. *)

Алексей Флегонтович очень важный вельможа, сударь: один из первых у нас в губернии; прежде, сударь, ничего особенного не замечалось в нем: жил, как все холостые господина. И в Курск ездил; на выборы всегда, и в другие времена приезжал, по зимам. В карты играл; и по большой, Шампанское пил; обеды давал. Все как следует хорошему

*) 1 март.

только в гости к нему приехать, а даже в отставку выйти с Московского театра, и поселилась она у нас навсегда. Стали хорошо жить, и это долгое время было, года четыре. Но только, чем же это кончилось?—Вот тем самым, что вы изволите видеть. И вот как это вышло. Ушла она поутру гулять,—через час, присылает девушку сказать, чтобы не ждал к обеду: я, говорит, у соседей останусь,—тут, в двух верстах, небогатые люди живут, она с ними водила знакомство. Пообедал он один, и лег почивать после обеда. Просыпается он и кушает чай в постеле, потому что это он, точно, всегда любил лежать,—и в это самое время приносит ему письмо та же самая соседская девушка, которая была поутру. Что же ему пишет эта Мичманова?—потому что письмо от нее было: „Хоть ты и добрый человек, Алеша, и жалко мне бросать тебя, говорит, но скука меня одолела, и по театре давно скучаю и по Москве с Петербургом“—ну, точно, что она женщина молодая и бойкая, живая, как же не скучно?— „И вот тебе, говорит, выбор, Алеша: если ты за мною не поедешь, уговаривать меня возвратиться, то может быть, что я и возвращусь; если же поедешь, то на веки веков ссора будет. Поэтому, друг мой Алеша, советую я тебе, чтобы ты приказал Параше“,—то есть, моей жене, сударь, которая горничною у ней была, или больше, так сказать, смотрела за другою прислугою,—„прикажи ты ей собрать мои вещи, да и пришли мне их с Иваном Прокофьичем“,—со мною,— „в Курск, в который я уехала“. Вот тебе раз, сударь!—Прочитавши это, кликнул он меня,—глаза у него заплаканные:— „Вот что“, говорит, вышло, Иван Прокофьич; распорядитесь вы с женою, как она пишет“. Пошел я сказать Параше собирать ее вещи. Провозились над этим вечер. В десять часов прихожу к нему укладывать его спать,—а он, сударь, как тогда лежал, так и лежит: „ничего не нужно“, говорит, „я не вставал“.—По утру пришел одевать его,—тоже самое, „ничего“, говорит, „не нужно“; я так останусь“. Так, сударь, и пролежал до обеда, а мы с женою ее вещи укладывали,—и самому мне тоже все таки сборы в дорогу были же, хоть и небольшие. Пришел я к нему, „пожалуйста обедать“, зову.— „Нет“, говорит, „сюда в постеле давай; что вставать-то?“— Так и поел, лежа. Пообедавши сам, прихожу к нему, говорю: „все собрано, Алексей Флегонтович,“—потому что он простой и обходительный, давно мне сказал: что, говорит, „барин“ да „барин“, надоест одно и тоже, зови по имени,—так я и звал его по имени-отчеству,—„все собрано“, говорю:—„ехать прикажете?“— „Ступай“, говорит.— „Что от вас прикажете сказать Зинаиде Петровне?“— „Скажи, как ты меня оставил, и что буду я лежать, пока она воротится“.

С тем я уехал; через неделю возвратился: и точно, лежачего застал. А она посмеялась: „пусть полежит“, говорит:— „соскучится. А от меня ему скажи, что может и ворочусь, а скорее, что нет“.— „Ну, что“, говорит, „она с тобою какое решение прислала мне?“—Вот какое, говорю.—Он вздохнул, сунул руку под подушку: „Хорошо; спасибо, Иван Прокофьич, что с'ездил; ступай ничего больше не нужно“. — „Встали бы, Алексей Флегонтыч“,—потому что жена мне сказала, что не вставал все время,—„пройтись бы изволили“.—„Ступай, Иван Прокофьич, что об этом говорить“.—Так я и ушел. Так и пошло с тех пор.

— Неужели так с тех пор и лежит?

— Как изволите видеть. Пятнадцатый год лежит. Ни разу, сударь, ни на пять хоть бы минут не вставал. Как перед богом, истинная правда.

— Это удивительно.

— Так удивительно, что и сказать нельзя. Мы даже думали с женою,—тогда, в начале, через год, этак, не поджечь ли бы дом?—пропадай он прахом!—может, что поднявшись, на другой постеле в другом доме не залег бы так. Да посоветовались с исправником, он отсоветовал: что следствие подымется, и беды себе наживете наверное, вся губерния умысел этот поймет: „подожгли нарочно, чтобы поднять“,—все так гулом загудят; как будет скрыть?—подымется ли, опять ли так и на новом месте залажет“.—И что всего удивительнее, сударь: губернатор по губернии ездил, к нему заезжал: даже для такого гостя не вставал: „Извините; говорит, ваше превосходительство, не примите этого за невежливость, потому что не могу, зарок такой дал“. И не обиделся губернатор; уговаривал его, что подымитесь. И губернатор не мог убедить. Тогда уж все увидели, что напрасно идти против этого.

И хотя бы, сударь, отдых себе делал побольше: на спине бы день полежал, другой на левом,—а то все, как видели, на правом. Как тогда это письмо прочитал на правом боку, так и лежит“.

Я просидел с Алексеем Флегонтовичем несколько вечеров, живши то лето по соседству. Мы играли в питет; он теперь следит за литературою: до своего лежания, он был круглый невежда; но от скуки, принужден был приняться за книги, и когда я познакомился с ним, он был человек порядочно начитанный.

Но все таки, я не знаю, может ли здоровье выдержать пятнадцать лет лежанья' на боку? Не вставал ли он по ночам, хоть иногда, хоть на час, на два, чтобы сколько нибудь промяться?

Иван Прокофьевич положительно был уверен, что нет, не вставал ни раза.

П о к р а ж а.

— Мы пришли к вашему преосвященству с покорнейшей просьбой.

— Прошу садиться, и посмотрим, в чем она.

Братья сели. Оба были уже пожилые люди, купцы второй гильдии; один был ротмистром.

— С просьбой об отце. Вашему преосвященству не известно, быть может, что он держит себя совершенно не по своим летам. Стыдно говорить, а необходимо. Она интригантка, и женщина очень дурная. Он совершенно в ее руках, и теперь она велит ему жениться на ней. Мы имеем теперь свои капиталы. Но от второго брака его у нас есть две сестры и брат. Брату 20 лет, сестры невесты. Она отнимет у них все, если ей удастся повенчаться с ним.

— Но он так дряхл, говорят.

— Более чем дряхл, ваше преосвященство; разбит параличем. Не может сделать двух шагов, даже если опираться будет. Водит его под-руки, с обеих сторон надо держать.

— Так чего же вы опасаетесь?

— Она его так и обведет вокруг налож, двое таскать будут.

— Что же я могу сделать? Я скажу священникам, что запрещаю венчать его. Но ни кто из здешних священников не стал бы венчать и без моего запрещения. Вы знаете, они все люди добросовестные. Чему-ж это поможет, однако?—Вы знаете, есть два таких благодетеля: один на Увеке, другой—в Курдюме. Такие ли браки венчают?—Оба под судом; но они этого не боятся. А за вашего батюшку нельзя будет и предать суду: он в здравом уме, законных препятствий нет. Все, что могу, сделаю, но мое запрещение бессильно над такими людьми.

Купцы поехали к губернатору. Губернатор также сказал, что прикажет полиции внимательно смотреть за вдовою чиновницею Балдуиновою;—но что же может сделать с нею полиция?—Если бы вдова подала малейший предлог, он обещает им скрутить ее по рукам и ногам, но что наверное, она будет держать себя так осторожно, что нельзя будет придаться к ней.

— Поэтому, и я должен прибавить вам: я плохая защита вам, господа.

— Мы будем просить ваше превосходительство о следующем: мы будем караулить старика; не примите этого в дурную сторону.

— Помилуйте, я знаю вас. Не приму от нее никаких жалоб; если она будет посылать ябеды в Петербург я об'ясню дело. Я не могу сомневаться, что вы будете соблюдать все уважение к старику.

— Мы боимся ее умысла не только за состояние отцовское, за самую жизнь его: она, повенчавшись, заставит его подписать завещание в ее пользу, а потом удавит или отравит.

— Очень возможное дело от такой женщины, господа, знаю ее. У ней были дела.

Все это была чистая правда, известная всему городу. Дети были хорошие люди. Старик ослабел умом и характером от лет и еще больше от паралича. Эта госпожа Балдуинова была очень смелая и ловкая пожилая баба, старинная интригантка.

Обеспечив себя этими об'яснениями с начальством от всяких сплетень и ябед со стороны Балдуиновой, сыновья стали караулить оглупевшего параличного. Его возили кататься по городу и за город каждый день, но с конвоем: выбрали надежного кучера, сажали в провожатые надежного приказчика, если не провожали сами. В комнату к старику не впускали людей. Купеческие дома и вообще стояли тогда с затворенными воротами, а под'езды у домов тогдашней нашей провинциальной постройки всегда были со двора,—теперь, у ворот и днем, а тем более ночью, стоял караул. Казалось бы, безопасно.

И всетаки, через несколько месяцев город ахнул: старик купец N сочетался браком с г-жею Балдуиновою.

Она украла его.

Ее сообщники выбрали темную ночь, приставили лестницу к окну стариковой комнаты,—он был помещен во втором этаже,—разбили окно известным воровским методом, без звона стекла,—намазав медом или жидким тестом лист бумаги и продавив стекло через эту наклейку,—взяли старика, спустили на простыне по веревкам,—и поскакали в Курдюм.

Они предусмотрели и то, что он не может ходить: в Курдюм было привезено кресло на колесах, и жениха возили на нем вокруг налож.

Но трагические опасения детей и всего города не сбылись. Молодая удовольствовалась дарственными записями, вексельями, и не сделала ничего преступного.

Если не ошибаюсь, она через несколько времени даже отдала старика назад детям, взяв с них плату за него, и довольно умеренную, только третью или четвертую долю его состояния.

Сцена вторая.

Разговаривающие лица-те же (смотри № 4).

Господин X. Но, милостивый государь, все это не имеет никакого смысла.

Господин N. Вы уже говорили это, и я сказал, что согласен с вами.

Господин X. Но, милостивый государь, это глупо.

Госпожа X. Друг мой, пожалуйста.

Господин X. Благодарю себя; постараюсь воздержаться—хоть это заслуживает самых резких выражений. Эта небывальщина, милостивый государь; это дикие уроды, каких никогда не бывало на свете; никогда ничего подобного не дельвали люди. Потому я употребил выражение, которого не хочу повторять.

Господин N. Вы прав, это глупо.

Госпожа X. Послушайте: вы знаете, что я очень люблю вас.

Господин N. Знаю. И смею сказать, я заслуживаю этого.

Госпожа X. Сознайтесь же: вы этим унижаете себя.

Господин N. Я вижу, что огорчаю вас. Унижаю ли себя? на это я не скажу ничего.

Госпожа X. Больше, чем огорчаете,—вы обижаете меня.

Господин N. Это было не для вас.

Госпожа X. Прошу вас, думайте только обо мне,—я хочу сказать, о нас.

Господин N. Вы правы.

Госпожа X. Скажите, какую цель имело это.

Господин N. Вы не угадываете?

Госпожа X. Это была насмешка.

Господин N. Не над вами.

Сватовство герцога Сен-Симона.

— Папаша, это какого Сен-Симона? От которого взяли свое имя Сен-Симонисты?

— Нет, мой друг, его прадеда или прапрадеда, от которого осталось знаменитое сочинение,—огромные мемуары.

— Папаша, он был умный?

— Все так говорят; удивляются его уму.

— Ну, так это любопытно, папаша.

— Вот ты, мой дружок, и переведи эти странички.

(Через два дня).

— Папаша, я перевел. Этот Сен-Симон был очень...

— Ну, какой он был, это ты скажешь после, а сначала прочти перевод.

(Перевод из *Mémoires du duc de Saint Simon* издание 1856, в 18 долю, том I, глава VIII, стр. 73—75).

„Мать очень желала, чтоб я женился. Я был не против этого.

Герцог Бовиллье был приятель с моим покойным отцом, и оказывал мне ласку, когда видел меня во дворце. Его добродетель, кротость и обходительность очаровывали меня. Прекрасная репутация его супруги и счастливое согласие их жизни также. Неприятно было, что нельзя рассчитывать на большое приданое, которое было бы нужно мне на уплату долгов, оставленных отцом: у герцога и герцогини Бовиллье было десять человек детей, два сына и восемь дочерей. Однако же я решился, и матушка одобрила.

Я отправился в Версаль, и попросил Лувилля сказать герцогу Бовиллье, что я желал бы видеть его наедине. Герцог отвечал, что вечером, в 8 часов, он будет свободен, и что я могу видеть его. Я вошел в его кабинет в назначенное время, объяснил ему цель своего посещения, подал ему опись моего состояния и моих доходов, и сказал, что буду доволен всяким приданым, и прошу у него только одного: чтобы он очастливил меня, отдав мне руку своей дочери.

Он пристальными глазами смотрел на меня, пока я говорил, и отвечал мне, что он человек не богатый, что он должен переговорить с женою;—ушел на несколько минут переговорить с нею; возвратившись в кабинет, сказал, что старшей дочери его пятнадцатый год, что вторая дочь больная девочка, которую нельзя выдавать замуж; третьей дочери тринадцатый год; другие—маленькие дети.

— Папаша, верно у них тогда отдавали замуж таких же молоденьких, как бабушка говорила, у нас отдавали, тринадцати, даже двенадцати лет?—Ах, какие были дураки!

— Глупы, твоя правда. Читай дальше, как ты перевел.

„Он продолжал, что старшая его дочь хочет постричься в монахини, и повторил, что он не может дать большого приданого.

Я отвечал, что он из самого моего объяснения мог видеть, что я интересуюсь не приданым, и даже не его дочерью, которой я никогда и не видел, а что собственно очень уважаю его и его супругу.

— Но, сказал он, если она непременно хочет идти в монахини?

— В таком случае, сказал я, прошу у вас руку третьей вашей дочери“.

— Ты очень верно перевел, мой друг; благодарю тебя, что ты помог мне в работе.

— Папаша, он был дурак.

— Рассуждай об этом, дружище, сам, как знаешь, но я должен предупредить тебя, что все считают его очень умным человеком. Знаешь Маколея?—Если бы ты прочел, в каких выражениях говорит о нем Маколей!

— Ну, нет, папаша, пусть Маколеи говорят, что хотят, а он дурак. Как же?

— Суди сам, как знаешь. А я вижу только, что ты перевел верно. Что будет дальше, посмотрим, так же ль верно.

10.

Герцог Альба.

(Memoires de Saint Simon, том 3, глава III, стран. 29).

„Герцог Альба, умерший в ноябре 1701 года“...

— А что, это не тот ли герцог Альба, который так прекрасно отличался в Нидерландах?

— Э, папаша, какой ты! Разумеется, не тот. То было много прежде. Будто я ни понимаю, что ты меня экзаменуешь? А по моему так: если хочешь экзаменовать, то экзаменуй, а если разговариваем, то надобно просто разговаривать.

— Это твоя правда. Извини, брат.

— А ты слушай, так ли:

„Герцог Альба, умерший в 1701 году, был человек очень умный, образованный, но чрезвычайный чудак. Лувилль приехав к нему“... Кто это был Лувилль, папаша?

— Так, в роде французского посланника в Испании, хоть не назывался посланником.

„...приехав к нему, нашел его лежащего на постели, на правом боку: он лежал так, не двигаясь с места, уже несколько месяцев, и говорил, что не в силах встать, болен,—а между тем, был совершенно здоров. Дело в том, что женщина, которую он любил, соскучившись жить с ним, уехала от него. Он был в отчаяньи, разослал отыскивать ее по всей Испании, и дал обещание лежать на правом боку не вставая, пока она будет найдена и возвратится. Разговорившись с Лувиллем, он признался ему в этом.—Он принимал у себя всю аристо-

кратию, лежа таким образом, и пролежал до самой своей смерти, ни разу не встав, и все на правом боку. Эта дикая история так удивительна, и с тем вместе, так достоверна, что я почел своим долгом записать ее; повторяю, кроме этой фантазии, он во всем остальном был и продолжал быть человеком рассудительным, очень умным“.

— Хорошо переводишь. Но как ты об'ясняешь себе это?

— Папаша, дураку было нечего делать, вот он и выдумал глупость, чтобы все дивились.

— Это, так, продолжал он вероятно по этому, а как начал?

— Начал?—начал, я думаю, потому, что многие ложатся в подушки и лежат, когда плачут,—ведь он был огорчен. Ну, слушай опять, что будет дальше.

— Вижу, мой друг, по этим двум примерам, что ты хорошо переводишь. Благодарю тебя.

11.

Сцена третья.

Разговаривающие—те же (смотри № 4 и № 8).

Господин X. Но, милостивый государь, это недобросовестно.

Господин N. Я полагал услышать от вас это мнение.

Господин X. Но, милостивый государь, вы должны согласиться, что оно справедливо.

Госпожа X. Не слушайте его,—мы с вами уговорились, что вы не будете думать ни о ком, кроме меня,—то есть нас, я хотела сказать. Скажите пожалуйста: чем он навлек на себя эту васмешку.

Господин N. Я только шутил; я не хотел, чтоб это была насмешка.

Госпожа X. Но послушайте, не шутите так: помните, что он мой муж. Вы помиритесь?

Господин N. Если вам угодно.

12.

Письмо.

„Милостивейшая государыня.

„Вы не читаете ничего, кроме романов, повестей,—всего, что серьезные люди называют вздором.

„Конечно, с ученой точки зрения я не могу не порицать вас, я на все смотрю с ученой точки зрения.

„Но при всей моей учености, я человек не совершенно лишенный способности понимать людей, как человек.

„Я очень хорошо чувствую, что вы могли бы спросить меня: читаю ли я книги, в которых нет ровно ничего, относящегося к моей жизни, моим интересам и занятиям, или изредка попадаются строки, не совсем чуждые мне, но они утопают в бесчисленных страницах, на которых нет ни одного слова для меня.

„Нет, милостивейшая государыня, не читаю.

„Есть множество прекрасных сочинений об устройстве мукомольных мельниц, о разведении табаку, о возделывании индиго, я не читал ни одного из них.

*) „Я понимаю, что поэтому вам нечего читать, кроме романов, рассказов и всяких сказок.

„Но почему же вы полюбили меня, человека сухого, вялого, не сказавшего ни одного комплимента во всю жизнь, всегда дичившегося женщин, никогда не нравившегося ни одной женщине, и—очень может быть—человека, которому никогда не нравилась ни одна женщина, кроме ***,—о котором, по крайней мере, ни одна женщина, кроме нее, не может сказать, чтобы он обращал на нее какое нибудь внимание?

„Вы полюбили меня потому, что нашли во мне некоторую способность сочувствовать вашему положению. Она дана мне тем, что я, хоть и довольно плохо, но все таки довольно много учился. Вы видите из этого, что в науке есть что-то близкое вашим интересам, и вы желали бы, чтоб я говорил с вами о ней.

„И я очень желал бы этого,—конечно, говорить на бумаге; я не люблю говорить с женщинами, кроме ***, иначе, как на бумаге.

„Препятствий нет никаких, неудобств нет ни малейших.

„И все таки, я не исполняю вашего желания; которое так рад был бы исполнять: говорить об ученых предметах—моя страсть.

„Почему ж не исполняю того, что было бы приятно мне и чего требуете вы?—Я боюсь, что вы не станете слушать.

„Это обидно!—скажете вы.—Очень обидно, я согласен. Но—я сильнее вас,—следовательно, почему ж бы мне не обижать вас?—Согласитесь, это было бы странно: не обижать, когда имею силу“.

*) 3 март.

13.

П и с ь м о.

„Милостивый государь,

„Я не ждала от вас любезного ответа.

„Вы может быть и очень ученый человек,—я не могу судить об этом, и охотно верю вашей репутации, но я вижу, что вы пустой человек.

„Это обидно!—скажете.—Очень обидно, я согласна. Но я слышала, что наука любит правду, а вы уверяете, что страстно любите науку: кстати, не она ли скрывается в вашем письме под таинственными тремя звездочками?“

Н. Г. Чернышевский.

Мысли о будущем Саратова*).

Для объяснения характера этой статьи находим полезным поместить письмо, при котором получили ее. Ред.

Письмо к редактору.

Милостивый государь.

Автор повести, о которой говорили мы, при нашем свидании, возвратился в Тамбов третьего дня. Это причина того, что я целой неделей запоздал в исполнении своего обещания Вам.

Старушка, у которой живет он, немедленно известила меня, как я просил, о его приезде. Я в тот же вечер поехал к нему.

Зачем же это нужна вам моя повесть о Саше!—сказал он:

— Вы уже читали ее. Я принужден был сознаться в намерении передать ее вам:—Напечатать? Что-ж, прекрасно; я очень рад. Только одно: я не хочу видеть мою фамилию в печати. Неприлично летам. Надобно придумать псевдоним.— Он помолчал с минуту.—Лесников; А. П. Лесников.

— А. П. Лесников,—повторил я, и записал в свою памятную книжку.—Давайте ж вашу повесть.

— Вот она, сказал он, выдвигая один из ящичков правого шкапчика рабочего стола.—Что за чудеса! Тут она лежала, под этой связкой. Куда ж это я переложил ее?

— Он стал перебирать бумаги в том ящичке, потом в других.—Стойте! Я отдал ее Ивану Степановичу. А он, должно быть, взял с собой. Так и есть, взял: он писал мне, что взял.

*) По бумагам Н. Г. Чернышевского можно с достоверностью установить, что он всегда интересовался своим родным городом, Саратовом. Так напр. во время своего двухлетнего сиденья в Петропавловской крепости, он начал было писать свою автобиографию (к сожалению оставшуюся недоконченной), в которой чрезвычайно живо обрисовал быт Саратовского общества первой половины прошлого столетия. В его романах „Что делать?“ и „Пролог“—также встречаются сцены Саратовской жизни. Наконец в 1889 г. когда наконец Чернышевскому было разрешено переехать на жительство из Астрахани в Саратов, он, по приезде, подолгу гулял по Саратовским улицам и с удовольствием вспоминал старые места и старые случаи. В числе разных обрывков бумаг с начатыми и брошенными статьями и заметками, имеется между прочим отрывок из далеко не конченной, вернее только что начатой статьи под заглавием: „Мысли о будущем Саратова“. Повидимому эта статья предназначалась им в 1889 г. для помещения в одной из Саратовских газет, но смерть, стояла уже за спиной Н. Г. Чернышевского и не дала ему возможности развить свои мысли по вопросу так близко касающемуся родного края.

— Телеграфирую ему от вашего имени, чтобы прислал. Адрес: Пятигорск и довольно? Или надобно прибавить гостиницу? Какую?

— Пятигорск! захотели! Письмо его было из Варшавы; писал, что свернул из Ростова, рассудил поехать в Париж.

— Так телеграфирую в Париж; в посольство;—там у него двое-ли, трое-ли приятелей.

— Да полноте, что вы! Мог ли он доехать до Парижа? Наверное, он теперь, если не в Румынии то в Норвегии.

— Правда. Как же мне быть?

— Приедет, привезет.

— Да когда ж он приедет?

— Когданибудь приедет.

— В неприятное положение поставил я себя. Только что началось знакомство, надобно было показать себя человеком основательным—и должен оказаться пустословом.

— Согласен, что ваше положение неприятно. Душевно сожалею, что поставил вас в него.

— Как? Вы поставили меня в него?

— А кто же, как не я? Кто отдал ее Ивану Степановичу?

— Да разве вы не имели права отдать?

— Не о праве речь, а о том, что из этого вышла неприятность вам.

— Но в том, что попал в неприятность, виноват я.

— Это почему же?

— Да потому, что обещал чужое, не спросив хозяина.

— А, да! Вообще говоря, так делать нельзя; не спорю. Но я—совсем другое дело; у меня для чего вам было спрашивать, соглашусь ли? Вы знали: спорить не стану. И не ошиблись. А вы рассудите лучше вот что: попали вы через меня в неприятное положение; то как вам выйти из него?

— Дайте мне другую повесть!

— Да у меня только в этой одной место действия, хоть отчасти, Саратов. А если нет ничего относящегося к Саратову, то какой же интерес для саратовской газеты в моей повести?

— Правда, это большая разница. Так напишите.

— Другую повесть? Нет, уж извините.

— Да разве трудно придумать?

— Не трудно, согласен. Но неприлично моим летам. Лет двадцать пять, даже двадцать тому назад, было еще извинительно. А теперь—нет, увольте: совершенно неприлично летам.

— Неприлично писать повесть, то напишите чтонибудь другое, приличное летам.

— Статью? Что-ж, это можно. Я пожалуй обещаюсь. Но когда напишу? Возьму перо, через четверть часа спина устанет, целый день ноет. Скоро этак напишешь?

— Этого, действительно, не принял я в расчет. Но можно и не делать труда вашей спине. Вы диктуйте, а я буду писать.

— Когда так, я с удовольствием. Надобно только подумать, какой вопрос взять.

— Он замолчал, но лишь на минуту. — Вот чудак-то я! О чем тут раздумывать? Разумеется, надобно взять вопрос о будущности Саратова. Это всего интереснее для саратовской публики.

— Да, саратовская публика сильно озабочена тем, что Саратов падает.

— Ну, вот и не мешает об'яснить ей, что она ошибается.

— Как? Вы отрицаете то, что видят саратовцы?

— Натурально, отрицаю их пустую фантазию. Не только не падает Саратов, но и не может упасть, пока не произойдет какойнибудь геологический переворот.

— Однако, я вижу, мне придется спорить много с вами.

— Что же спорьте.

— Возражая вам, я должен буду часто называть вас по имени и отчеству.

— Разумеется.

— Этот оборот речи должен перейти и в статью.

— Натурально.

— То как же ваше имя и отчество для печати? А. П. сказали вы; как произносить вполне?

— Александр Петрович.

— И так, начинаем, Александр Петрович. Вы приляжете?

— Натурально.

Я сел к его рабочему столу. Он поправил на диване подушку, прилег на локоть, и начал диктовать.

МЫСЛИ О БУДУЩНОСТИ САРАТОВА.

Лет пятьдесят тому назад, мне привелось больше года прожить в Саратове. С балкона дома, в котором жил, я была видна вся Волга, до самого берега и даже окраина летнего берега. Направо, верстах в двух ниже места, с которого смотрел я, тянулся высокий, поросший тальником остров. Тогда его называли: Зеленая коса. Три года тому назад, я видел его таким же, каким он был тогда. Верстах в трех

выше этой косы была другая. Не помню, соединялась ли она тогда с берегом. Но когда я лет через восемь, опять жил в Саратове, то часто ходил по берегу в ту сторону, к Соколовой горе, потому хорошо помню: она в это время—то есть слишком сорок лет тому назад, соединялась с берегом несколько повыше Троицкого взвоза. Вниз она тянулась ниже взвоза, идущего от Покровской церкви. Три года тому назад соединение верхней части ее с берегом я нашел в прежнем виде. Но нижний конец ее исчез. Вместо него, я увидел косу, которой не было пятьдесят лет тому назад, и которая во второй мой приезд, сорок два года тому назад, была еще только отменно, едва выступившей в самое мелководное время маленьким островом между Покровским и Сергиевскими взвозами. Три года тому назад, она была большая, тянулась от Покровского взвоза до того, на котором поставлены Триумфальные ворота. Это много больше версты. Перемена значительная. Но в чем собственно состоит она? Что такое эта новая коса, отделяющая среднюю, лучшую, надобнейшую часть городского берега от русла Волги?—Дело ясное: это нижний конец старой верхней косы, мало по малу срезываемый течением и передвигающийся вниз. Его нынешнее положение очень неудобно для города, это так. Но я говорю вот что: это не прибавка к прежней массе песка против саратовского берега, это лишь часть прежней массы, передвинутая течением версты на полторы вниз по сравнению с местом, на котором лежала пятьдесят лет тому назад.

Не ошибаюсь ли я?—Может быть. Я не делал чертежей; я не умею делать их, я не производил измерений, потому что не был особенно заинтересован Саратовом в те мои приезды, пятьдесят лет и сорок два года тому назад. В оба раза я знал, что буду проводить жизнь не в Саратове, а в родном городе, что в Саратове я лишь приезжий на время, не очень продолжительное. Очень возможно, что мои воспоминания имеют некоторую неточность. Но возможные крайние пределы неточности не велики. Существенные черты дела достоверны: пятьдесят лет тому назад, было против Саратова две огромные косы, верхняя и нижняя; нижняя коса верхним своим концом лежала против берега ниже Ильинской церкви; так это и теперь; верхняя коса тянулась нижним своим концом дальше, чем видел я три года тому назад. Ниже исчезнувшего нижнего конца старой верхней косы появилась новая коса. Новая ли масса песку эта новая коса?—Я полагаю нет; я думаю, что это лишь передвинувшаяся к низу часть старой верхней косы. Могу ошибаться в этом; не имею измерений, не делая их. Но кто их делал?

Вопросы кооперации в разработке Н. Г. Чернышевскоо¹⁾.

Основные работы по общественно-экономическим вопросам написаны Н. Г. Чернышевским во второй половине пятидесятых и в самом начале шестидесятых годов прошлого столетия. И это обстоятельство совершенно необходимо иметь в виду, когда идет речь о разработке им вопросов кооперации. В самом деле, ведь первые кооперативы в России, потребительные и кредитные, появились уже после того, как плодотворная научно-публицистическая работа Н. Г. была прекращена арестом, а затем ссылкой в Сибирь, на каторгу. Но не только в России, а и в Западной Европе, где кооперация в современном смысле возникла раньше, чем в России,—и там, в момент расцвета научно-публицистической деятельности Н. Г. Чернышевского, она переживала младенческие годы, представляла из себя социальное явление еще недостаточно оформившееся. Достаточно сказать, что первый кооперативный Союз—английский был организован только в 1863 году. Таким образом, Н. Г. пришлось высказываться не о том, что уже существовало, а о том, что жизнь лишь ставила на очередь. Отсюда понятно, что, прежде всего, самых слов „кооперация“, „кооператив“, слов столь употребительных и распространенных в настоящее время, мы совершенно не встречаем в произведениях Н. Г. Чернышевского. Тем не менее совершенно несомненно, что Чернышевского не только можно, но и должно считать теоретиком кооперации в современном смысле этого слова. При этом, в своих теоретических построениях Чернышевский гораздо ближе к пониманию того явления, которое мы называем этим именем в наше время, чем, например, Р. Оуэн или Ш. Фурье, хотя последние и признаются большинством исследователей родоначальниками современной кооперации. Р. Оуэн даже и название своим коммунистическим общинам присваивал „кооперативы“, но эти его „кооперативы“ слишком далеко стоят от современных

¹⁾ Доклад, прочитанный на заседании Областного Нижневолжского Научного Общества Краеведения, посвященном памяти Н. Г. Чернышевского, 9 ноября 1924 г.

наиболее распространенных кооперативов, вроде потребительских обществ или кредитных товариществ²⁾).

Конечно и Н. Г. Чернышевскому то явление, которое теперь мы называем кооперацией, рисовалось не, совсем в том виде, в каком оно оформилось к нашему времени; тем не менее основы, почва, на которой кооперация должна была зародиться и действительно зародилась, были им определены совершенно правильно: „Каждый видит, писал он в 1857 г., что наша промышленная деятельность начинает очень быстро усиливаться... Последствия такого движения не могут подлежать сомнению. До сих пор большая часть нашего экономического производства совершалась средствами и методами почти патриархальными. Не говорим уже о земледелии, относительно которого напрасно и доказывать эту истину; наибольшая часть нашей внутренней торговли и даже значительнейшая часть производства по обработке сырых продуктов совершалась порядком, более свойственным XVII, нежели XIX веку. Это немного уже лет будет продолжаться. Приложением капиталов к производству не только увеличиваются массы продуктов, но изменяется и самый порядок производства“. ³⁾ „Того нельзя скрывать от себя, пишет Н. Г. Чернышевский в другой статье, что Россия доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него и наш быт, доселе остававшийся чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции“ ⁴⁾.

Правда, сделанные выдержки из произведений Н. Г. Чернышевского содержатся в работах его, касающихся общинного землевладения. Но для нашей цели важно подчеркнуть, что Н. Г. совершенно ясны были последствия вступления России на путь промышленного капиталистического развития. Кроме того, окончательный вывод и из этих положений сводится у него к надеждам, что общинное пользование землей может служить удобной почвой, с проникновением в сельскохозяйственное производство промышленных изобретений, для общественной обработки земли товариществами земледельцев.

²⁾ Что кооперативы современного типа слишком далеко стоят от того, что устраивал Р. Оуэн и что хотелось ему видеть, показывают следующие строки, написанные им по поводу посещения г. Карлейля в ноябре 1836 года: „К моему удивлению я нашел в различных частях города 6 или 7 кооперативных обществ. Общества эти хорошо работают, т. е. получают известную прибыль от совместной продажи в розницу. Однако давно пора покончить со столь распространенным взглядом, будто такие общества и суть та социальная система, к которой мы стремимся, или что эти общества имеют что либо общее с новым нравственным миром“ (Цит. по Туган-Барановскому „Социальные основы кооперации“ изд. 2, Москва 1918 г. стр. 128).

³⁾ Полное Собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, т. III стр. 270—271.

⁴⁾ тоже, т. III стр. 185.

С чувством удовлетворения цитируется Н. Г. из книги Гакстаугзена место, в котором тот высказывает предположение, что имеющиеся недостатки общинного пользования землей „могли бы быть вероятно устранены тем, если бы употреблено было внимание на то, чтобы восстановить особенно в маленьких общинах, или посредством разделения больших общин на маленькие союзы, первобытный способ, через уничтожение дележа земли и восстановление общего труда при хлебопашестве. Я считаю это возможным у народа, столь привыкшего следовать духу общинной власти. Что при таком общем возделывании земли хлебопашество может быть производимо гораздо лучше и рациональнее, и что никто не потерпит обиды от того, когда раздел земли заменится бы разделом жатвы на поле, кажется мне несомненно“⁵⁾). Таким образом и здесь, защищая общинное землевладение Н. Г. Чернышевский имел в виду только, исторически сложившиеся правовые формы землепользования, приспособить к наивыгоднейшему использованию трудящимися тех завоеваний, которые сделала промышленная техника и которые, по его убеждению, непременно будут использованы, но только, если это не делают сами трудящиеся земледельцы, то использование будет произведено собственниками капитала, но уже в целях эксплуатации трудящихся.

Но если, казалось Н. Г. Чернышевскому, в сфере сельскохозяйственного производства мы уже имеем почву, на которой может успешно развиваться принцип товарищеской работы трудящихся, то в сфере промышленного производства эту форму надо создавать заново. Форму эту Чернышевский видит в товариществе трудящихся. Самую теорию, по которой товарищество он выдвигает в виде наиболее надежного средства борьбы с чрезмерной эксплуатацией капитала—Н. Г. называет „теорией трудящихся“ в противоположность другой теории, пропагандируемой экономистами господствовавшей в его время либеральной школы, называемой им „теорией капиталистов“.⁶⁾

Какие же экономические выгоды будут достигнуты организацией товариществ трудящихся? Совершенно конкретные очертания этих выгод даются Н. Г. Чернышевским в его романе „Что делать“, где описываются принципы организации устроенных героиней романа, Верой Павловной, швейных мастерских. В этом романе очерчиваются основные принципы организации современного кооператива и только самый вид кооператива избран не из тех, какие в наше время пользуются наибольшим распространением. Это—кооператив производ-

⁵⁾ Там же стр. 309

⁶⁾ Полн. Собр. т. VI стр. 73.

ственно-потребительный. Выгоды кооперирования труда указываются те же самые, какие могут указать и теперь, точно также, как и выгоды кооперирования в сфере потребления. В конечном счете несомненно, что при объединении труда достигается повышение трудовых доходов, ибо устраняется предпринимательская прибыль. Но этим выгоды, при организации производительного кооператива, если он в какой либо мере при производстве затрачивает свои материалы, не ограничиваются, ибо получают выгоды, как в расходовании материалов, которые трудящийся, заинтересованный в успехе всего предприятия, экономнее расходует, а затем получается выгода и на приобретении материала, потому что при значительных закупках для большой мастерской все можно закупить дешевле, чем по мелочам. Наконец, получают выгоды и при закупке машин, и при их использовании, весьма значительны также выгоды от совместной организации жилища, питания и т. д. Из романа Н. Г. мы далее видим, что в мастерской Веры Павловны открыт доступ, поскольку это допускают материальные возможности (помещение, средства производства и т. д.), всякому желающему трудиться, с другой стороны, всякий имеет право, если пожелает, выйти из состава членов товарищеской мастерской. Одним словом, это союз не замкнутый, а открытый и притом чисто добровольный. Этот союз занимается также и культурно-просветительной работой среди своих членов и одним из результатов этого является повышение качества работников, увеличение производительности мастерской. Наконец, в романе намечен принцип и союзной кооперативной организации. Мы видим, что две организованные Верой Павловной мастерские, сохраняя самостоятельность, вступают между собою в деловые отношения, в частности, устраивают общий магазин на Невском, объединяют счетоводство и т. д. ⁷⁾

В этом описании товарищеской мастерской, данном в романе Н. Г. Чернышевского, указаны, в сущности, все основные признаки, которыми характеризуется и современный кооператив, выработавшийся в результате опыта многих десятилетий. К этим основным признакам, намеченным Чернышевским в то время, когда в России не было еще ни одного кооператива—шестидесятилетний практический опыт кооперативного строительства ничего существенного не прибавил. Правда, опыт показал, что в условиях капиталистического развития наиболее жизнеспособными оказались не производительные кооперативы, тем более не кооперативы того универсального типа, какой рисовался Н. Г.. Наибольшее распро-

⁷⁾ Полное Собр. т. IX, роман „Что делать“ стр. 117—122, 265—272.

странение, как мы знаем, получили кооперативы потребительские, кредитные, закупочные и сбытовые, т. е. такие которые выгоды коллективизации в определенной сфере соединяют с сохранением самостоятельности индивидуального хозяйства в других сферах—тем не менее это вопрос лишь формы. Принципы же построения и современного кооператива и сущность достигаемых им выгод—те же, какие были указаны и Чернышевским. К этому надо прибавить, что даже и вопрос о форме кооператива отнюдь нельзя считать разрешенным протекшим историческим опытом не в пользу той формы, какая рисовалась Н. Г. Попытки создания универсальных производственно-потребительских кооперативов не прекращались за все истекшие, после Чернышевского, десятилетия. Наше же время, в условиях советской действительности, дает примеры опытов построения универсальных кооперативов, в виде сельско-хозяйственных коммун, уже в весьма крупном масштабе.

Если в романе „Что делать“ в художественной форме даются обоснования экономических выгод об'единения трудящихся в товариществе, то в целом ряде работ научно-публицистических, по экономическим вопросам—Н. Г. Чернышевский дает всестороннее логическое обоснование хозяйственных выгод товариществ трудящихся перед другими формами производства. С особой подробностью он останавливается на этом вопросе в большой статье под заглавием „Капитал и Труд“⁸⁾ написанной по поводу книги Ивана Горлова „Начала политической экономии“. Здесь он, между прочим, доказывает, что не только с точки зрения непосредственных выгод самих трудящихся, но и с точки зрения интересов народного хозяйства в целом, именно товарищество трудящихся является той формой, при которой может быть получено большее количество продуктов. Доказывая это положение, Чернышевский согласен с „теорией капиталистов“ в силу которой „успешность производства пропорциональна энергии труда, а энергия труда пропорциональна степени участия трудящегося в продуктах; поэтому говорит Н. Г., наивыгоднейшее для производства положение дел то, когда весь продукт труда принадлежит трудящемуся. Форма товарищества трудящихся одна дает такое положение дел, потому должна быть признана формой самого успешного производства“. Но, с точки зрения народно-хозяйственной экономии, дело ведь не только в том, чтобы произвести много продуктов; не менее важно, чтобы производство было направлено на то, что нужно обществу, чтобы производились продукты и вещи „удовлетворяющие необходимейшим потребностям человеческого организма“ в

⁸⁾ Полн. Собр. т. VI, стр. 1—50.

первую очередь и уже только после этого продукты и вещи, удовлетворяющие второстепенным, третьестепенным и т. д. потребностям. Это же будет только в том случае, когда труд направлен на удовлетворение потребностей самих трудящихся, Наконец, выгоды товарищества и в том, что в нем мерилом производства является не сбыт продуктов, а надобность собственного потребления. Здесь Н. Г. высказывает мысли, которые являются неоспоримыми для правильной организации современных потребительных обществ и закупочных товариществ. „Сбыт, говорит он, не идет равномерным шагом как потребление; он вечно находится в лихорадочных пароксизмах, и крайняя энергия в нем сменяется совершенным бессилием. К довершению гибельности, невозможно заблаговременно предусматривать ни времени, ни продолжительности этих перемен, ни интенсивности каждой из них. Поэтому производство капиталиста подвержено бесперывным застоям, а весь экономический порядок, основанный не на потреблении, а на сбыте, подвержен неизбежным промышленным и торговым кризисам, из которых каждый состоит в потере миллионов и десятков миллионов рабочих дней. Эти кризисы, эта насильственная утрата рабочего времени невозможна при производстве, мерилом которого служит потребление.“⁹⁾

Конечно, современные потребительские общества не есть те товарищества, которые представлялись мысленному взору Чернышевского и которые производят для собственного потребления. Но потребительные общества и современные нам имеют несомненные преимущества пред частной капиталистической торговлей, поскольку они в большей мере могут учесть размер потребления своих членов, чем это доступно частному торговцу. И всякий кооператив тем в большей мере достигает поставленных целей улучшения благосостояния членов, чем больше он может проводить в своей работе это плановое начало. И нам важно отметить что это положение, создающее выгоды товарищеской организации трудящихся, было совершенно ясно Н. Г. Чернышевскому, неимевшему в своем распоряжении исторического опыта кооперации.

Чрезвычайно много уделял внимания Н. Г. Чернышевский доказательствам экономической выгоды организации товариществ трудящихся. В разных местах и по разным поводам возвращается он к этому вопросу. Было бы утомительно перечислять и тем более разбирать теперь все те места из произведений Н. Г., где он говорит о выгодах товарищества и потому мы ограничимся приведением лишь нескольких выдержек из его известных „примечаний переводчика“ к „Осно-

⁹⁾ Полн. собр. т. VII, стр. 43.

ваниям политической экономии Д. С. Милля¹⁰⁾. Так, в главе о „трехчленном распределении продукта“ он, между прочим, говорит: „При данном состоянии нации величина рабочей платы определяется пропорциею между суммой капитала, идущего на рабочую плату и числом людей нанимающихся на работу. Чем больше число этих людей, тем ниже уровень рабочей платы, тем больше выгоды нанимателям труда. Это говорит сам Милль. Из этого следует, что размножение может войти в надлежащие границы, а рабочая плата может иметь удовлетворительную высоту лишь тогда, когда ход промышленных дел будет основываться не на наемной работе; иначе сказать, величина рабочей платы может быть удовлетворительна лишь тогда, когда в действительности не будет наемного труда, то-есть не будет и рабочей платы,—когда в действительности этот элемент будет сочетаться в одних руках с прибылью, когда отдельные классы наемных работников и нанимателей исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе¹¹⁾).

В другом месте тех же „примечаний к Миллю—Н. Г. Чернышевский доказывает, что наемный труд, по существу не отличается от рабского труда, что если есть разница между тем и другим, то лишь количественная, а не качественная. „Чем же отличается покупка труда от покупки человека, спрашивает он. Только двумя обстоятельствами: во первых, продолжительностью времени, на которое совершается продажа, во-вторых, степенью власти, какую дает над собой продающийся покупающему. Но, очевидно, что то и другое различие только количественное, а не качественное, только по степени, а не по основному характеру. И притом прямо так называемая покупка человека может принимать формы, ничем не отличающиеся от покупки труда и по этим обоим отношениям“. Наемный труд Н. Г. Чернышевский считает таким злом, которое даже по словам Милля, им цитируемым, сомнительным делает, „принесли ли до сих пор какое нибудь облегчение людям все механические изобретения“. Сам Н. Г. склоняется к отрицательному решению этого вопроса при той организации производства, которая применяет наемный труд, рассматривая его одним из видов товара. И он пишет: „Главные черты образа мыслей, ведущего к улучшению быта, мы уже знаем. Оне состоят в том, что труду не следует быть товаром, что человек работает с полной успешностью лишь тогда, когда работает на себя, а не на другого, что чувство собственного

¹⁰⁾ С большей подробностью, хотя и далеко на исчерпывающие, эти выдержки приводятся в брошюре *К. Пажитнова* „Н. Г. Чернышевский, как первый теоретик кооперации в России“, изд. 2-е, Москва 1916 г.

¹¹⁾ Полн. собр. т. VII, стр. 388.

достоинства развивается только положением самостоятельного хозяина, что поэтому искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином; что с тем вместе принцип сочетания труда и характера улучшенных производительных процессов требует производительной единицы очень значительного размера, а физиологические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих различных производств в этой единице; и что поэтому отдельные хозяева—работники должны соединиться в товарищества...“

...„Самый отсталый политико-эконом должен признать, что экономическая история движется к развитию принципа товарищества и что оно, в некоторых случаях, уже оказалось очень полезным“¹²⁾.

Итак, в трудах Н. Г. Чернышевского мы находим и обоснование главной идеи кооперации и форм, в которых эта идея может быть осуществлена. С этой точки зрения можно сказать, что у Чернышевского мы находим уже в более или менее законченном виде теорию кооперации. Ибо теория кооперации ведь именно и „ставит своей задачей, как правильно на это указывает П. Маслов, не только экономическое и психологическое объяснение различных форм кооперации, но и выяснение условий, при которых та или другая форма может лучше удовлетворить задания, поставленные хозяйствующим субъектом“.¹³⁾

В виду того, что выдвинутая Н. Г. Чернышевским теория кооперации не оправдалась в жизни во всех ее подробностях, большинство исследователей последующего времени причисляют его к социалистам-утопистам. Так поступает Г. В. Плеханов в своей монографии о Чернышевском, тоже мы видим у проф. М. И. Туган-Барановского в его речи по поводу 20-тилетия со дня смерти Чернышевского, произнесенной в заседании Вольно-Экономического общества,¹⁴⁾ также поступает и К. А. Пажитнов.¹⁵⁾ Надо, впрочем, сказать, что отнесение Чернышевского к социалистам-утопистам подвергалось и оспариванию. Так, например, Иванов-Разумник утверждает, что „утопическим социалистом Чернышевский не был никогда. Русская интеллигенция пережила и переживала утопический социализм в лице, прежде всего Белинского, а затем Петрашевцев; уже Герцен, после 1848 г., смело выступил своими теориями на путь социализма реального; Чернышевский,

¹²⁾ Полн. Собр. т. VII, стр. 539.

¹³⁾ Проф. П. Маслов. „Теория кооперации“, Чита 1922 г. стр. 3.

¹⁴⁾ М. И. Туган-Барановский— „Общественно-экономические воззрения Н. Г. Чернышевского“ Сборник докладов и речей „памяти Н. Г. Чернышевского 1910 г. стр. 1—14“

¹⁵⁾ К. Пажитнов—Н. Г. Чернышевский, как первый теоретик кооперации в России изд. 2, Москва, 1916 г. стр. 16 и 23.

конечно, не мог вернуться назад.¹⁶⁾ Подвергает сомнению этот вопрос и М. Антонов (его монография „Н. Г. Чернышевский“ социально-философский этюд, Москва 1910) и отчасти Ю. М. Стеклов (монография „Н. Г. Чернышевский“, его жизнь и деятельность), а также и некоторые другие из многочисленных исследователей произведений Чернышевского. Однако, частью от того, что „защита“ Чернышевского от обвинений в утопизме идет, в большинстве случаев, от исследователей народнической ориентации, не находивших в своих обще-философских построениях широкого отклика, частью от того, что и самому вопросу не давалось достаточно отчетливой постановки—гораздо больше упрочилась за Н. Г. Чернышевским репутация утописта и практическим результатом этого явилось то, что Чернышевским, его теоретическими воззрениями, в частности, его воззрениями на кооперацию, в наше время интересуются гораздо меньше, чем они того заслуживают. Поэтому то и на вопросе об утопизме Чернышевского, полагаем не бесполезно будет остановиться.

Надо сказать, что и все те авторы, которые причисляют Чернышевского к утопистам, разумеется, ни в малейшей степени не имеют в виду умалить его заслуг и значения в истории русской общественной мысли. Г. В. Плеханов даже специально по этому поводу оговаривается, что прибавление эпитета „утопический“ к слову социализм, в известной фазе его развития „совсем не имеет у нас смысла порицания“. „Утопистами были, говорит Г. В. Плеханов, также Сен-Симон, Фурье, Р. Оуэн, а мы смеем думать, что находиться в их компании, значит быть в очень и очень хорошем обществе.¹⁷⁾ Позволительно, однако, усумниться, вне зависимости от того, имеет ли это значение порицания или похвалы, что воззрения Чернышевского можно бы было, без особых оговорок, характеризовать, как воззрения утопического социалиста. Не происходит ли здесь некоторого смешения понятий? Вопрос этот выяснить бесполезно и, чтобы это сделать, надо точно условиться, что именно следует понимать под „утопическим социализмом“.

Если мы за разрешением этого вопроса обратимся к одному из основоположников научного социализма Фр. Энгельсу, то, не находя у него прямого определения понятия, путем вывода из рассуждений изложенных в главе „Социализм“ (исторический очерк) в „Антидюринге“ приходим к убеждению, что он утопическим социализмом именовал „незрелую теорию“ вполне соответствующую „незрелому состоянию капиталистического производства, незрелому классовому

¹⁶⁾ *Иванов-Разумник* „История русской общественной мысли“ 1907 г., т. II стр. 8.

¹⁷⁾ *Г. В. Плеханов* „Н. Г. Чернышевский“ 1910 г., стр. 276.

положению“. Сущность этой теории состояла в оторванности ее от исторической действительности, в построении совершенно новой системы общественного порядка и пожелании ее извне, из своей головы, путем пропаганды, а если возможно, то и примером образцовых экспериментов.¹⁸⁾

В несколько иной форме дает определение Г. В. Плеханов. „Что такое утопия“, спрашивает он, и отвечает: „Это идеальный общественный строй, который предполагается годным для всех народов, независимо от исторических условий их существования“. ¹⁹⁾ Характерным для утопистов Г. В. Плеханов считает рисование ими картин нового общественного порядка, математические вычисления выгод и т. д. ²⁰⁾ наконец, как на характерную черту всех утопистов Плеханов указывает на присущий им идеализм, склонность рассматривать бытие, как результат воздействия сознания („миром правят мнения“). Едвали, однако, эта характеристика „утопического социализма“ будет правильной и, во всяком случае, она не будет исчерпывающей. Невполне она будет правильной потому, что обрисованное конкретные очертания будущего строя—вовсе не исключительный прием утопистов. Здесь будет совершенно применимо замечание М. Т.—Барановского о том, что „всякая законченная социалистическая система включает в себе три части: критику существующего общественного строя, определенное представление о строе будущего и соображения о способах или путях осуществления будущего строя.“²¹⁾

И действительно, выводы не из головы взятые, а основанные на историческом изучении фактов, могут дать основания для изображения картин будущего общественного строя. Во всяком случае, как на это указывает тот же Т.—Барановский, в отмеченной уже нами речи, посвященной Чернышевскому, даже К. Каутский в известной брошюре „На другой день после социальной революции“ пытается дать такую картину, а уж Каутского никто не отнесет к социалистам утопистам.

Приведенную нами характеристику утопического социализма нельзя считать и исчерпывающей. В самом деле, ведь для утопических социалистов может быть не менее характерной чертой, а пожалуй даже самой характерной, рядом с отсутствием учета исторической обстановки, является стремление достигнуть новых порядков в общественных отношениях мирным путем, только путем пропаганды идей. Отсюда и у Р. Оуэна и у Фурье мы наблюдаем почти полное равнодушие

¹⁸⁾ Ср. *Фр. Энгельс* „Философия, политическая экономия, социализм“ 1905 г. стр. 354, также 364.

¹⁹⁾ *Г. В. Плеханов* „Н. Г. Чернышевский“ стр. 295.

²⁰⁾ Там же стр. 346 и след.

²¹⁾ „Современный социализм“ стран. 209

к политике вообще и отрицательное отношение к классовой борьбе, подчас даже резко отрицательное (у Роб. Оуэна). Что эта черта, отрицание политической борьбы действительно характерна для утопистов указывает, между прочим, и Вл. Ил. Ленин в своей известной статье „о кооперации“. „В чем, спрашивает он, состоит фантастичность планов старых кооператоров, начиная с Роберта Оуэна? В том, что они мечтали о мирном преобразовании современного общества без учета такого основного вопроса, как вопрос о классовой борьбе, о завоевании политической власти рабочим классом, о свержении господства эксплуататоров. И поэтому мы правы, находя в этом „кооперативном“ социализме сплошь фантастику, нечто романтическое, даже пошрое в мечтаниях о том, как простым кооперированием населения можно превратить классовых врагов в классовых сотрудников и классовую войну в классовый мир (так называемый гражданский мир“). ²²⁾

И если мы признаем сомнительной характерность для „утопического социализма“ склонность рисовать, на основании собственной фантазии, картины будущего социалистического строя, если мы к тому же будем иметь в виду, что Н. Г. Чернышевский особой склонности к разрисованию увлекательных картин и не обнаруживал, ибо по существу во всех его произведениях мы находим лишь одну такую картину (в четвертом сне Веры Павловны в романе „Что делать“), что в других случаях Чернышевский вовсе не удаляется в заоблачные высоты, а наоборот все время считается с условиями действительности, считается с азиатской обстановкой жизни, азиатским устройством общества, азиатским порядком дел (статья „Суеверие и правила логики“), то и должны будем сказать, что и в этой части „утопизм“ Чернышевского весьма незначителен и он характерен быть может в большей мере для его писательского приема, чем для существа его миросозерцания. ²³⁾ А за вычетом этой черты (фантастические картины будущего строя) из элементов, составляющих понятие „утопического социализма“,—у нас остается только два,—это, во-первых, оторванность теории от исторической обстановки и проникновение идеализма в теоретические построения и, во-вторых, пренебрежительное отношение к политической борьбе, мечты

²²⁾ „Ленин В. И. О кооперации“ (статьи и речи). Сборник под редакцией Н. Л. Мещерякова. 1924 г. стр. 138—139.

²³⁾ В какой мере, вообще говоря, Чернышевскому чужды были фантазии, с каким пренебрежением он к ним относился, показывают следующие его заключительные фразы, посвященные закону народонаселения Мальтуса: „Думайте о том, как вам устроить вашу жизнь, а заботу о судьбе праправнуков оставьте праправнукам. Вы можете видеть, что не только вы можете, что и ваши дети и внуки могут уже обеспечить себя от нищеты,—ну пусть этого и будет довольно с вас: через 200 лет люди будут смеяться над вашими надеждами на будущее, как надеждами слишком мелкими, над вашими опасениями за будущее, как опасениями, простиравшимися только из вашей дикости“ (Полн. собр. т. VII, стр. 280).

о возможности одним „кооперированием“ обратить классовых врагов в классовых сотрудников. Спрашивается, в какой же мере Н. Г. Чернышевскому свойственны эти черты „утопия“. Думается, что если и свойственны, то в весьма незначительной мере.

Уже в статье, посвященной разбору книги Гакстгаузена о русской поземельной общине („Исследование о внутренних отношениях народной жизни и в особенности сельских учреждениях России“) Чернышевский поднимает вопрос не оторванно от действительности, а именно в связи с теми изменениями, какие возникали попутно с проникновением в хозяйство промышленных изобретений. Пусть он дает неправильную оценку общине, пусть он делает неправильные выводы из фактов, но во всяком случае, в своих суждениях он исходил из фактов, которые были налицо. Учет фактов при построении теории он считал неперемнным и обязательным признаком ее научности. В разных местах Н. Г. Чернышевский говорит об этом, но мы для примера приведем лишь одну выдержку из его цитированной уже нами статьи „Капитал и Труд“: „Какое доверие можно иметь к удовлетворительности теории, ни на шаг не подвинувшейся вперед в течение сорока или сорока пяти лет (речь идет о теории либеральной школы). Еслиб экономисты подумали и вдобавок, еслиб они знали хотя основные понятия из истории развития наук, они сказали бы, что, даже не вникая в их доктрину, по этому одному признаку можно решить, что она для нашего времени несостоятельна“. ²⁴⁾

Вобщем Чернышевскому совершенно ясно, что „об‘яснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления“. „Отсюда, говорит он, явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким образом, добросовестное неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований“. ²⁵⁾

Не приходится отрицать, что известный, и порою значительный, налет идеализма имеется на суждениях Н. Г. Чернышевского. В произведениях его можно найти не мало положений, из которых как будто можно заключить, что Чернышевский придавал преувеличенное значение сознанию и как будто забывал о превалирующем значении бытия. Ссылаются в этом случае на выражения Чернышевского вроде того, что „прогресс основывается на умственном развитии; коренная

²⁴⁾ Полн. собр. т. VI, стр. 18.

²⁵⁾ Полн. собр. т. II, стр. 187.

сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний“, объяснение прогресса стремлением к просвещению, к правде и ко всему другому прекрасному... Все это верно. Но если отбросить отдельные выражения, то совершенно ясно, это даже и не оспаривается, что мирозерцание Чернышевского было глубоко материалистическим. Ведь это он писал: „Любовь только в редкие минуты и только в немногих, особенно способных к экзальтации, людях берет верх над расчетом; да и то может побеждать его только в одном, в двух отдельных фактах, а общий характер действий всетаки остается под властью расчета или рутины, обычая, т. е. того же расчета, только сделанного не лично нами, а целым обществом и сделанного не в эту минуту, а давным давно и усвоившегося нам по воспитанию. Из-за любви иные люди могут утопиться, застрелиться,—решимость очень сильная, но обнимающая собою очень недолгое время. Но чтобы любовь изменила характер человека и его действий на целую жизнь—этого никогда не бывало“... ²⁶⁾ В другом месте, и по другому поводу (примечания к Миллю) Н. Г. Чернышевский как раз указывает на то, что „производительные процессы“, а не что либо другое, в конечном счете, разрушают старые обычаи и устанавливают новый быт. „Привязанность к старым обычаям очень сильна во всех сословиях и в каждой стране история каждого из них представляет много примеров упорной борьбы против нововведений, так что едвали можно приписать простолюдинам отличие от других классов в этом отношении. Но старинные обычаи и производительные процессы—вещи совершенно различные. Расчет выгоды во всякой группе людей очень быстро одолевает предрассудки,—кроме одного только случая, когда старина держится вовсе не на предрассудке, а просто на недостатке средств заменить ее чем либо лучшим.“ ²⁷⁾ Мы видим, таким образом, что Н. Г. Чернышевский материальной базе придавал, во всяком случае, очень большое значение.

Что касается отношения Н. Г. Чернышевского к вопросам политической борьбы, то здесь надо считаться с тем, что он писал при самодержавном правительстве, в подцензурной прессе. Это обстоятельство совершенно необходимо учитывать. Вопросам политической борьбы он не имел возможности в своих произведениях дать вполне откровенную постановку, если бы он пожелал выступить в этих вопросах идеологом борьбы. Но совершенно было бы иное положение, если бы Чернышевский относился к вопросам политической борьбы также, как относились к ним социалисты—утописты, т. е. если бы он не придавал борьбе значения или, тем более, как

²⁶⁾ Полн. собран. т. VI, стр. 137.

²⁷⁾ Полн. собр. т. VII, стр. 531.

Р. Оуэн, относился к ней резко отрицательно. Но ведь этого не было. Борьбу Чернышевский считал необходимой. Он прекрасно понимал, что важные вопросы государственной жизни не могут разрешаться хорошими речами и словесными убеждениями. Для иллюстрации приведем выдержку из политического обзора, написанного в апрельской книге „Современника“ за 1862 г. „Как споры между различными государствами, пишет он по поводу прусских выборов, ведутся сначала дипломатическим путем, точно также и борьба из за принципов внутри самого государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между различными государствами спор, если он имеет достаточную важность, всегда приходит к военным угрозам, точно также и во внутренних делах, если дело немаловажно. Если спорящие государства слишком неравносильны, дело решается уже одними военными угрозами: слабое государство исполняет волю сильного и этим отвращается действительная война. Точно также и в важных внутренних делах война отвращается только так, если одна из спорящих сторон чувствует себя слишком слабой, сравнительно с другой: тогда она смиряется, лишь только увидит, что противная партия действительно решилась прибегнуть к военным мерам. Но если спорящие государства не так неравносильны, чтобы слабейшее из них не могло отразить нападение, то от угроз доходит дело до войны.“²⁸⁾

В политических обзорах, насколько это было осуществимо в условиях подцензурности, вообще Чернышевский выявляет себя ярким идеологом революционной борьбы.²⁹⁾

Г. В. Плеханов с наибольшей настойчивостью причисляющий Чернышевского к утопическим социалистам говорит: „Стоя на точке зрения утопического социализма, Чернышевский находил, что те планы, к осуществлению которых стремились его западные единомышленники, могли осуществиться при самых разнообразных политических формах. Так говорила теория.“³⁰⁾ Но, высказывая это положение, Г. В. Плеханов, во-первых, не аргументирует его с обычной обстоятельностью, а во-вторых, и Плеханов отмечает, что так будто бы говорила теория, исповедуемая Чернышевским. Но, оговаривается Плеханов, „в своей практической деятельности, говоря это, мы имеем в виду его деятельность, как *публициста* (курсив

²⁸⁾ Полн. собр. т. IX, стр. 241.

²⁹⁾ Об отношении Н. Г. Чернышевского к революции имеется специальная работа М. Антонова („Былое“ 1908 г. № 8) „Чернышевский о революции“, где подробно приводятся выдержки из разных его произведений, посвященных этому вопросу, не могущие оставить никаких сомнений, что в лице Чернышевского мы имели крупнейшего идеолога революции.

³⁰⁾ Г. В. Плеханов, „Н. Г. Чернышевский“, стр. 342.

Плеханова), он выступал непримиримым врагом нашего старого порядка, хотя его своеобразная ирония продолжала вводить многих либеральных читателей в заблуждение на этот счет. На деле,—если не в теории,—он стал человеком непримиримой политической борьбы, и жажда борьбы сказывается едва-ли не в каждой строке каждой из его статей, относящихся к 1861 г. и, в особенности, к роковому для него 1862 году“. ³¹⁾

Здесь нельзя не отметить, что довольно странным представляется противопоставление в Н. Г. Чернышевском теоретика и публициста. Как будто совершенно ведь безспорно, что Чернышевский является и ученым теоретиком в своих публицистических статьях и в то же время в работах, казалось бы, чисто теоретических он является пред нами в виде пламенного публициста. В этом отношении даже его магистерская диссертация об „эстетических отношениях искусства к действительности“ не представляет исключения, нечего уже и говорить о других его произведениях, в частности, о знаменитых „примечаниях“ к Миллю, где Чернышевский—ученый, чуть не в каждой строке, одновременно является и публицистом. В меру возможности, в условиях подцензурности, он как выше мы отмечали, высказывается о политической борьбе с достаточной определенностью. Но этого мало. Тоже в меру возможности он достаточно ясно определяет свою позицию в вопросах и социальной борьбы. Заканчивая свою статью о сен-симонистах („Процесс Менильмонтанского семейства“), Н. Г. Чернышевский отмечает, наряду с целым рядом нелепостей, совершенных сен-симонистами, важность выдвинутой ими идеи о преобразовании общества, идеи, первоначально принявшей неудовлетворительные формы. Чернышевский думает, что нелепая форма будет отброшена, но мысль останется и идея найдет себе надлежащую форму. „Скоро мы увидим, пишет он, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бывают уже не восторженною забавою, а делом собственной надобности; а когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда вероятно будет лучше жить ему на свете, чем теперь „(курсив наш“) ³²⁾. По существу, лишь в иных выражениях, мы имеем здесь формулировку положения: „освобождение рабочих—дело самих рабочих“—положения, ставшего впоследствии лозунгом специально рабочей кооперации.

³¹⁾ Там-же, та же страница.

³²⁾ Полн. собр., т. IV, стр. 450.

Приведенная выдержка показывает, что и тот весьма характерный для утопистов и так называемых „старых кооператоров“ признак, который состоит в их глубокой вере в исключительное могущество товарищеских ассоциаций, а также в возможность организовать такие ассоциации из людей различного классового положения—отнюдь было бы неправильным приписывать Чернышевскому. Он прекрасно понимал, что те ассоциации, те товарищества, а по современному „кооперативы“, о которых он говорил, нужны далеко не всем. Свою „теорию трудящихся“, которую мы, пользуясь современной терминологией, могли-бы назвать теорией кооперации,—Н. Г. строит именно исходя из понимания противоречия классовых интересов. Эту свою теорию он выдвигает в противовес „теории капиталистов“. Мало затем интересуют Чернышевского и вопросы нравственного совершенствования, чем, в частности, проникнуты системы Р. Оуэна и Сен-Симона, а выдвигает он на первый план расчет, материальную выгоду. Это, с его точки зрения, верные и наиболее надежные двигатели. И исторический опыт показал, что в этом отношении Чернышевский оказался удачным пророком. Если в процессе исторического развития кооперация сделала успехи, если она получила значительное распространение, то все это было ровно в той мере, в какой в своей организации и деятельности кооперация основывалась на доставлении непосредственных материальных выгод малообеспеченным трудящимся людям.

Трезвый ум Н. Г. Чернышевского, чрезвычайно характерная для всей его натуры рассудочность, плохо мирилась с тем, если так можно выразиться, разгулом фантазии, который был свойственен подлинным социалистам-утопистам. Характерно, что в романе „Что делать“ Н. Г. выдает свои мечты о будущем социальном строе, но ведь это мечты во сне его героини Веры Павловны. Обычные же рассуждения Чернышевского в его научно-публицистических работах, лишены элементов фантастики, они может быть излишне трезвы и подчас осторожны. В частности, в статье „Экономическая деятельность и законодательство“ Н. Г. Чернышевский определенно указывает, что мы еще очень далеки от социализма (самое слово „социализм“ Чернышевский не употребляет, но предмет о котором идет речь несомненно социалистический строй), „быть может, говорит он, и не на тысячу лет, но вероятно больше нежели на сто или полтораста“³³).

Все эти данные заставляют нас притти к выводу, что отнесение Н. Г. Чернышевского к социалистам-утопистам нуждается в значительных поправках. В его мировоззрении отсут-

³³) Полн. собр., т. IV, стр. 450.

ствуют как раз наиболее характерные для утопистов черты. Правда, нельзя причислить Чернышевского и к научным социалистам, но это исключительно вследствие того, что понятие о научном социализме в наше время соединяется со вполне определенной школой. Исследователи Чернышевского приходят к выводу, что он совершенно не был знаком с трудами Маркса и Энгельса, этих родоначальников школы научного социализма. Но вместе с тем, в трудах Чернышевского уже намечены основные черты теории научного социализма, хотя и не развиты с той последовательностью, яркостью и отчетливостью, как это сделано творцами научного социализма.

Хронологически Н. Г. Чернышевский был современником К. Маркса и Фр. Энгельса. Но едва ли, при оценке Чернышевского можно особенно увлекаться хронологией. Хотя по возрасту Чернышевский был на десять лет моложе К. Маркса, но нельзя забывать, что основная научно-публицистическая деятельность Н. Г. прервана в очень молодых годах, когда ему не было и 34 лет, при этом на пять лет ранее появления в свет I тома „Капитала“. И если считаться с этим, то придется признать, что только внешне-хронологически Чернышевский (1828—1889) был современником Маркса (1818—1883), но идейно-исторически он был его предшественником, который ближе, чем кто либо другой и безусловно как никто из представителей русской науки подошел в своих теоретических воззрениях к основоположникам научного социализма. Вот почему, быть может, наиболее прав из исследователей Ю. М. Стеклов, который кратко так определяет место Чернышевского в истории развития социалистических идей: „Чернышевский занимает промежуточную стадию между утопическим и научным социализмом, в большинстве случаев стоя ближе к последнему“ ³⁴⁾.

В работах Чернышевского можно еще найти много ценных указаний и деятелю нашего времени. Может в этих работах почерпнуть не мало пользы, в частности, и современный практический деятель кооперации.

В. А. Бельский.

³⁴⁾ Ю. М. Стеклов „Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность“ стр. 320.

Н. Г. Чернышевский о „Падении“ Римской Империи*).

* * *

Прежде всего мое небольшое сообщение не доклад, скорее оно должно бы быть отнесено к разряду мелких сообщений. Я никогда не решился бы выступить с докладом о Н. Г. Чернышевском перед специалистами по русской истории и русской литературе, если бы данная тема не входила в круг моих непосредственных интересов. Поэтому спешу оговориться, что темой моего сообщения будет даже не философско-исторические взгляды Чернышевского, а только оценка им вопроса о „падении“ Римской империи, как первой по времени русской статьи, освещающей эту огромной важности проблему. К тому же, к мастерскому анализу идейной стороны вопроса, данному Г. В. Плехановым, можно прибавить только очень немного.

* * *

Если попытаться окинуть взглядом всю историографию данного вопроса вплоть до наших дней, то придется признать, что общей работы по этому вопросу еще не существует.

Общие же работы о падении античного мира за последние 200 лет появлялись много раз, начиная от аббата *Дюбо*, *Монтескье* и *Гиббона* в XVIII в. и кончая, покойным ныне *Отто Зееком*, VI том исследования которого „Geschichte des Untergangs der antiken Welt“ появился в 1920 г. и лишь в 1923 г. дошло до нас. Не повезло вопросу о „падении“ Римской империи и в русской науке: I том монументального курса *И. М. Гревса* появится, повидимому, еще не скоро, хотя проф. *И. М. Гревс*, сосредотачивая, в качестве исследователя, свое главное внимание на области экономических и социальных отношений в Риме, мог бы поэтому, дать глубоко ценное понимание данного процесса. Статья *М. М. Хвостова*, выдвигающего на первый план, отвергнутый было современной наукой, вопрос о доминирующем значении варварского вторжения для „падения“ империи, так и осталась ненаписанной, и с его взглядами приходится знакомиться по литографированным или рукописным курсам его лекций, (впрочем,

*) Доклад прочитанный на заседании Нижне-Волжского Областного Научного общества краеведения 8 декабря 1924 года.

первые сейчас переиздаются в ГИЗ.). Студенческая работа Казанского профессора-психолога *Н. А. Васильева*,¹⁾ появившаяся в 1921 г. в Изв. О-ва А., И. и Э. в Казани, совершенно не исторична по подходу к теме и сильно отзывается преднамеренным парадоксом. Наконец, старая статья профес. *С. В. Ешевского* (лишь на несколько лет опередившая названную статью Чернышевского) о Великом переселении народов, хотя и содержит ценные замечания и мысли, тем не менее устарела почти безнадежно²⁾. Однако, значение этого вопроса необычайно велико: от того или иного способа его разрешения зависит та или иная концепция варварского завоевания с вытекающим из него общим развитием средневековья, а следовательно, и новой Европы. Можно было говорить о развитии средневековой Европы из романских или германских начал, или из органического синтеза обоих, спор же германистов с романистами, отзвуки которого, пожалуй, чувствуются до сих пор, представляет собою искусственное суживание более широкого, по существу, вопроса. Во всяком случае, *Дюбо, Пересьо, Поджи, Шампионьер, Зибель*, с одной стороны, и *Монтескье, Гиббон, Гегель, Гизо, Вайц, Рот, Зом и Дан*—с другой, ставили вопрос первые в смысле непрерывности романского начала, вторые—германского, пока впервые 15 мая 1872 г. *Фюстель де Куланж* статьей в *Revue de deux Mondes* выдвинул мысль об органическом синтезе того и другого, с преобладанием в пользу романского начала. Впоследствии это положение было им блестяще обосновано в монументальной „Истории общественных учреждений древней Франции“. Лет 20 спустя *Т. Моммсен* высказал мнение, легшее потом в основу почти всех последующих построений: „не варвары разрушили Римскую империю—она погибла в результате внутреннего разложения“.

Н. Г. Чернышевский посвятил настоящему вопросу небольшую, около 1½ печатных листов, статью „О причинах падения Рима“, первоначально напечатанную в „Современнике“ за 1861 г. (П. Соб. Соч. т. VIII, стр. 156—177), и написанную по поводу появления русского перевода 1 т. „Истории цивилизации во Франции“ *Ф. Гизо*. Непосредственным введением в нее служит небольшая рецензия на его же „Историю цивилизации в Европе“ перев. *К. К. Арсеньева* (П. Соб. Соч. т. VI, стр. 346—350), напечатанная в „Современнике“ годом раньше. Разбору их я и посвящу настоящее небольшое сообщение.

* * *

Вся исследовательская и политическая физиономия *Гизо*, была глубоко несимпатична Чернышевскому, человеку другого душевного склада, других убеждений, а, самое главное,

имевшему перед собою совершенно иной идеал, может быть, недостаточно осознанный, но тем не менее достаточно для него привлекательный. Поэтому, он ни на одну минуту не упускает из виду высокие достоинства труда *Гизо*: „Это не дюжинная компиляция с высокими претензиями“ говорит он, (рецензия в VI т., стр. 347); „Гизо серьезный ученый, он сам глубоко изучил предмет, о котором говорит, и если у него много мыслей, несправедливых по вашему мнению, то каждая из них заслуживает серьезного опровержения, потому что взяты не с ветра“. Вместе с тем, он подчеркивает, что важным достоинством *Гизо* является то, что тот устранил из своего плана рассказы об отдельных событиях, сосредоточивши все свое внимание на характеристике общего духа событий, учреждений и понятий в данную эпоху, на „состояниях“, как сказали бы мы теперь языком новейшей истории. „Писать такую подробную оценку мы здесь не можем“, продолжает он, „и поневоле должны обратить внимание на общий принцип его воззрений“. Далее он делает несколько замечаний в защиту *Гизо* от тех обвинений *Барсова*, автора предисловия к переводу, с которыми сам Чернышевский не согласен. Переходя к самому *Гизо*, Чернышевский удачно подмечает слабые стороны его построений и, в связи с этим, главные причины этой слабости. Здесь, невольно, хочется подчеркнуть порою поразительные совпадения оценки Чернышевского с оценкою *Гизо*, данной 15-ю годами позднее великим географом и анархистом *Элизе Реклю*³⁾.

Чернышевский правильно отмечает чрезмерный оптимизм *Гизо*, его, не менее чрезмерный, оппортунизм, затем переходит к дефектам и недочетам его политической деятельности и справедливо видит источник этих недостатков *Гизо* в односторонности его подхода к теории прогресса, так что современный читатель невольно вспоминает на шумевшую книгу *Р. Ю. Виннера*⁴⁾. Совершенно верно подчеркнута далее склонность *Гизо* подгонять факты под свои предвзятые идеи, особенно, под свое понятие французской цивилизации (стр. 349); но все же местами он был несправедлив к *Гизо*, как это отметил *Плеханов* (op. cit стр. 252 и passim). А факты, которыми Чернышевский хочет иллюстрировать свои положения далеко не всегда удачны: германист *Гизо*, естественно, не мог видеть одни только темные стороны в процессе варварского вторжения. Концепция феодолизации, данная им, правда, изменена до неузнаваемости трудами последующих историков, но основное определение феодализма, как социально-политической системы, данное именно, *Гизо*, дожило до наших дней почти без изменения; единственное же дополнение к нему, внесенное в третьей четверти прошлого века, о натурально-

хозяйственном базисе феодальных отношений, в случае торжества концепции *А. Допша*, грозит падением. Далее, феодализм, как это выяснено теперь трудами *Ж. Флака*, как известная политическая и социальная система, действительно, является прогрессивным фактором, способствующим возрождению государственной идеи из анархии сениориального режима. Политические заслуги Людовика XI теперь факт общепризнанный: почему—это нам объяснил еще *Филипп де Комин* 400 слишком лет тому назад, хотя мы, конечно, не можем закрывать глаза на другие стороны деятельности этого душевнобольного человека.

Разумеется, было бы странно критиковать взгляды Чернышевского с точки зрения современной нам науки; я и не собираюсь этого делать, но нельзя не отметить основных особенностей его полемической физиономии, особенно, ярко сказавшихся в данной рецензии: острой наблюдательности, замечательного остроумия, способности подметить слабую сторону у противника и нанести тяжелый удар, но, вместе с тем, готовности заменить, безусловно необходимый анализ, предвзятыми подходами и общими местами, может быть и бессознательно, обходить молчанием неприятные для себя истины, для того чтобы строить на песке здание, основание которого окажется, поэтому, слишком непрочным.

Всеми этими особенностями как положительными, так и отрицательными отличается и его статья „О причинах падения Рима“.

Прежде всего хочется определить, какой научный базис имел Чернышевский в своем построении; он несомненно знал *Гиббона* (может быть во французском переводе *Ф. Гизо*), он назвал свою статью подражанием *Монтескье*, еще студентом читал *Гегеля*, читал многочисленные оригинальные и переводные курсы по всеобщей истории. Просматривая опись книг, принадлежавших ему до 1862 г., составленную его сыном, покойным М. Н. Чернышевским, поражаешься широтой его интересов; однако преобладают здесь политико-экономические трактаты и работы по новой истории, начиная с XVIII века, на ряду с ними встречаются этнографические исследования. Среди книг, принадлежавших ему в последние годы его жизни (1883—1889), встречается даже комплект „*Historische Zeitschrift*“ за 1889 год. С *Гизо* он познакомился впервые еще студентом II курса в 1848 г., в его дневнике от 14 января содержится яркая и проникнутая теплотой характеристика исследовательских приемов французского историка, значительно отличающаяся от разбираемой нами и написанной 13 лет спустя. Впрочем, тогда его мирозерцание только еще складывалось

и лишь на другой день, 15-го января 1848 г. в его дневнике впервые мелькают имена *Фурье и Прудона*.

Всеобщая история была вряд ли не господствующим увлечением Чернышевского на всем протяжении университетского курса. Его переписка и дневники за эти годы не оставляют на этот счет никакого сомнения. На его построении чувствуется несомненный „романистический“ налет. К сожалению, при состоянии Саратовских библиотек, мы не можем определить, читал ли он *Поджи*, или когонибудь другого. Не дает на это ответа и архив Музея имени Н. Г. Чернышевского. С другой стороны, Университет оказал на него сравнительно мало влияния. Н. Г. Чернышевский поступил туда в самую жуткую пору Николаевского режима, когда возможность не только свободного, но и научного преподавания была стеснена до последней крайности. Да и методы преподавания были тогда не таковы, чтобы вводить студентов в самую лабораторию научного исследования. Уже студентом IV курса, за несколько месяцев до выпускного экзамена, Чернышевский сетует, что профессор *М. С. Куторга*, у которого он хотел бы взять „кандидатскую диссертацию“, его почти не знает, т. к. не входит абсолютно ни в какое соприкосновение со студентами, ограничиваясь всего двумя часами лекционного изложения материала.⁵⁾ Семинариев в нашем смысле слова тогда не существовало совершенно; один только профессор *Никитенко* пробовал неуверенно проводить их в форме „практических упражнений со студентами педагогического характера“, состоявших в разборе представляемых ему сочинений.⁶⁾

Неудивительно поэтому, что некоторое разочарование в университетской учебе начинает звучать в письмах у молодого Чернышевского уже с середины первого курса: в конце октября он пишет отцу, что для научной подготовки не зачем было ездить из Саратова в Петербург, а достаточно было бы выписать домой книг на 100 рублей серебром⁷⁾, и этот мотив проходит красною нитью через всю его переписку за студенческие годы. Почти одновременно, он подчеркивает преимущества английской системы преподавания⁸⁾. Но, просматривая его переписку неделя за неделей, где все письма заботливо перенумерованы рукою его отца, мы с удивлением отмечаем, что уже студентом I курса он читает многотомные немецкие монографии, вроде „Истории Гогенштауфенов“ *Раумера*, чтение которого даже для нашего студента IV курса представило бы непреодолимые затруднения; и в этом чтении истории уделялось очень много места⁹⁾. Повидимому, он взял от университета все, что тот мог ему дать и скоро перестал в нем нуждаться, поэтому, на его духовное развитие университет оказал мало влияния. Ему, по собственному его при-

нанию, нехватало только одного балла для того, чтобы кончить университет первым, а между тем, всего за 6 месяцев до окончания, в ноябре 1849 года, он не знает еще у кого из профессоров взять кандидатскую диссертацию: у *Срезневского* ли по славянским наречиям, у *Никитенко* по русской словесности, у *Устрялова* ли по русской, или у *Куторги* по всеобщей истории⁹⁾, или, может быть, остановиться на философии у *Фишера*¹⁰⁾. Особенно ему хочется писать по всеобщей истории у *Куторги* и это он подтверждает дважды, указывая второй раз, что напишет что либо по XV—XVI в.в., но его останавливает мысль, что *Куторга* его не знает совсем, а потому эта работа не может благоприятно отразиться на будущей магистерской диссертации¹¹⁾. Вообще, не щедрый на похвалы своей профессуре, он очень высоко ставил *Куторгу* и писал, что его книжка по истории афинской республики значительнейшее из всего, что было написано по древней истории¹²⁾. Однако, из всего сказанного явствует, что у него не было еще настоящего интереса к истории, и свои знания по ней он приобрел самостоятельным путем. Но этих знаний не следует, всетаки, недооценивать; университет, конечно, тоже не прошел для него совсем уж бесплодно, можно предполагать и некоторое влияние *Куторги*, оригинального и глубокого исследователя, с которым считалась и современная ему западная наука, и обанию которого, как мы видели, подчинялся и Чернышевский, поскольку вообще могла подчиняться чужому обаянию такая яркая индивидуальность. Позднее, он освободился от увлечения *Куторгой* и, как социолог, даже полемизировал с ним. (См. Пол. Соб. Соч. т. I, стр. 398 и сл.). Вообще, первая половина 50-х годов в жизни Чернышевского — это окончательного помрачения кумиров и полного сложения социалистического мировоззрения; до этого времени в его переписке встречаются места, которые были бы невозможны у Чернышевского 60-х годов.

И всетаки, у нас нет никаких следов его знакомства с положением нашего вопроса в современной ему исторической науке: нет, наприм. никаких следов его знакомства с резкой полемикой, вспыхнувшей по этому поводу в 40-х годах XIX в. между *Г. Зибелем* и *Г. Вайцем*. Его метод не тот, которым работала современная ему историческая наука (это мы увидим ниже), не те у него и задачи. Падение Римской империи для него только повод для резкой полемики с общественными группировками иной точки зрения и с методами подхода к определению ценности западной культуры и направления ее развития. Для нашей задачи безразлично, имеет ли здесь в виду Н. Г. Чернышевский А. И. Герцена, как думали *Ветринский* и *Плеханов*¹⁴⁾, или нет.

„Факт, с которого начинается история древнего мира“, говорит он, — „заятие провинций Римской империи варварами“. По обыкновенному понятию толкуют о каком то очень курьезном содействии этого факта историческому прогрессу, даже утверждают, что без него все пропало бы: только он и спас погибающий мир. Видите ли, римский мир уже совершенно истощил все свое содержание, ничего нового и лучшего не мог развить из себя, — по обыкновенному выражению, умирал. На этом способе разсуждения опираются разные вздорные мечтания и об нынешних делах. Если бы толковали только о древней Римской империи, мало было бы нам огорчения и вреда. Но беда в том, что также трактуют о вопросах, важных для нынешней, практической жизни народов, в особенности, народов полуварварских... мир должен возобновиться падением этих народов и заменю их новыми, свежими племенами¹⁶⁾.

Дале следует очень *едкая* критика взглядов, что варварское вторжение могло оказать благотворное влияние на дальнейшую эволюцию человечества, здесь Чернышевский резко расходится с господствующей тогда школой германистов, но самая его критика позволяет сомневаться в его знакомстве с основными положениями этой школы. Он называет (стр. 171) *Гакстгаузена*, говоря о значении общинного землевладения, но у него нет никаких следов знакомства со знаменитей книгой *Маурера*, вышедшей семью годами ранее, появление которой составляло эпоху в историографии данного вопроса и влитние которой у поздних эпигонов германизма чувствуется до конца XIX в.

Определяя значение вопроса о варварском вторжении, он дает понятие прогресса и варварства. Прогресс определяется¹⁷⁾ следующим образом: „прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знания. Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах основная сила прогресса—наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространения знаний. Вот, что такое прогресс—результат знания“. Понятие „варвар“ определяется в противоположение первому, далеко не соответственно оценке варваров в исторической науке и, далее, чисто диалектическим путем, из сопоставления этих понятий, получается вывод, что ничего положительного из их столкновений получиться не может. Теория истощения жизненных сил древнего мира, столь популярная у многих исследователей от *Гиббона* до *О. Зеека* и *Н. А. Васильева*, точно также встречает у него резкий отпор. Возможность физического вырождения расы отрицается; по мнению Чернышевского „старает только отдельный человек,

в общем же порция свежих и усталых сил вечно остается одинакова“.

Сомневаемся, чтобы современный биолог присоединился к этому утверждению, но интересно, что право на конкретное приложение теории истощения общества к процессу „падения“ Римской империи встретило после Чернышевского убийственную критику со стороны как *Фюстель де Куланжа* ¹⁸⁾, так и *Эдуарда Мейера* ¹⁹⁾.

Чтобы выяснить историю образования Римского государства, Чернышевский излагает далее свое понимание римской истории. По его мнению, победа Рима над варварами и завоевание всего средиземноморского бассейна объясняется торжеством культурного государства, опиравшегося на *единственную* в свое время регулярную армию, над варварскими и полуварварскими племенами, стоявшими ниже его в культурном развитии и, особенно, в военной организации; $\frac{4}{5}$ всего тогдашнего мира было погружено в непробудное варварство, но Рим нес им свет высшей культуры. Невольно вспоминаются знаменитые стихи о миссии Рима „educare gentes“, которые, несомненно, вспоминал и Чернышевский ²⁰⁾.

В целом это построение совершенно фантастично, особенно, по отношению к Востоку; вспомним, хотя бы, страстную проповедь *Ф. Кюмоном* ориентализации римской культуры ²¹⁾. Однако, интересно, что Чернышевский подчеркивает здесь недостаточную романизацию Запада в эпоху империи и торжество в ней центробежных течений, способствовавших ее намечающемуся распаду на четыре части. Далее, (стр. 165) это распадение сравнивается с распадением империи Карла V на отдельные государства, при чем и в нем Чернышевский видит прогрессивный фактор национального возрождения.

Затем, он отмечает сравнительные достоинства Римской администрации, по сравнению с варварской, и подчеркивает, что формы управления военно-бюрократического государства обещали смениться в империи лучшими (стр. 165); само правительство принуждено было считаться с общественным мнением и привлекло к участию в делах выборный элемент. Здесь на Чернышевского, несомненно, оказала влияние, созданная *Гиббоном* ²²⁾, легенда о попытке императора Гонория даровать Галлии представительное управление, лет пятнадцать спустя в корне разрушенная *Фюстель де Куланжем* ²³⁾.

Чтобы объяснить „падение“ империи, ему приходится выдвинуть положение о катастрофичности ее конца, о том, что Римское государство погибло в волнах нахлынувшего на него варварства и „было убито исключительно волнением, которое овладело всеми кочевыми племенами от Рейна до Амура“ ²⁴⁾. Здесь, прежде всего, поражает в таком выдающемся эконо-

мисте, как Чернышевский, отсутствие попытки дать экономическое объяснение вопросу. Варвары не принесли с собой ничего положительно, утверждает он; даже принцип личности, о котором говорят историки, только легенда; варварская государственность—простая смесь анархии и деспотизма.

Но с некоторыми замечаниями Чернышевского нельзя здесь не согласиться: именно подавление личности борьбою внешних для нее сил и создало благоприятные условия для развития частного патроната и коммандации. Королевская власть выросшая, благодаря завоеваниям, беспомощно цепляется за остатки римского административно-бюрократического и фискального аппарата; эта беспомощность представляет странный контраст с теоритическим всемогуществом королевской власти, выясненный, правда с противоположных точек зрения *Фюстель де Куланжем* и шведским ученым Понтус-е Фальбеком.

Но Чернышевский, несомненно, преуменьшает здесь роль римской традиции, очень ярко, хотя и с большими преувеличениями выдвинутой еще у *Г. Зебеля*. Таким образом, по Чернышевскому, значение вторжения варваров сводится к тому, что человечество было отброшено на 14 веков назад со стадии централизованного бюрократизма, на которую оно снова поднялось лишь в XVII в. нашей эры.

Г к ставить вопрос было нельзя: сущность его не в том, но, если вспомнить тогдашние теоретические споры о философии исторического процесса, если вспомнить, напр. концепцию *Бокля*, то нельзя не отдать должного теоретической силе построения русского мыслителя.

„Вот мы и дошли до конца истории“ продолжает Чернышевский, — „ведь она кончается заменением феодализма централизованной бюрократией, или чем небудь подобным. А достигла эта централизованная бюрократия полного господства над феодализмом не раньше как в XVII веке, а в Римской империи эта форма уже господствовала в III веке; значит целые 14 веков были потрачены на то, чтобы поднялась история хотя бы до той высоты, с какой низвергли ее варвары... Вся благотворительность этого события состояла в том, что перодовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости...“²⁵).

Культурная миссия Рима, по Чернышевскому, состояла в вовлечении новых и новых варварских обществ в культурный оборот империи; аналогичный же процесс переживает по его взглядам и современная Западная Европа, где он по существу параллелен процессу развития Римской империи. Данная аналогия, может быть, и не верна в целом, но в основе ее лежит глубоко ценное, хотя и недостаточно обоснованное обобщение, буквально совпадающее с самым центральным

пунктом историко-философской концепции *Эд. Мейера*, который, как известно, в своей теории круговорота резко подчеркивает именно параллелизм и глубокую аналогичность современной и античной культуры.

Статья кончается бодрой нотой уверенности в невозможности для Западной Европы той катастрофы, которую пережила уже Римская империя, что перевес сил на стороне культурного мира уже слишком велик и разница между двумя мирами в широте и прочности основания современной цивилизации. В ином соотношении находятся теперь и техника и военное искусство. ²⁶⁾

Позднее, Чернышевский еще раз вернулся к *этому* вопросу, в „приложении“ к IX т. своего перевода „Всеобщей Истории“ *Г. Вебера*. ²⁷⁾, но тут он уже пришел к другому выводу, подчеркивая экономические причины военной реформы, сменившей сперва солдатами—профессионалами, а потом наемными варварами гражданское ополчение римлян, что и привело к падению империи. Когда писались эти строки, наука сделала вперед колоссальные шаги по сравнению в 1861 г.: появились уже два первые тома указанной работы *Фюстель де Куланжа*, с которой Чернышевский не мог не быть знаком, потому что к этому времени в „Вестнике Европы“ уже появлялась статья *Софьи Б...овой*, ²⁸⁾ знакомившая русскую публику с „Новой теорией о происхождении Франции. Никакого влияния на него эта теория не оказала, и он повторил здесь традиционное мнение, высказываемое большинством старых историков от *Э. Гиббона* до *Т. Моммсена*, к которому позднее еще раз вернулся *Отто Зеек*.

Попробуем теперь подвести итоги: у Н. Г. Чернышевского как у всех ранних романистов, было неправильное представление о процессе, который он излагает, основанное как и у них, на предвзятой общей концепции.

Фактическая основа этого процесса осталась ему не известной. Его метод принципиально неприемлим для современного исследователя. Но невольно поражаешься широтой и глубиной его обобщений, а сравнивая с ними достижения современной нами науки, видишь, что творческая интуиция Чернышевского провидела многие из них.

Чернышевский—социолог больше и значительнее Чернышевского—историка.

Юрий Иванов.

Примечания:

Технические условия печатания заставляют меня сократить до последней крайности число примечаний, как это ни трудно именно по условиям историографической работы. Поэтому я отказываюсь от перечисления трудов, названия которых общеизвестны и оставляю без ссылок мелочи, без которых можно было бы обойтись.

- 1) *Н. А. Васильев* „Падение Римской империи в историографической литературе и истории философии“, Каз. 1921 г. 2) „Эпоха переселения народов и Каролинги“, Соб. соч. т. II. 3) *Элизе Реклю* „Современные политические деятели“ Франсуа Гизо. Русск. перев. 1876 г. 4) *Р. Ю. Виппер*—Кризис исторической науки“, Каз. 1921 г. 5) Письмо от 23 декабря 1846 г к Г. И. Чернышевскому. Благодаря любезности Н. М. Чернышевской—Быстровой, я мог пересмотреть всю переписку и дневники Н. Г. Чернышевского с 1846 по 1861 г., чтобы определить ближе круг его научных интересов. 6) Письмо от 29 авг. 1849 г. к нему же. 7) К нему же от 21 окт. 1846 г. 8) К нему же от 13 дек. 1846 г. 9) К нему же от 22 ноября 1849 г. 10) К нему же от 30 янв. 1850 г. 11) К нему же от 7 февр. 1859 г. 12) К нему же от 25 апр. 1850 г. Речь идет об „Истории Афинской республики от убийства Гиппарха до смерти Мильтиада“ 1848 г. 13) Историю Рима Чернышевский слушал у него в 1847—48 г. или 1848—49 учебн. году, так как с осени 1849 г. *Куторга* должен был читать либо „Историю феодального периода“, либо прямо новую историю, 14) *Г. В. Плеханов* Сочинения, т. V, стр. 269. 15) Sybel-Entstehung des deutschen Königstuhms I Aufl. 1848 g. Frank. 16) Waitz-Deutsche Verfassungsgeschichte, I Aufl, Kiel 1844. 16) „О причинах падения Рима“, Полн. Соб. Соч. т. VII, стр. 157. 17) Там же стр. 158. 18) *Фюстель де Куланж*—„История общественных учреждений древней Франции“ т. II passim. 19) *Эд. Мейер*—„Экономическое развитие древнего мира“ 3-е русское изд. 1923 г. ст. 74. Vergilius Aeneis. 21) Franz Cumont, Les religions orientales dans le paganisme Romain. 22) „История упадка и разрушение Римской империи“,— *Э. Гиббона*, т. III стр. 489—490, русск. перев. 23) Указанное сочинение, т. I, стр. 273—275 и т. II, стр. 34—40, вся глава о провинциальных собраниях 24) Op. cit стр. 167 25) Там же, стр. 171. 26) Там же, стр. 176. 27) Пол. Соб. Соч. т. XI, ч. 2 стр. 113 28) „Вестник Европы“ 1877 г., февраль, стр. 581—631.

О филологических работах Н. Г. Чернышевского.

В чрезвычайно разностороннем, почти энциклопедическом уме Н. Г. Чернышевского не последнее место занимали и интересы лингвистические, точнее филологические.

Они пробудились в нем очень рано, еще тогда, когда он юным, полным страстного искания истины студентом посещал лекции профессоров Историко-Филологического Факультета Петербургского университета. Это было в самом конце 40-х годов прошлого столетия. В то время в созвездии университетских светил едва-ли не самой яркой звездой был пионер русского славяноведения И. И. Срезневский, только что занявший кафедру славянской филологии после безвременной кончины П. И. Прейса. Новый профессор с таким энтузиазмом относился к своему делу, что не мог не передать его частицу и своему даровитому слушателю. Только этим можно объяснить, что Чернышевский, фантазия которого уже тогда витала в сфере проблем мирового значения, решился попробовать свои силы в одной весьма кропотливой и, на первый взгляд, очень мало благодарной работе чисто-филологического характера. Дело в следующем.

И. И. Срезневский уже давно носился с мыслью составления полного исторического словаря русского языка. Но чтобы эта грандиозная задача могла быть выполнена сколько нибудь успешно, необходимо было проделать громадную подготовительную работу — исследовать в словарном отношении, по крайней мере, наиболее крупные памятники древне-русского языка. Хорошо понимая, что этот колоссальный труд не может быть выполнен силами одного человека, Срезневский и стал поручать своим наиболее выдающимся ученикам составление словарей к отдельным произведениям древне-русской письменности. На долю Чернышевского достался Ипатьевский список летописи XV в. Составленный им словарь к этому драгоценному памятнику был признан Срезневским столь удовлетворительным, что он даже дал ему место на страницах „Известий Императорской Академии Наук по отделению рус. языка и словесности“ (т. II, 1853 г.) *).

*) Отсюда перепечатан в „Полном собрании сочинений“ Н. Г. Чернышевского, 2 ч. X т. (1906) стр. 21—81.

И действительно, если бы будущий автор романа „Что делать?“ привел свои лексикальные эксцерпты лишь в обычном алфавитном порядке, то и тогда капля его меду в улей древнерусского словаря была бы не малая. Но Чернышевский не удовольствовался такой чисто-механической работой,—он взял на себя гораздо более сложный и ответственный труд расположения добытого матерьяла по *этимологическим гнъздам*: вслед за основным словом (напр., *бити*) он помещает все его производные (напр., *възбити, выбити, изъбити, отъбити, побити, оубити, оубиение* и т. д.). Следовательно, он поступил здесь также, как лет десять спустя это сделал во всем великорусском масштабе Даль в своем классическом „Толковом“ словаре. И нельзя не признать, что благодаря такому расположению матерьяла, значительно выиграла наглядность изложения, но зато оно сильно затруднило возможность быстрых справок. Чернышевский мог бы легко избежать этого недостатка, если бы присоединил к своему Словарю общий словоуказатель, но он этого не сделал. Другим, еще более существенным недочетом Словаря является не всегда правильное восстановление корней или основ слов. Так, семья глагола *брати* возводится к корню *бр-*, а не к *брь-*, *здати*—к *зд-*, а не к *зъд-*, *вазь* к *ваг-*, *коньць-*, *конъ*—к *кън-*, а не к *кон-*, *мерети*—к *мр-*, а не к *мър-*, *пшеница*—к *пъшеница*, а не к *пшеница*, *пчела*—к *пъчела*. а не к *бъчела*, *розга*—к *розъга* и т. д. Подобные промахи указывали на недостаточное знакомство молодого автора с элементарными правилами старославянской грамматики. Более извинительны были те ошибки в Словаре, которые проистекали вследствие неправильного этимологизирования автора. Так предлоги *подль* (чит. *подълъ*) и *дъля* отнесены автором в разные гнезда, хотя современная наука возводит их к одному корню *del*—„быть длинным“; форма *дъна* напрасно отделена от *дънь* „внутри“, наоборот, *снъха* (соврем. *сноха*) помещено в гнездо *сынъ*, хотя оба слова имеют разное происхождение. Еще более досадное недоразумение представляет сближение имен *истопка*, *изба* с основной *тепльо*: в настоящее время не может быть ни малейшего сомнения, что праслав. *fbstrba* „изба“ заимствовано из герм. яз., ср. нем. *stube*, (Verneker, Etymol. Wörterb. I 436). Эти ошибки, конечно, неприятно поражают современного читателя, но не следует забывать, что в то время, когда Чернышевский писал свою работу, этимологическая наука находилась еще в пеленках, и потому не только начинающий ученый, но и искушенные научным опытом специалисты не были гарантированы от этого рода ошибок. Вспомним, как изобилует ими хотя бы упомянутый выше Словарь Даля! И вот почему следует удивляться не тому, что они встречаются у Черны-

шевского, а тому, что их так мало. Если не предполагать правящей руки Срезневского то здесь, несомненно, ему сослужило большую службу его тонкое лингвистическое чутье. Этому природному дару следует приписать и то, что некоторые его этимологические сближения вполне подтвердились последующими исследованиями. Так, он близко подошел к истине, когда сближал *възънѣти* (стр. 57) с корнем *пи-* „кричать“, а не с корнем *вън-*, как обыкновенно делалось до него (KZ XLIII 183).

Чернышевский старается в своем Словаре строго отличать чисто русские слова от церковнославянских, но не везде с одинаковой последовательностью. Так, напр., верно обозначая прилагат. *синапный*, как церковнославянское, он не делает той же отметки при *священный*, *священномученикъ*. А иногда даже чисто-русские слова, как *сырый* или *сирота*, он без всякого основания провозглашает церковнославянскими!

Более оригинальным, но совершенно неудачным, новшеством была попытка Чернышевского выделить в самостоятельную категорию „реторические слова“, т. е. слова, якобы сфабрикованные нашими книжниками в подражание греческим, или просто для вящего красноречия. Но при ближайшем рассмотрении, все такие слова оказываются не имеющими ничего общего с риторикой *ср. аеръ, преодолѣти, плѣть, малодушьный* и мн. др.

К числу внешних недостатков словаря принадлежит непоследовательность в толковании слов: в то время как значения одних слов об'яснены более или менее точно, другие оставлены без перевода на современный язык, хотя сделать это было бы не трудно, имея в своем распоряжении даже весьма неполный академический словарь церковнославянского и русского языков.

Таковы наблюдения, которые заставляют нас признать труд Чернышевского далеким от совершенства уже в первый момент появления его в печати. Тем не менее наука должна быть признательна Срезневскому за его обнародование: при всех своих многочисленных недостатках, работа Чернышевского значительно умножила наши сведения о лексикальных особенностях языка древле-русских летописей, и впоследствии не одна золотая крупинка перешла отсюда в „Матерьялы для исторического словаря русского языка“ его учителя, которыми так гордится русская наука...

„Опыт словаря к Ипатьевской летописи“ есть единственное вполне *самостоятельное* филологическое произведение Чернышевского. Кроме него, мы можем указать еще несколько рецензий, в которых так или иначе отразились филологические интересы этого писателя.

Таковы, во первых, его рецензии на книги знаменитого слависта А. Ф. Гильфердинга „О сродстве языка славянского с санскритским“ Спб 1853 (Отч. Зап. 1853, № 7 и Современ. 1854, № 10) *) и „Об отношении языка славянского к языкам родственным“ М. 1853 (Соврем. 1854 № 10). **) Рецензент борется здесь с санскритоманией русского слависта и, в противоположность последнему, доказывает большую близость славянских языков к европейской группе говоров индоевропейского языка, чем к азиатской. Рядом с дельными замечаниями, — Чернышевский, напр., справедливо указывает на опасность этимологических сближений исключительно на основании словарей и, в частности на нередкое у Гильфердинга смешение заимствованных слов с исконными, — обе рецензии содержат и много совершенно ошибочных утверждений (напр., что иде. средненебное „к“ и в лат. языке может переходить в s, что в нем. языке существуют носовые гласные, что в образовании *ж* и *ш* небо не участвует и т. д.), доказывающих, что в области сравнительного языкознания наш критик был еще в большей степени дилеттантом, чем Гильфердинг.

Поверхностное отношение к вопросам языкознания, особенно общего, объясняет нам, почему Чернышевский не сумел оценить должным образом весьма полезный в свое время „Высший курс русской грамматики“ В. Стоюнина Спб. 1855. Эта книга, внесшая свежую струю в изучение родного языка и выставившая совершенно верное положение, что „для человека вполне образованного мало только уметь пользоваться практическими правилами языка, нужно *разуметь* законы своего родного языка, видеть его историческое развитие и то место, какое он занимает между другими языками, понять тесную связь между языками и мыслью, понять, как под влиянием мысли образуется язык“, вызвала в Современнике 1855 (№ 6) ***) довольно резкую рецензию Чернышевского, в которой он, верный своему узкому и наивному утилитаризму, старается отнять у изучения языка всякое образовательное значение. Неблагожелательный тон этой рецензии особенно поражает при сравнении с сочувственным в общем отзывом о сумбурных „Грамматических заметках“ В. Кассовского Спб. 1855, помещенным в Современнике 1855 (№ 4) ****) и одобряющим их мнимое философское направление.

Наконец, к области славянской филологии относятся две рецензии на известную диссертацию Бодянского „О времени происхождения славянских письмен“ (М. 1855), появив-

*) Перепеч. в полн. собр. соч. 1 (1906) стр. 170.

**) Там же 174.

***) Там же I 404 и сл.

****) Там же I, 359 сл.

шиеся в Современнике за 1855 г. (№№ 3 и 5) *). Автор вообще относится благосклонно к разбираемому труду, но утверждает, что для науки вопрос о языке славянского перевода св. писания гораздо важнее вопроса, когда были изобретены славянские письмена: в 855 г. или в 862 г. Он указывает и верный путь для правильного решения первого вопроса: критическое сличение славянских наречий с языком восстановленного по древнейшим спискам славянского перевода св. писания.

Как ни малочисленны рассмотренные работы Чернышевского, все же они дают нам возможность довольно определенно высказаться об авторе „Эстетических отношений“, как филологе. Конечно, Чернышевский никогда не был филологом по призванию; интерес к лингвистическим изучением был только сравнительно непродолжительным эпизодом (1849—1855) в его многосторонней литературной деятельности. Возбужденный исключительно личным обаянием и авторитетом Срезневского, этот интерес не получил глубокого развития и скоро замер почти совершенно, когда наступившая эпоха великих реформ увлекла его боевую натуру на форпосты социально-политической борьбы.

Г. Ильинский

*) Там же.

Чернышевский—стихoved.

Мнение, что эстетика Чернышевского не была „разрушением эстетики“ (как формулировал ее содержание Писарев) можно считать общепризнанным после убедительной мотивировки Плеханова. И все-таки, несмотря на произведенную переоценку, заглавие предлагаемой статьи рискует прозвучать парадоксом; хотя, намереваясь говорить о Чернышевском, как стиховедe, я имею в виду материал не новый, а вошедший в собрание его сочинений и, стало быть, общедоступный. Очевидно, теоретическое наследие Чернышевского не во всем приведено в должную ясность; а потому, во избежание ошибок при оценке предлагаемого материала, следует припомнить основные линии теоретической поэтики Чернышевского, поскольку она намечается в его эстетической диссертации и других высказываниях на ту же тему.

Реабилитация „прекрасной действительности“, на которой построена диссертация Чернышевского, еще не обязывала к отрицанию художественно-прекрасного или, по удачной формулировке Плеханова, „сама по себе его эстетическая теория не исключала интереса к эстетическим достоинствам художественных произведений¹⁾. Однако самое понятие „эстетического достоинства“ с неизбежностью должно было подвергнуться в эстетике Чернышевского переоценке, а за этой переоценкой, с тою же неизбежностью, последовала переоценка значения отдельных искусств. Вряд ли возможно тоже отрицать, что значительная доля „разрушительного“ элемента в эстетике Чернышевского²⁾ заключалась. Вспомним такие, например, утверждения „Эстетических отношений искусства к действительности“: „произведений архитектуры ни в каком случае мы не решимся назвать произведениями искусства... Архитектура... отличается... от мебельного мастерства не существенным характером, а только размерами своих произведений...³⁾ Живое тело не может быть *удовлетворительно* передано мертвыми красками⁴⁾.

1) Г. В. Плеханов. Н. Г. Чернышевский. Изд. „Шиповн.“, 1910—с. 217.

2) В дальнейшем обозначаю фамилию Чернышевского буквою Ч.

3) Соч. Н. Г. Чернышевского, изд. 1906 г., т. X. ч. 2, с. 130.

4) Там-же с. 132.

Инструментальная музыка—подражание пению, его аккомпанемент или суррогат¹⁾. Цитаты эти—не случайно вырванные из контекста фразы; это сгущенные формулировки мыслей, нашедших там же исчерпывающее обоснование; при этом, при выборе цитат, я оставил в стороне все, что сказано об относительных недостатках искусства по сравнению с действительностью и взял лишь недвусмысленные осуждения целого искусства (архитектура) или его части (инструментальная музыка; портретная живопись—за исключением только старых и больных лиц, удовлетворительность которых в лучших образцах признает и Ч.).

Наиболее точной формулой для теоретической позиции Ч. было бы „разрушение романтического идеализма в эстетике“; но попутно под ударами Ч. „разрушались“ и целые области художественного творчества, целые искусства. Писарев в своей формулировке не был не прав: он был только неточен. Если же самое заглавие писаревской статьи (а не только его истолкование) стилизовавшее точку зрения Ч. действительно до неузнаваемости, встретило такой энергичный отпор, то очевидно потому, что позднейшие комментаторы имели в виду, в сущности не эстетику Ч. в целом, а только его поэтику. Ограничивать Писарева в этом отношении они имели полное основание.

Сам Ч. не раз выделяет в ряду искусств именно искусство словесное—поэзию. В его рецензии 1854 г. на перевод поэтики Аристотеля есть место, отдельные выражения которого могут быть (и отчасти были) истолкованы в узко-утилитаристическом смысле: взятое без купюр, оно говорит только об идеологической актуальности искусства—и прежде всего словесного. Искусство „содействует распространению образованности, ясных понятий о вещах всего, что приносит умственную, а потом принесет и материальную пользу людям. Искусство *или, лучше сказать, поэзия (одна только поэзия, потому что другие искусства очень мало делают в этом отношении)* распространяет в массе читателей огромное количество сведений“...⁷⁾ Приведенные строки говорят о тех обще-идейных основаниях, какие были у Ч. для защиты именно поэзии (поэзии—в смысле словесного искусства вообще). Если за окончательным решением обратимся к диссертации Ч., то увидим, что параллель между поэзией и действительностью привела к выгодам не в пользу поэзии. Равносильно ли это „разрушению эстетики“ в применении к поэзии? Внимательное чтение этих страниц

¹⁾ Там же с. 137. Интересно сопоставить точку зрения Ч. с реакцией против романтической эстетики в начале 30-х г.г., когда архитектура и музыка—искусства наиболее выдвигавшиеся романтическими теоретиками тоже были взяты под сомнение. См. Василий Гиппиус. Гоголь. П. 1924, с. 43 и сл.

²⁾ Соч. Чернышевского, т. I, с. 34

диссертации убеждает в том, что упреки Ч., направлены не на существо поэзии (как это было с архитектурой, отчасти живописью и с инструментальной музыкой), а только на определенные *формы* поэтического искусства, на определенные традиции, которые с его точки зрения, должны быть преодолены. Так, исходя из понятия „общеинтересного“, как должной основы искусства, Ч. осуждает преобладание любовной интриги в повествовательной и драматической динамике¹);—но ведь над любовной интригой еще в начале 40-х г.г. издевался Белинский²) и тогда же Гоголь (в Театральном раз'езде) протвовооставил ей интригу социально-экономическую, независимо от какого бы то ни было „разрушения эстетики“. Дальше—сурово осуждает Ч. не изжитое до тех пор типологическое деление на „героев“ и „злодеев“ и защищает „портретность“, но тот же Белинский в 1840 г. смеялся над „злодейственными лицами“ с ярлычками на лбу³), а „портретность“ еще в 1825 г. защищал (в письме к Катенину) Грибоедов. Если Ч. считает, что „монологи и разговоры в современных романах немногим ниже⁴) монологов псевдоклассической трагедии“, то и этим скрытым композиционным требованием он только примыкал к переживаемому в половине 50-х г.г. моменту эволюции самой литературы: упрек Ч., очевидно, не относится к таким произведениям, появившимся одновременно с работой его над диссертацией, как „Отрочество“ Л. Толстого, „Фанфарон“ Писемского, „Испытание“ Хвоцинской. Наконец слова—„а если выводимое лицо сделает какой-нибудь инстинктивный необдуманый шаг, автор считает необходимым оправдывать его из сущности характера этого лица, а критики остаются недовольны тем, что действие не мотивировано“⁵)—являются выражением уже наметившейся к половине 50-х г.г. реакции против психологизма в литературе; реакция эта вскоре была поддержана Добролюбовым, и вслед за ним Ткачевым, а в самой литературе нашла таких приверженцев, как Писемский и Салтыков⁶).

Таким образом, в своих отношениях к поэзии Ч. является лишь представителем натуралистической поэтики, а отнюдь не отрицателем и разрушителем. Но и эта позиция сама по себе еще не обязывала к признанию *стиховых* форм в поэзии

¹) Т. X ч. 2, с. 139.

²) Соч. Белинского под ред. Венгерова, т. VI, с. 433 (рецензия на „Князя Холмского“ Кукольника.

³) Там же т. V, стр. 122—но поводу драмы Вейсентура, переведенной Ободовским.

⁴) По стилю (а не по качеству); смысл—„столь же изысканы“.

⁵) Там же, с. 157.

⁶) Ср. письмо Салтыкова Анненкову 1875 о Гонкурах. (Письма Г. Из. 1925 г., с. 112) и письмо Писемского к Буслаеву 1877 г. с воспоминаниями о литературе 40-х г.г. (изд. Маркса т. I, с. 34). Оба натиска настолько резки, что без пропусков не могут быть напечатаны.

напротив, в натуралистической поэтике всегда потенциально заключались элементы реакции против них. Реакция эта началась еще в 30-х г.г. вместе с укреплением позиций повести и романа и сказалась к концу 40-х г.г. в почти полном отказе журналов печатать у себя стихи¹⁾. Герой первой повести Салтыкова („Противоречия“ 1847 г.) произносит такие знаменательные слова: „Пора нам стать твердою ногою на земле, а не развращать себя праздными созданиями полупьяной фантазии“... и вскоре после этого—не-уже-ли всю жизнь сочинять стихотворения, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?“

В 1846 г. Л. Н. Толстой, если верить воспоминаниям Назарьева, заметив в руках у своего товарища Демона, „иронически отнесся к стихам вообще“. Правда, это не мешало Толстому в 1852—54 г.г. самому приняться за писание стихов, но с другой стороны, и собственное стихотворчество не помешало ему отрицать Пушкина до тех пор, пока Цыганы не были им прочитаны в *прозаическом* французском переводе. Когда в 1864 г. Писарев об’явил „стиходелание“—„при последнем издыхании“, то с этим, как с фактом, согласился и Тургенев; в 66 г. в разговоре с тем же Писаревым он говорил:—„поход против стихов в 1866 году! да ведь это антикварская выходка! архаизм!“И действительно, журналы 60-х—70-х г.г., сохраняя техническую традицию заполнять пробелы в журнальных книжках стихами, печатают, по преимуществу, переводы.

В половине 50 г.г. поход против стихов, во всяком случае, еще не был архаизмом, но критики—пятидесятники в этом походе не участвовали. Ч. прежде всего неоднократно рецензирует стихотворцев, и к целому ряду их (Некрасову, Огареву, Щербине, отчасти Плещееву) относится с сочувствием. Уже из этого видно, что сама по себе *стиховая форма* не вызывала со стороны Ч. никакого отпора. Даже в наиболее утилитаристическую из своих статей (уже цитированную рецензию на перевод Аристотеля) Ч. определенно включил защиту стихов: „из чтения романов, повестей, по крайней мере исторических, *даже стихотворений*, которые пишутся людьми, во всяком случае стоящими по образованности выше, нежели большинство их читателей, масса публики... узнает многое“³⁾. Ограничительное „даже“ относится к так называвшемуся чистому искусству, но—продолжает несколько ниже Ч.—„много было поэтов, которые сознательно и серьезно хотели быть служителями *нравственности и образованности*:“ здесь одновременно повышается интенсивность признания ценности поэзии

1) См. ст. Д. Благого—„Тургенев—редактор Фета“. Печать и Рев. 1923 г. кн. 3.

2) Бирюков, т. I, стр. 133, 255 и 309, тоже Дневник, запись 27—XII—52.

3) Соч. Чернышевского, т. I, стр. 35.

и вместе с тем дается более широкое толкование прежнему выражению „новые сведения“. Если же принять в расчет не эту одну статью, а совокупность всех высказываний Ч. о поэзии то будет очевидно, что его критические мнения не сводятся к публицистике. Никитин и Бенедиктов были осуждены им, *как художники*: первый за „мозаики, составленные по книгам, а не с натуры“, второй за недостаток фантазии, натянутость выражений и безжизненность картин¹⁾. А в 1857 г. в рецензии на стихотворения Щербины он так формулирует свою критическую позицию: „Автономия верховный закон искусства... Пусть только он (—поэт) блюдет свободу своего таланта от всяких насилований; пусть всю фантазию свою предает тому, чем переполняет жизнь душу его: от избытка сердца, должны говорить уста поэта“²⁾.

Наконец, появившийся в 1863 году роман Ч. „Что делать?“ был в некоторых главах пересыпан стихотворными цитатами (см. 4-й сон Веры Павловны и конец 5-й главы). При одновременном натиске так называвшегося нигилизма— на стихи, это стихотворство Чернышевского не могло не обратить внимание современников. В От. Записках 1863 г. (старой редакции) есть любопытное „обличение“ Ч-го³⁾. Приведем отрывок из 4-го сна Веры Павловны с цитатами— „И сладкие речи, как говор струй...“ „Милый друг погаси...“, „Wie herrlich leuchtet...“ дальше торжествующим курсивом набраны такие слова Веры Павловны, как „нега любви“, „любовь золотая, прекрасная“ и т. п. Цитате придан характер мистификации: раскрытие авторства Ч-го приберегается к концу для максимального эффекта. Выписка эта дает рецензенту повод отмежевать сотрудников „Современника“ от сотрудников „Русского Слова“: „Странно, что и Добролюбов в последний год своей жизни заговорил как будто что-то недобролюбовское, тоже бросился в идеальность чувства, даже начал писать лирические стихи... Нет, это не новые люди, г. Чернышевский, и вы сами и ваша Вера Павловна, и Лопухов и Кирсанов и Добролюбов— вот г. Зайцев и Бурбонов³⁾—те, действительно, новые люди...“ Рецензент ломился в открытую дверь: имея все права называться *новым человеком* в подлинном смысле этого слова, Ч. в нарочитой погоне за этим названием—вовсе не нуждался.

Мы убедились, что стиховая форма не только не отрицалась Ч-м, но и пользовалась его расположением. Однако и этого еще не достаточно для зачисления Ч-го в стиховеды. Можно ценить стихи, но ценить в них не то, что делает их стихами; ценить их тематику и семантику и оставаться равно-

1) Там же т. II, с. 353 и 597.

2) О. З. 1863 г., № 10, с. 214 и сл. рецензия на стихотворения Фета.

3) Псевдоним Д. Д. Минаева.

душным к фонике и ритму. К такому отношению близок был Добролюбов. Сам писавший стихи, он, в качестве теоретического требования выдвигал минимум расстояния между стихами и их мыслимым прозаическим переводом. „При переложении этого описания в прозу“—так комментирует Добролюбов понравившееся ему стихотворение Жадовской—„не было бы надобности изменять ни одного выражения. Нам это кажется большим достоинством“¹⁾. Очевидно, что все собственно *стиховое* в рецензируемом поэте не займет внимания Добролюбова; если он и пред'являет технические требования, то минимальные:—не быть „небрежным в отделке, т. е. не отступать от общепринятого технического канона, „лучше бы было, если бы среди рифмованных стихов не встречалось стиха без рифмы. если бы стих не оканчивался на „но“ в рифму с „суждено“ (против enjambement, кстати сказать, неоднократно у Лермонтова. В. Г.) ..иногда даже ударение ставится довольно произвольно; это обстоятельство весьма важно для нашего стиха, которого вся звучность основана на ударениях“.¹⁾

Последнее замечание представляет собою случай максимальной для Добролюбова стиховедческой наблюдательности.

Знакомясь с критическими статьями Чернышевского, мы очень скоро настраиваемся на ожидание, что в области собственно стиховедческого интереса Ч. не пойдет дальше Добролюбова. Настроение это питается главным образом рассеянными у Чернышевского параллелями между формой и содержанием: параллель эта обставляется, как водится, метафорами и при том наименее выгодными для формы. Поэтическая форма уподобляется то *покрою платья*²⁾ (предпочтение естественно оказывается прочности материала и точности мерки), то *полировке мебели*³⁾, (что очевидно не соответствует сути дела, так как мебель без полировки возможна, а поэзии без формы не бывает.). Надо однако заметить, что первая метафора (покрой платья), при всей ее неизбежной приблизительности, была все же шагом вперед по сравнению с такими расхожими метафорами, как форма—сосуд, содержание—жидкость, из которых с очевидностью вытекало *безразличие* формы. „Покрой платья“ не безделица: и если Ч. выражал готовность „примириться скорее с недостатками формы“ (покроя), чем с недостатками содержания, то и эта позиция предполагала известный максимум терпимых „недостатков формы“, предполагала „портного“, воспитанного в определенных традициях „покроя“, такого, при котором ценный материал не был бы испорчен.

¹⁾ Соч. Добролюбова, т. II, с. 220.

²⁾ Соч. Чернышевского, т. I, с. 105.

³⁾ Там-же, с. 276.

Разгадывая смысл метафор Ч-го, я имею в виду единственно устранение „противоречий“, так как для знакомства с суждениями Ч-го о поэтической, в частности стихотворной форме—мы располагаем материалом несравненно более ценным. Материал этот дает прежде всего статья в „Современнике“ 1855 г. об анненковском издании Пушкина (кстати, та же самая, и даже та же самая 2-я глава ее, где находится и сравнение поэтической формы с полировкой мебели!). Пушкинская версификация дает Ч-му повод поднять и своеобразно разработать общий вопрос—о свойственном русскому языку стихотворном *размере* и о наиболее пригодной для русского стиха *рифме*.

Самая постановка темы была в 1855 г. фактом совершенно исключительным. Ведь уже в 1835 году литературный учитель Ч-го—Белинский—заявлял: „конечно, странно *в наше время* с важностью рассуждать *о таких мелочах как стихотворные размеры*, октавы, или о больших и малых буквах, и придавать *этим вздорам* какую-нибудь важность ¹⁾“. С тех пор за все двадцатилетие интерес к стихосложению не повышался ²⁾; вышедшее в 1853 г. „Русское стихосложение“ Перевлесского тоже никаких горизонтов не открывало (зато чуть не сбило с прямого пути юношу—Решетникова).

Попытка Ч-го пересмотреть вопросы русской версификации вдвойне интересна тем, что, обнаруживая неожиданное для своего времени внимание к стихотворной технике, Ч. вместе с тем пытается идти по пути наибольшего, а не наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы безоговорочно осудить стиховую форму вообще, как стеснительную, или наоборот—безоговорочно преклониться перед стиховым канонем Пушкина („художнический гений“ которого сам же Ч. называл „великим и прекрасным“ ³⁾)—Ч. пытается противопоставить пушкинским метрическим тенденциям новые принципы, более, по его убеждению, соответствующие духу русского языка и, стало быть, более передовые в эволюции стихотехники.

Выдвигая положение, что принятая со времени Ломоносова версификация „не так натурально приходится к свойствам нашего языка, как например к свойствам немецкого, из которого была заимствована без всяких перемен и принословлений ⁴⁾—Ч. подверг его основательному (для своего времени) исследованию.

1) Соч. Белинского, ред. Венг., т. II, с. 267.

2) Вышедшая в 1837 г. „Теория русского стихосложения“ Алексея Кубарева возникла и частично печаталась в конце 20-х гг.

3) Преклонение перед гением Пушкина не помешало, впрочем, Ч-му приписать Пушкину стихи Вяземского. См. соч. Чернышевского, т. I, с. 290.

4) Ср. слова Надеждина (Телескоп 1832)—„поэтический наш метр выкован на германской наковальне“ и Гоголя (может быть и повлиявшего на Ч-го): „вполыхах занял он (—Ломоносов) у соседей—немцев размер и форму, какие у них на ту пору случились, не рассмотрев, приличны ли они русской речи“.

„Пересмотрев любой стихотворный сборник“—пишет Ч.— „мы будем поражены преобладанием вида над всеми остальными размерами в русской поэзии.“¹⁾ Так Пушкиным с 1818 по 1830 г. написано (лицейских стихов Ч. не считает)

ямбом	—175 стихотворений
хореем	— 29
амфибрахийем	— 7
дактилем	— 6
анапестом	— 1

„Мы видим, что из остальных размеров, кроме ямбического, Пушкин писал почти только хорейским (особенно с 1828 г. как бы утомясь однообразием ямба); а размеры, имеющие трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий и анапест) употреблял чрезвычайно редко. Но замечательно то обстоятельство, что эти немногие стихотворения все принадлежат к лучшим или любимейшим, по общему правилу, что все редкое бывает или особенно удачно, или особенно неудачно“²⁾.

Задавшись вопросом о причинах преобладания ямба (и хорей)³⁾ в русской поэзии, Ч. объясняет это явление законами немецкого языка, из которого наше стихосложение заимствовано: „Двусложные стопы (ямб и хорей) господствуют в немецкой версификации, потому что немецкая речь, говоря вообще, сама собою укладывается в двухсложные стопы, имея равное число слогов с ударениями и без ударений. Не то в русской речи. Наши слова вообще многосложнее; *мы не ставим более одного ударения на сложных словах* (курс. мой. В. Г.); гораздо реже, нежели немцы, делаем ударение на местоимениях и частицах“. Как видим, Ч. довольно близко подходит к определению действительной разницы между немецкой и русской акцентовкой, как основой метрики.

„Чтобы видеть, в какие стопы всего естественнее должна ложиться русская речь“, Ч. пробует „сосчитать количество ударений в ней находящихся“. Для этого он с необычной для своего времени наивностью—пользуется *статистическим методом*. Он берет 8 строк из повести Писемского „Винувата-ли она“, и еще по $3\frac{1}{2}$ строки из двух других отрывков и просчитывает в них число слогов и число ударений. Атонированные слова в расчет не принимаются, в чем можно видеть скорее внимание к языковым фактам, чем тенденциозную

¹⁾ Сочинения Чернышевского, т. I, с. 205—289. Я пользуюсь текстом „Современника“ 1855—март. с. 25—30, как более исправным.

²⁾ Черная шаль. Песнь о Вещем Олеге. Подражание Корану. (И путник усталый...). Узник. Кавказ. „Вакхическую песню“ Ч. почему-то считает „исключением“, хотя в этой же статье приводит из нее цитату. Единственное анапестическое—„Пью за здоровье Мери“ (примечания Ч-м).

³⁾ Причин преобладания *ямба над хореем* Ч. не касается и в дальнейшем, забывая о своем первоначальном наблюдении, рассматривает двусложные метры в совокупности.

переделку, так как в ряде случаев, где ударение необязательно, оно все же отмечено ¹⁾).

„Соединив итоги всех 3-х отрывков, Ч. получает на 351 слог—118 ударений, т. е. одно ударение на 3 слога с уклонением от этой нормы, равной только одной двадцатой. „Нам кажется“—заключает Ч.—„что из этих цифр нельзя не извлечь заключения, что ямба и хорей, требующие в 30 слогах 15 ударений, далеко не так естественны в русском языке, как дактили, амфибрахии, анапесты, требующие в 30-ти слогах 10 ударений.“

Сама по себе мысль Чернышевского—возвести законы чередования метрических ударений к естественной языковой акцентровке и для этого заpastись статистическими данными из анализа немерной речи—была и смелой и, в конечном счете плодотворной. Подлинное осуществление она нашла только в стихологической литературе нашего времени, в работах Б. В. Томашевского и Г. Шенгелли. Новейшие стиховеды—через 60 с лишним лет после попытки Ч-го естественно могли обставить свою работу всеми необходимыми научными гарантиями. И, конечно, в свете научного стиховедения метод Ч-го никакой критики не выдерживает.

Ясно прежде всего, что сам по себе *средний* арифметический итог ничего не доказывает, раз не принято во внимание взаимоотношение между *различными* акцентными типами слов. Затем—прозаическая речь может, конечно, быть материалом для наблюдений над акцентровкой, но *нормой* для стиха быть не может; современный стиховед пользуется сравнительно-статистическим методом не для нормальных выводов, а для эмпирических наблюдений над особенностями той и другой формы. Можно также заметить, что 351 слог—материал, недостаточный для выводов; если воспользоваться значительно большим материалом, собранным в книге Г. Шенгелли ²⁾ (50.000 слов и 134.273 слога)—средняя цифра получится несколько иная—2,68, а не 3.

Но самая крупная ошибка Ч-го заключалась в том, что подсчет слогов и ударений он произвел только в одном из двух сравниваемых рядов—в прозаическом. Стихотворная речь, по его мнению, в таком просчете не нуждалась, так как в ней взаимоотношение слогов и ударений предопределено метром. На самом деле это, разумеется, не так. Если воспользовавшись статистическими данными Б. Томашевского (0/0 отношение слов разного акцентного типа в Евг. Онегине ³⁾) вычислить

¹⁾ Напр. в случаях: „не знаете-ли кого-нибудь из ваших товарищей“, или „в приеме его видна была беспечность“. „Он“ и „я“ в имен. падежах у Ч. всегда атонированы.

²⁾ Георгий Шенгели. Трактат о русском стихе ч. I, изд. 2-е. Г. из. 1923, с. 20.

³⁾ Б. В. Томашевский. Ритмика 4-х стопного ямба по наблюдениям над стихом Евгения Онегина. (Пушкин и его совр. в 29—30. П. 1918) с. 155.

отношение числа слов к числу ударений у Пушкина (в Е. Онегине), то окажется, что оно равно 2,6 (на 45.000 слогов—17.300 ударений)—т. е. получается цифра, почти совпадающая с цифрой нормального отношения числа слогов к числу ударений в прозе (2,68). Об'яснение заключается в той же таблице Томашевского, из которой видно, что около 15⁰/₀ в Е. Онегине составляют слова длиннее трехсложных, и свыше 36⁰/₀—слова трехсложные, при чем ⁰/₀ амфибрахических слов всего на 0,3⁰/₀ ниже ⁰/₀ слов ямбических (26,5 и 26,8).

Это возражение отчасти предвидел и сам Ч. и сделал оговорку, которая лишний раз показывает его внимательное отношение к вопросам стихосложения, но и лишний раз свидетельствует о трудности индивидуальных занятий стихотехникой в периоды коллективного понижения стихологических интересов. Согласно замечанию Ч-го, „если в ямбических и хореических стихах принято разрешение некоторые стопы оставлять без ударений, то это признавалось „вольностью“, которой, по мере возможности, старались избегать (?); следовательно, затруднительность размера не отстранялась этим. Кроме того, допускаясь без всяких определенных правил, эта вольность разрушает стройность стиха: в наших т. наз. четырехстопных ямбах, собственно читаемых с двумя ударениями (всегда? В. Г.) как двухстопные стихи (двухстопные пеонические), беспрестанно встречается необходимость считать и три ударения, а иногда и все четыре; этот беспорядок (!) не оскорбляет нас только потому, что слишком привычен нам“.

Замечание, что пропуски ударений считались „вольностью“, что их „старались избегать“ характеризует не пушкинское время, а время Чернышевского—время обеднения ямбического ритма, когда неизбежные в ямбе безударные стопы в сознании среднего читателя, действительно, могли казаться „вольностью“. Ритмически обедненный ямб отучал читательское ухо ценить самый принцип ритмического разнообразия в пределах одного метра. Ч-го, как видим, это разнообразие даже раздражает; свои реформационные надежды он связывает с обновлением не ритма, а самого метра.

Вторая оговорка, которую делает Ч.—о гекзаметре („из наших слов не следует, чтобы гекзаметр был сродни русской версификации“) интересна тем, что резюмировала мысль, которая вскоре и по другому поводу была Ч-м распространена. В № *Современника* была помещена рецензия Ч-го на сборник П. Леонтьева „Пропилеи“ ¹⁾, где Ч.—как видно, решительно заинтересованный в этот год вопросами стихосложения—ставит вопрос, следует ли переводить Гомера на русский язык гекзаметром.

¹⁾ Соч. Чернышевского, т. 1, с. 365 и сл.

Исходя из верной по существу мысли, что русский гекзаметр не равен и не может быть равен гекзаметру греческому, основанному на иной версификационной системе, Ч. отказывается называть гекзаметр Жуковского—гекзаметром. Это—чистый дактиль с редкими хорееми, которые чем реже, тем менее уместны („довольно частые для того, чтобы раздражать ухо неправильным нарушением дактилического размера, но слишком редкие для того, чтоб ухо привыкло к этому нарушению и ожидало его, как чего-нибудь правильного“). Поэтому Ч. советует переводить Гомера каким угодно размером—„из тех, музыкальность которых понимает русское ухо: ямбом, хореем, дактилем (?), амфибрахией, анапестом; если угодно, правильным смещением ямба с анапестом или хореем с амфибрахией...“¹⁾.

Это борьба с гекзаметром, воскрешающая полемику 1815 г. Капниста с Уваровым, на первый взгляд кажется мало убедительной. Истинный смысл ее вскрывается в том месте статьи, где Ч. восстает против *enjambement* в гекзаметре с точки зрения требований *мелодики*: „Беспрестанное перенесение фразы из одного стиха в другой, совершенно противное духу нашего стихотворения, окончательно убивает всякую возможность читать гекзаметр, как размер, понятный русскому уху.

Мы не знаем как пели рапсоды свои гекзаметры: но ни один русский *не скажет, чтобы возможно было петь*²⁾ следующее:

Но когда наконец обращеньем времен *приведен был*
Год, в который ему возвратиться назначили боги
В дом свой, в Итаку (но где и в объятиях верных
 друзей он

Все не избег от тревог) преисполнились жалостью боги
Все. Посидон лишь единый упорствовал гнать Одиссея...

А стихи, которых невозможно пропеть, едва ли заслуживают имени стихов“...

В связи с выдвиганием в диссертации Ч. *вокальной музыки* на первое место, в связи с выбором именно песенных цитат в романе, в связи с подобным заявлением Добролюбова (см. выше)—эти строки, думается, проливают новый свет на основные черты литературного сознания пятидесятников. В связи с этим и в анализе мелодики Некрасова главное ударение должно быть сделано на его *песенных* тенденциях.³⁾

¹⁾ Там-же, стр. 374. Черн. не заметил, что „правильное смещение хореем с амфибрахией“—тот же самый дактилохорей, только более однообразный (что впрочем было для Ч. достоинством).

²⁾ Курсив везде мой, кроме стихотворной цитаты, где курсив подлинника.

³⁾ Это отчасти сделано Б. М. Эйхенбаумом в его интересной статье о Некрасове (Сквозь литературу 1925). Исчерпывающе объяснения мелодики Некрасова не дано ни в этой статье, ни в специальном труде того же автора по мелодике. Надо думать, что такое объяснение и невозможно, без привлечения к делу современной Некрасову эстетики и литературной критики.

Что же касается, в частности, отношения Ч-го к enjambement, то признание его „противным духу нашего стихотворения“ не соответствует литературным фактам. Enjambement'a не чуждался ни Пушкин (в поэмах), ни Лермонтов (в 5 стопных „размышлениях“), ни даже—в некоторых случаях—Некрасов (в Филантроке, Саше и др.). Заявление Ч-го и здесь характеризует прежде всего его самого и те литературные тенденции, выразителем которых он был.

Важно также и то, что выражая недовольство нерешительностью дактилохореических сочетаний у Жуковского, Ч. не затрудняется рекомендовать принцип *комбинации* метров (хотя примерные комбинации. предлагает, как мы видели, неудачно). Это лишний раз указывает на стремление Ч. обновить классическую версификацию, в которой до того времени (и даже до времени значительно позднейшего) индивидуальные и групповые тяготения к созданию разностопного метра ¹⁾ канонизованы не были. Стремление Ч-го к метрическому „порядку“, сказавшееся в его суждениях о ямбе и о гекзаметре, нисколько этой реформационной тенденции не противоречит. Конечной (хотя бы и смутной) целью его было, как видно, обращение к новым версификационным *принципам*, а не простое узаконение розничных „вольностей“. Но педантичен он тоже не был, и допускал спорадические „вольности“, если только их можно было мотивировать. Это видно из интересной позднейшей заметки Ч. по поводу собрания стихотворений Некрасова: ²⁾

„Вообще, по поводу „Примечаний“, должно пожалеть о претензии составителя их поправлять стихи Некрасова, кажущиеся ему неправильными. Напрасно он испортил текст своими поправками; обыкновенный повод к поправкам дает ему „неправильность размера“; а на самом деле, размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что *Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трехсложными стопами*; когда это делается так, как делает Некрасов, то *не составляет неправильности*. Приведу один пример. В „Песни странника“ (в „Коробейниках“) Некрасов написал:

Уж я в третью: мужик! Что ты бабу бьешь?

В „посмертном издании“ стих поправлен:

... Что ты бабу-то бьешь?

¹⁾ Они обнаруживаются еще в 18 в., особенно в лирике Сумарокова, необычайное метрическое разнообразие которой, к сожалению, до сих пор ускользало от внимания исследователей. Об опытах первой трети 19 века и их теоретическом обосновании см. в книге Б. М. Эйхенбаума „Лермонтов“—с. 35—39.

²⁾ Впервые опубликована Пыпиным в его книге „Некрасов“, затем вошла в сочинения Чернышевского т. X 2 с. 236. Курсив мой.

„Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною; это дает особенную силу выражению. Поправка портит стих. Так и в других случаях“:

Как видим. „Нигилист“ и „разрушитель эстетике“ Чернышевский обнаруживает гораздо большую стихологическую чуткость, чем, например, такой представитель „чистого“ искусства, как Тургенев, который в интересах умеренности и аккуратности „Тютчева заставил застегнуться и Фету вычистил штаны“ (его слова), т. е. изуродовал, на правах редактора их выбивавшиеся из шаблона, ритмически и семантически смелые стихи.

В приведенной заметке Ч-го о Некрасове можно видеть намек на точки соприкосновения между теоретической позицией Ч-го и практикой Некрасова.

Он подвергается тем историческим экскурсам, которым Ч. заключает свое рассуждение о размерах:

У Жуковского было гораздо более разнообразия в размерах, нежели у Пушкина; амфибрахий встречается у него гораздо чаще; попадает и дактиль (не говорим о гекзаметрах, которые, как бы ни были прекрасны, все-таки дурны), и анапест; Пушкин возвратился к исключительному господству ямба. А между тем, кажется, что трехсложные стопы... и гораздо благозвучнее и допускают большее разнообразие размеров (?), и, наконец, гораздо естественнее в русском языке, нежели ямбы и хорей... Не можем не заметить, что у одного из современных русских поэтов—конечно, вовсе не преднамеренно—трехсложные стопы, очевидно, пользуются предпочтительною любовью перед ямбом и хореем“.

Историческая перспектива, намеченная Ч-м в общем верна; но если некоторые явления в прошлом опущены им, очевидно, по их малой заметности, то лишь полемическими соображениями можно об'яснить неупоминание имени Фета. Аноним последней фразы—конечно, Некрасов, действительно воскрешавший трехдольные размеры¹⁾—впрочем, без особых для широких путей поэзии последствий, так как никакие индивидуальные усилия не властны были удержать русский стих от предстоящей ему летаргии; когда же с начала 80-х г. началась новая стиховая эпидемия,²⁾ расхожим размером ос-

¹⁾ Наблюдение Ч-го подтверждается статистикой некрасовских размеров. Из 3.304 строк стих-ний, датированных в собр. стих-ний под ред. Чуковского временем с 1845 по 1855 г. (включит.) относительно большая часть—43,25% падает на трехдольные размеры (в совокупности). Второе место принадлежит ямбу—43,04% и третье хорюю—13,71%. Надо заметить, что в итог вошла и неопубликованная в свое время поэма „Белинский“ (192 строки 4 ст. ямба), а также, что в общей %-ной цифре я об'единяю как традиционные ямбические строки, так и сравнительно свежие размеры „Пьяницы“, „Прекрасной партии“ и т. п.

²⁾ См. Михайловской т. VI. Лит. дневник 1887 г.

тался тот же—только многостопный—ямб и кажется, только 4-х стопный анапест пытается с ним соперничать. Позднейшие трехдольники символистов примыкали не к Некрасовской, а к фетовской традиции.

В той же статье о Пушкине Ч. затронул и другую, не менее значительную, стихологическую тему—о рифме. Это замечательное место я приведу с самыми незначительными пропусками:

„Обычаи нашего стихосложения также очень стеснительны для русских рифм. Было бы слишком долго доказывать здесь исчислениями и сличениями, что в немецком, французском и английском языке, находится гораздо больше, нежели в русском, число рифмующих слов для каждого слова... ¹⁾ Вообще самое беглое сравнение убеждает, что в немецком (не говоря уже о французском и английском) слова рифмуют по принятым ныне правилам в гораздо большем количестве, ²⁾ нежели у нас, потому рифмы могут быть менее стеснительны для поэта и для достоинства стихов“.

„Поэтому нам кажется, что *и рифма* в русском языке должна существовать с некоторыми *особенными условиями*, вытекающими из сущности языка. Один шаг к этому сделан уже *поэтом, о котором говорили мы выше* и который также любит *дактилическую* рифму—это, по крайней мере, разнообразит рифмы. Но младость-радость, ночи-очи и т. д., кажется, нуждаются в большей свободе, чтобы разорвать свой несносный союз. Русская рифма, нам кажется, могла б довольствоваться *не одинакостью, а подобностью* звуков, как это бывает иногда у Кольцова. Конечно, это созвучие должно быть сильно, резко, чтобы быть заметным“.³⁾

Замечательна здесь одновременная защита двух возможностей обновления стихового канона: 1) дактилическая рифма и 2) неточная рифма. На Некрасова ссылается Ч. только, как на любителя *дактилической* рифмы; для рифмы неточной ему понадобилось обращение к прошлому—к Кольцову—хотя и здесь он мог бы отчасти опереться на того же Некрасова.⁴⁾

¹⁾ Следует пример легкости подбора рифм на слово „Ванд“ по алфавиту (fand. Hand. kannt и т. д.)

²⁾ В выноске Ч. касается причин богатства немецкой рифмы. Главные—1) однообразие в расположении ударений, 2) близость ударений к концу, 3) самая краткость слов.

³⁾ Все это место напечатано в собр. сочинений Ч-го особенно неисправно, Я исправляю бесспорные опечатки по тексту Современника.

⁴⁾ Из 56 известных за время 45—54 г.г. стих-ний Некрасова (разного размера) дактилическая рифма встречается в 8, при чем в большей части проходит через все стихотворение в чередовании с мужской. Из того же числа неточная рифма (имею в виду только несовпадения заударных согласных) встречается (спорадически в 13 стихотворениях, всего 23 раза, из которых 9 пар мужских, 5—женских и 9—дактилических. Следует отметить стих. Влас—единственное, где встречаются 3 неточных пары (все дактилические) при чем одна—в первой же рифмующейся паре строк (воротом-городом).

Еще с большим основанием, мог бы он опереться на Никитина, пользовавшегося уже в это время неточной рифмой с исключительной настойчивостью; ¹⁾ удержали Ч-го очевидно, и здесь полемические соображения литературно-общественного характера.

Трудно сказать, что имел в виду Ч. в словах „созвучие это должно быть сильным, резким, чтобы быть заметным“. Может быть, он предвидел будущий путь неточной рифмы, ориентирующийся на совпадение предударных согласных. Во всяком случае некрасовская рифмовка была компромиссной и в смелости уступала рифмовке Никитина, представлявшей разнообразнейшие случаи „подобности звуков“. Из 23 случаев неточной рифмы, отмеченных мною у Некрасова (до 55 г.) все, кроме одного (мерещится-мечется) представляют собою рифмовку заударного глухого с соответствующим ему звонким.²⁾ Интересно, что значительная часть неточных рифм падает на рифмы дактилические—что отчасти объясняется их сравнительной редкостью, а вместе с тем и меньшей стертостью в поэтическом обиходе. Для ожидаемого Ч-м обновления версификации такой факт, как *неточная дактилическая* рифма мог быть особенно плодотворен.

Теоретическая защита неточной рифмы под пером Ч-го—факт очень значительный. Известное письмо Ал. Толстого, датированное 1859 годом, отстаивало только свободу безударных гласных; рифмы же типа „грузно-дружно“—Ал. Толстой осуждал. И вот оказывается, что еще за 4 года до этого письма выдвигается—при том не в интимной переписке, а на страницах распространенного журнала еще более смелое требование „не одинакости, а надобности звуков“, при чем, как видно из ссылки на Кольцова, не исключаются и согласные. Это заставляет и к *практике* неточного рифмования в 50—60 г.г. (у Некрасова и Никитина) отнести не как к „поэтической вольности“ или небрежности, а как к закономерному в эволюции стиха факту, нашедшему соответствие и в литературном сознании современников.

Свое „отступление“ Ч. заключает защитой самого *принципа рифмы*. Защита в устах „разрушителя эстетики“ даже неожиданная если вспомнить, что борьба с рифмой не прекращалась в течении всей первой трети 19 века и, стало быть, задолго до самого возникновения проблемы „разрушения

¹⁾ Из 76 рифмованных стихотворений, написанных за время 1849—54 г.—93 случая, (у Некрасова за то же время—13 случаев). На рифмику Никитина впервые обратил внимание С. М. Городецкий (доклад его в Об-ве ревнителей худ. слова в 1912 г. „об ассоциациях у Никитина“). См. тоже книгу В. М. Жирмунского „Рифма, ее история и теория“—с. 194 и сл.

²⁾ В 10 случаях это соответствие д-т (типа „ходит колотит“), в 4 случаях—б-п (типа „судьбы-толпы“, в 3 случаях э-с (типа „картузы-усы“), в 3 случаях ж-ц (типа „ничтожную-роскошную“) и наконец в двух случаях г-к (смуглой-куклой, мыкаю-книгою).

эстетики“ и борьбы со стихом“. Еще Карамзин утверждал, что „русский язык не сотворен для поэзии, а особливо с рифмами“, обещая „начав писать белыми стихами, всех заставить подражать себе“²⁾ и Востоков называл рифму „побочной прикраской“ и советовал употреблять ее „не так часто и не во всяком роде поэзии“. Если во 2-м десятилетии века Бобров и Пав. Львов в своей „безрифменной“ позиции успеха не имели³⁾ а сам Карамзин еще раньше обратился к стихам рифмованным, то в начале 20-х г.г. Кюхельбеккер в „Аргивьянах“⁴⁾ и Жуковский в „Орлеанской дева“ усваивают „пятистопные без рифм“—драме, за ними последовал и Пушкин. Позднейшие возражения Пушкина против рифмы и предсказание, что „современем мы обратимся к белому стиху“ общеизвестны. Если в пору расцвета стиха раздавались такие—и достаточно громкие—голоса, то в годы натурализма и преобладания прозы естественно было бы ожидать со стороны натуралистов, даже и мирящихся со стихом, возражений против стихов рифмованных. Отчасти такие возражения и раздавались: известно, например, остроумие Салтыкова: „это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая“. Чернышевский не был, однако, в числе разрушителей рифмы; интересна и его мотивировка:

„Но в том, что рифма должна остаться необходимою принадлежностью русского языка, невозможно сомневаться; *вся история русского народного стихосложения показывает его стремление приучить себя к рифме*“. Думаю, что современная наука не откажется подписаться под последним положением Ч-го. Сам Ч. имеет в виду прежде всего соприкосновение устной поэзии с книжной („стихосложение нашей народной поэзии само покидает свои прежние правила, учится новым, принятым нашею литературою со времени Ломоносова и тем само изобличает свою слабость сравнительно с новою версификацией“) — факт всецело подтверждаемый новейшими записями. Но „стремление приучить себя к рифме“ сказывается не только в этом, а и в тех следах „эмбриональной“ былинной рифмы, для изучения которой ценный материал и комментарий дает названная выше работа В. М. Жирмунского.⁴⁾

1) Восп. Каменева в альм. „Вчера и сегодня“ 1845 г.; цитирую по Белинскому IX, 346.

2) Ср. в „Послание к Галичу“ А. С. Пушкина (1815 г.)—„И трубку разжигают Безрифминным лихим“ (раньше—у Батюшкова).

3) „Орлеанская дева“—1821 г. отрывки из „Аргивьян“—в „Мнемозине“ 1824 г. Но Пушкин в заметках о Борисе Годунове писал: „у нас первый пример этому (стиху Б. Г.) находим мы, кажется, в Аргивьянах“. Вероятно, „Аргивьяне“ написаны раньше и в лит. кружках были известны.

4) Также и в цитированной рецензии на „Пропилей“ Ч. говорит: русские стихи без рифмы вялы, тяжелы, скучны, поэтому и необходимы в переводе Гомера рифмы. Соч. т. I, с. 374.

В заключение я хочу иллюстрировать стихологические взгляды Ч-го (в частности на рифму) собственными его стихотворными опытами. О существовании этих опытов известно давно, но внимания исследователей и они до сих пор не привлекали. Это прежде всего „Гимн деве неба“ (т. е. Артемиде)—экзотическая поэма в 444 строки, с исторической декорацией и сюжетом (действие—в Сицилии, во время войны с Газдрубалом). Написанная в ссылке в 1870 г., она появилась в печати только в 1885 г. (Русск. Мысль № 7) под псевдонимом „Андреев“; первоначально предполагался псевдоним „Дэнзиль Элиот“ и помещение поэмы в Вестнике Европы¹⁾; но Стасюлевич либо забраковал поэму, либо уклонился от сотрудничества Ч-го по другим причинам. Взглядов Ч. на метрику поэма не поясняет: она написана „испанским“ размером—4 стопным белым хореем с чередованием женских и мужских окончаний, т. е. тем размером, который был известен еще в 1790 г., с баллады Карамзина „Граф Гваринос“. Но для отношений Ч-го к рифме „Гимн“ кое что дает. Хорей его—белый, но при внимательном рассмотрении значительная доля стихов оказывается связанною разными типами созвучий. При этом случайной рифмовки, которая скорее всего свидетельствовала бы о технической небрежности—почти нет, на всем протяжении длинной поэмы всего 2 раза (холмами-рвами, поспешат—освободят). Зато встречаем разнообразные типы звуковых повторов, приближающихся к рифме и часто настолько сложных, что высказанные в 1855 г. теоретические соображения Ч-го невольно вспоминаются. Вот—важнейшие:

1) неточная рифма в тесном смысле слова, (ассонанс с относительным совпадением согласных): „раз‘ярренных—Кархедону“, „длилось—было“, также „площадь—ходят“, „полемарх—враг“.

2) ассонанс с совпадением опорных предударных согласных: полный—типа „вождь—его“, и неполный—типа „остановил—рвы“.

3) ассонанс в широком смысле слова—типа „храмом запад“.

4) консонанс в широком смысле слова—мужской типа „лук—враг“ и женский типа „нет вам—кротком“.

5) консонанс с анафорой—лик—лук, ваш—вождь (в обоих случаях также совпадения заударных).

6) консонанс со сложным согласным повтором: храма—время, полночи—Панѳрмы.

7) смысловой параллелизм или контраст: его—их, день—ночь.

1) „Чернышевский в Сибири“, вып. I („Огни“ 1912) с. 18.

Иногда попадаются очень сложные фонические узоры, распространяющиеся не только на крайние слова строки:

Светлы веют предков тени
На пурпурных облаках
И в об'ятя принимают
Тени павших в этот день

(инструментовка на е в первой и на а в 3-й строке; ассонированье 2-й строки с 3-й; женско-мужская рифмовка крайних строк при внутренней рифме последней строки— „тени—день“.

Кроме того, широко пользуется автор и повторением слов (иногда группы слов), как мелодико-фоническим эффектом:

Выходили в поле наши,
Выходил к ним Гамилькар,
Осторожно бились наши,
Бился слабо Гамилькар.

Рядом с внутренней рифмой и внутренним ассонансом пользуется он и *внутренним повторением*:

Воздевая к небу руки,
Возвышая к небу взгляд
С силой грома в звуках слова
Восклицает Эмпедокл.

В письме от 18 марта 1875 г. к жене Ч. приводит первые 4 строки из другой своей (и тоже экзотической по теме ¹⁾) поэмы:

Волоса и глаза твои черны, как ночь
И сияние солнца во взгляде твоём,
О царица сердец в царстве солнца святом,
В стране гор, стране роз, равнин полночи дочь!

Четыре строки—материал, для каких-нибудь выводов недостаточный. На основании их можно только сказать, что, не отступая на этот раз от традиционной рифмовки, Ч. прибегает к одному из тех трехсложных метров, которые за 20 лет до того пропагандировал в „Современнике“. Кстати—четвертая строка собственной поэмы должна была бы убедить Ч-го, что и трехдольный метр не всегда означает сочетание одного ударного слога с двумя безударными: здесь на 12 слогов приходится вместо нормальных четырех—целых семь ударений. У Некрасова Ч. мог бы найти примеры обратные: 4-х-стопные дактили с тремя ударениями.

¹⁾ „Леила“ в'езжает в столицу Персидского царства, Шираз. Ее встречает хор девушек, служительниц в храме Солнца, и поет... („Черн. в Сибири“ с. 149).

Приведенный материал, думается мне, говорит сам за себя. Он должен убедить еще не убежденных, что в отношениях своих к поэзии (и именно к ней), Чернышевский был не разрушителем эстетики, а лишь выразителем натуралистической поэтики 50 г.г., выразителем стремлений не к отмене, а к обновлению поэтических и в частности стиховых форм. Словом и здесь, как и во всей своей литературно-общественной деятельности, Чернышевский был идеологом не анархического разрушения, а революционного созидания.

Василий Гиппиус.

Роман „Что делать“.

(Его идеологический состав и общественное воздействие) ¹⁾.

I.

В конце июня 1862 года у возвращавшегося из Лондона и арестованного на границе мещанина Павла Ветошникова агентами русского правительства были найдены письма Герцена к Н. А. Серно-Соловьевичу. В одном из писем упоминалось имя Н. Г. Чернышевского: Герцен предлагал перенести печатание „Современника“ за границу. Это послужило достаточным поводом к аресту Н. Г. Чернышевского, давно уже вызывавшего беспокойство в кругах охранителей правительствующего государственного порядка.

В это время в обществе заметно нарастало революционное брожение. Правительство слышало и знало об организации новых революционных кружков, о выпущенных прокламациях, о лозунгах призывающих к борьбе. Оппозиционные, хотя и легальные, радикальные журналы „Современник“ и „Русское Слово“ обнаруживали все большую смелость и силу и уже стали наиболее влиятельными из всех органов печати. Н. Г. Чернышевский, давно уже популярный смелыми статьями по крестьянскому вопросу, обзорами западно-европейской политической жизни и общими очерками по вопросам социальной экономии, морали и философии, занял положение наиболее видного идейного руководителя нарастающего освободительного движения. Правительство уже почувствовало в нем своего врага, „Современник“, вместе с „Русским Словом“, был уже запрещен печатанием на 8 месяцев, за Чернышевским была уже организована постоянная слежка и через агентуру и через подкупы квартирной прислуги, но повода к открытому обвинению и аресту долго не находилось. И вот теперь неосторожное предложение Герцена уличало Чернышевского в каких-то сочувственных сношениях с гнездом революционных эмигрантов. Этого уже было достаточно, и 7-го июля 1862 года Н. Г. Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

¹⁾ В состав настоящей статьи входят: 1) публичная речь, произнесенная в заседании Саратовского Университета 29/x 1924 года и 2) доклад прочитанный в заседании Областного Нижневолжского Научного Общества Краеведения 9/xi 1924 г.

II.

И вот здесь, в одиночной камере Алексеевского равелина, Н. Г. Чернышевский, среди других многообразных и обильных литературных занятий, пишет роман „Что делать?“.

Роман был написан в течение четырех месяцев: начат 4 декабря 1862 года, окончен 4 апреля 1863 года.¹⁾ Первое время заключения Чернышевский был почти спокоен за свою судьбу. Он был уверен, что прямых улик к его обвинению правительство не имеет и после некоторой проволочки вынуждено будет дать ему свободу. Однако, сама обстановка заключения давала себя чувствовать. На время писания романа падает наибольшее возмущение и беспокойство Чернышевского из-за стеснений в свиданиях с женой. К началу 63 года Чернышевского начинает томить неожиданное для него промедление с продвижением его дела. Сохранилось несколько его писем и записок к администрации крепости или непосредственно к следственной комиссии, где Чернышевский настойчиво и неоднократно требует об'явить ему причины задержки. Ответа никакого не было. Чернышевский принял крайние меры, 28 января он начал голодовку протеста и продолжал ее в течение девяти дней.

Между тем литературная работа не останавливалась. 15-го января 1863 года управляющий III отделением А. А. Потапов передал в следственную комиссию начало романа „Что делать?“, 26-го января рукопись была послана оберполицеймейстеру для передачи А. Н. Пыпину. 12-го февраля Чернышевский посылает тем же порядком А. Н. Пыпину уже 35 убористо-написанных страниц продолжения „Что делать!“ и полулист заметок о необходимых поправках при корректуре.

Нервозность общего настроения Чернышевского, однако, не прекращается. 14-го февраля он опять пишет письмо с решительным требованием внимания к своим легальным просьбам и пожеланиям. Лишь 23-го февраля (через 7 с половиною месяцев после ареста) происходит первое свидание с женой. 27-го февраля отправляется письмо с требованием обещанного нового свидания. 4-го марта напоминание об обещанном вновь повторяется. В письме к коменданту крепости А. Ф. Сорокину от 7 марта Чернышевский угрожает новой голодовкой.

Между тем, следственная комиссия переживала большие затруднения по отысканию улик для обвинения важного узника.

¹⁾ Даты написания романа точно обозначены самим Н. Г. Чернышевским в черновой рукописи романа, хранящейся в Ленинградском Отделении Централхива.—Одновременно с романом „Что делать?“ Чернышевский продолжал перевод Истории XIX-го века Гервинуса, и 20 листов этого перевода были препровождены Комендантом крепости в „Современник“ 8 марта 1863 года.

Материалы, находившиеся в ее руках, не давали возможности построить обвинение. Не из чего было даже составить вопросов пунктов к допросу. Первый допрос был снят с Чернышевского 30-го октября 1862 года (четыре месяца спустя после ареста). В первых месяцах 1863 года комиссия прибегла к помощи провокатора Всеволода Костомарова. 16-го марта с Чернышевского был снят новый допрос о „воззвании к барским крестьянам“ (по клевете Вс. Костомарова) и предъявлена карандашная записка, будто бы оставленная когда-то Чернышевским у Костомарова.

Теперь Чернышевский мог видеть, сколь опасно его положение, но он все же имел спокойствие и силу непрерывно продолжать начатые литературные работы. 26 марта Потапов прислал в комиссию 4-ю главу „Что делать?“, 28-го марта следовало продолжение ее, 30-го окончание 4-й и начало 5-й, 6-го апреля получено было уже окончание всего романа.— Такова обстановка, в которой писался роман ¹⁾.

Есть предположение, что Н. Г. Чернышевский работал над „Что делать?“ еще в Саратове. Для этого служит основанием устное свидетельство сына Н. Г., Михаила Николаевича Чернышевского, записанное его дочерью Ниной Михайловной Чернышевской-Быстровой: „—Вот все говорят,—заметил Мих. Ник. в 1922 году, обращаясь к Екатерине Николаевне Пыпиной,—что Чернышевский изобразил в „Что делать?“ Боковых и Сеченова, а ведь первоначальные листы „Что делать?“ были найдены еще в 50-х годах в Саратове, тогда как Боковская история разыгралась гораздо позднее“. Екатерина Николаевна в свою очередь подтвердила показание М. Н., основываясь на словах Евгении Николаевны Пыпиной: „—После того как Николя (Н. Г. Ч-ий) уехал из Саратова, повенчавшись в 53-м году, Евгения Николаевна стала разбирать его комнату и нашла заметки будущего романа „Что делать?“. Когда в 63 году роман вышел в печати, она стала читать его и припомнила, что уже читала это в листочках.“ ²⁾ Иных подтверждений эти сведения пока не имеют. Никаких черновиков, кроме черновой рукописи романа, хранящейся теперь в Ленинградском отделении Центрархива, не сохранилось. А эта рукопись, как совершенно ясно свидетельствуют и ее даты, выставленные самим автором и почерк и бумага, могла быть написана вся целиком только в этот крепостной хронологический промежуток—4-го декабря 1862—4 апреля 1863 года. В. А. Пыпина, дочь Александра Николаевича Пыпина, указывает, что она ни от кого,

¹⁾ П. М. Лемке политические процессы в России 1860-х г.г. Издание II-е. Гос. изд. Подробно об этом см. 1923, стр. 161—317.

²⁾ Цитируется из рукописной работы Г. М. Чернышевской-Быстровой о Евг. Ник. Пыпиной, прочит. в заседании Нижневолжского Научного Общества Краеведения 8-го декабря 1924 года.

в том числе и от отца своего („который не мог бы об этом не знать“) никогда не слышала о возможности образования канвы романа в саратовский период жизни Чернышевского.

О том, что у Чернышевского до написания романа иногда бродили замыслы беллетристических произведений, имеются сведения между прочим и в письмах того же Ал. Ник. Пыпина. В ноябрьском письме (без точной даты) 1850 г. он писал Д. Л. Мордовцеву: „Недавно читал он (Н. Г. Ч-кий) отрывок из повести, рассказа, или как угодно назови это, конечно, не напечатанной; он говорил мне, что ее написал один из его приятелей, но я с большею вероятностью предполагаю, что писал он ее сам; все в ней—его и, между прочим, там был один характер, совершенно снятый с него—характер не из обыкновенных, пошлых характеров“¹⁾. В дневнике Н. Г. Чернышевского 1848—1850 г.г. имеются следы литературных беллетристических замыслов. В одном из них Чернышевский имел в виду изобразить Василия Петровича Лободовского, во втором образ Лободовского сливается с чертами самого Чернышевского. И в том и другом темою является мысль о том, „как трудно всякому человеку следовать своим убеждениям в жизни, как тут овладевает им и сомнение в этих убеждениях, и нерешительность и непоследовательность“... Третий замысел ставит в центр женский образ, здесь Чернышевского занимает мысль „как вообще тяжела участь женщины“²⁾.

Кроме этого, имеется указание и самого Ник. Гавр. Чернышевского об имевшихся у него до написания романа беллетристических черновиках. В прошении, написанном Н. Г. Чернышевским 25-го сентября 1863 года и представленном в Сенат, где в то время рассматривались его дело, имеются строки в черновых материалах „для будущих романов“. Но здесь совершенно ясно, какие именно „тетради“ имеются в виду. Речь идет о дневнике Чернышевского, где была записана история его сближения с Ольгой Сократовной.

Там имеются слова, которые послужили уликой к обвинению Чернышевского в „преступных“ убеждениях и замыслах. Однажды Н. Г. сказал Ольге Сократовне: „Хорошо, я не могу жениться уж по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест,

¹⁾ Б. Б. Глинский „Ал. Ник. Пыпин“. Историч. Вестник, 1905, I, с. 282.

²⁾ Об отношении этих замыслов к личным переживаниям Чернышевского за это время (дружба с Вас. Петр. Лободовским, нежное чувство к его жене Надежде Егоровне) см. ст. Е. Ляцкого „Юношеская Любовь Н. Г. Чернышевского“. „Познание России“ 1909, № 1.

и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите я не могу жениться.¹⁾ Чтобы отклонить от себя прямое признание в давних противоправительственных стремлениях и настроениях, Чернышевский в прошении в Сенат выдает „Дневник“ за подготовительный беллетристический материал, где не все, сказанное от первого лица могло принадлежать автору, но являлось бы лишь словами вымышленных действующих лиц. Именно в таком смысле Чернышевский раз'ясняет ту сцену, которая непосредственно была привлечена к его делу. „Сцена, пишет Чернышевский, состоит в том, что какое-то „я“ говорит девушке, что может со дня на день ждать ареста, и если его будут долго держать, то выскажет свои мнения, после чего уже не будет освобожден“.²⁾ Таким образом здесь речь идет исключительно о „Дневнике“, который, как таковой, Чернышевскому нельзя было признать. В действительности беллетристических черновиков могло и не быть.

Во всяком случае все эти отдаленные упоминания о беллетристических замыслах Чернышевского, очевидно, никакого отношения к роману „Что делать?“ не имеют и свидетельствовать о каком-то раннем периоде работы Чернышевского над этим романом не могут.

Роман напечатан в „Современнике“ №№ 3—5, 1863 года.

Казалось удивительным, как роман, полный выпадов против традиционных устоев, жизни, написанный лицом, политически явно неблагонадежным, предназначавшийся к печатанию в журнале „Современник“, перед тем только что начавшем выходить после 8-ми месячной приостановки за вредное направление,—благополучно избежал задержки со стороны цензуры.

В об'яснение этого было много толков. Цензор О. Ав. Пржецлавский, наблюдавший за „Современником“, рассмотрев первую часть романа, находил, что „содержание его вообще не предосудительно“, напротив писал он, уже то, что нигилизм сознает потребность очиститься от взводимой на него характеристики чистого цинизма, можно признать симптомом утешительным“. Несколько далее, установив в массе читателей „отсутствие способности соображать частности“, он признавал, что роман, при своих резких манере и тоне изложения, „может иметь небезвредное влияние на молодое поколение“. О второй и третьей части романа он высказывается уже с резким порицанием. „Роман“ пишет он, является „апологией образа мыслей и действий той категории современного молодого поколения, ко-

¹⁾ „Дневник моих отношений с тою, которая теперь представляется моею женою“. Тетрадь 2^я. Собр. Сочин. Н. Г. Ч-го, т. X, ч. 2, с. 22.

²⁾ М. Лемке, *Op. cit.*, с. 456.

торуую разумеют под названием „нигилистов и материалистов“, и которые сами себя называют новыми людьми“. „Роман проповедует чистый разврат, коммунизм женщин и мужчин“. „Едва ли нужно прибавлять,—заключает он,—что такое извращение идеи супружества разрушает и идею семьи, основы государственности, что то и другое прямо противно кореным началам религии, нравственности и порядка, и что сочинение, проповедующее такие принципы и воззрения, в высшей степени вредно и опасно“¹⁾.

То обстоятельство, что роман не был задержан цензурой О. А. Пржецлавский впоследствии объяснял недоразумением; „так как они (рукописи Ч-го) цензурованы были только в политическом отношении, то Голицын, не найдя в них ничего политического, пропустил их. Цензор же, рассматривавший „Современник“, после пропуска рукописи князем, не смел уже останавливать печатания ее. Таким образом проскользнуло в русскую литературу это произведение“.²⁾ Пржецлавский, рассказывая об этом деле, допустил ошибку, указав, что роман начал печататься до вступления Чернышевского в крепость. Эту ошибку Пржецлавского отметил Рейнгардт, и в своем рассказе о том же, в объяснение пропуска романа, представил свою версию, объясняя все показным и ложным либерализмом министра внутр. дел Валуева.³⁾ Очень близко к версии Пржецлавского находятся разъяснения М. Лемке. По мере поступления в комиссию „роман читал кто-нибудь из членов комиссии, не находил в нем ничего касающегося дела, и его отправляли к А. Н. Пышину через оберполицеймейстера, каждый раз напоминая, что печатание должно происходить на общем основании, с разрешения цензуры. Цензор „Современника“, видя на рукописи печать и шнуры комиссии, проникался соответствующим трепетом и пропускал, не читая“.⁴⁾

За отсутствием белой рукописи романа, по какой происходило его печатание, и по какой он читался в комиссии и в цензуре, нет возможности вполне точно установить наличность или отсутствие вмешательства цензуры в авторский текст. Сличение печатного текста с черновой рукописью Центрархива обнаруживает различия и касающиеся почти исключительно стилистической и иногда композиционной

¹⁾ Цитируется по тексту, напечатанному в ст. В. Е. Рудакова „Последние дни, цензуры в министерстве народного просвещения“. Историческ. Вестник, 1911, сентябрь с. 982—983.

²⁾ Русская Старина, 1875, IX, с. 154.

³⁾ Н. В. Рейнгардт „О Н. Г. Чернышевском“. Современное Слово, 1911 г., 19 сент., № 1331.

⁴⁾ М. Лемке. Опр. cit., с. 317.

обработки отдельных и довольно редких мест романа.¹⁾ Во всяком случае, если цензура делала поправки, то мало-существенные.²⁾

III.

Вся сумма философии романа, весь смысл его фигур обнимает некую энциклопедию общепсихологических, этических и социальных принципов, указывающих определенные правила жизни. Главное из них „рассудительность“, умение разобраться в видимых противоречиях жизни и понять „разумную выгоду“, т. е. то, что действительно человеку нужно и что может устроить его счастье. Всякий человек стремится к тому, что ему „выгодно“, но не всякий умеет понять, в чем заключается эта подлинная выгода. Только от недостатка рассудительности человек бродит безотчетно в темноте, обольщаясь ложными представлениями и целями. Нерассудительный непросвещенный человек так и запутается в этой лжи и ошибках, рассудительный поймет и поправит. Нужно уметь подавить в себе влечения, которые шли бы в разрез с здравомыслием, клонились бы ко вреду и отодвигали бы подлинные ценности жизни. Нужно уметь своею настойчивостью завоевать счастье, нужно также уметь и отказаться от того, что в конечном счете, по справедливому разумению здравого смысла, оказывается менее выгодным или тягостным и обременительным.

Тот элемент гуманности, или как Чернышевский называет— „благородства“, умения поступиться собою ради счастья другой дорогой личности, в первопричине своей сводится к той же „рассудительности“, которая сама по себе, волею непосредствен-

¹⁾ Иногда черновой текст по сравнению с печатным является более распространенным или, наоборот, сжатым, но всегда выражает ту же мысль. Иногда не совпадает последовательность в расположении событий. Больше всего это касается начального эпизода романа, выдернутого из середины. В черновой рукописи, кроме сцен на мосту и в квартире Кирсановых, этот эпизод захватывает момент получения Верой Павловной второго письма от Лопухова, откуда становится известным что он остался жив (ср. в печ. тексте визит Рахметова к Вере Павловне с письмом Лопухова, гл. 3, XXX).

Лицо, которое явилось посредником между Верой Павловной и Лопуховым, в рукописи не Рахметов, как это в печатном тексте, а Владимир Петрович Копанцев, человек уже переживший свою молодость, но по воззрениям и всему складу, „рассудительный“ и „порядочный“. По пути к Вере Павловне Копанцев много рассуждает о „славных людях“, которые в его время были так редки, а теперь „растут как грибы“, о женщинах, раньше недостойных любви (нельзя было встретить „порядочной девушки, которая бы стоила быть женою порядочного человека“), а теперь поднявшихся до разумного образа мыслей и пр. Имеются и иные более мелкие выпавшие места, но все они несколько не меняют, не усиливают и не смягчают суммы идейного содержания романа.

²⁾ О том же свидетельствует и И. Борисов, состоявший тогда помощником смотрителя Алексеевского рavelина и имевший возможность читать роман в рукописи.—Я читал его (роман) в рукописи и, пишет он, могу удостоверять, что цензура III отделения в очень явном и искривила его (очевидно имеется в виду цензура следственной комиссии. А. С.). *И. Борисов* „Алексеевский рavelин в 1862—65 г.г.“ „Русская Старина“, 1901, XII, с. 576.

ной убедительности благоразумного расчета, должна сделать каждого человека добрым, „порядочным“, „благородным“. Вся тоска, вся боль о недостатках и тяжести реальной жизни в романе сосредоточивается на указаниях на тьму, невежество, недостаток подлинного разумного знания. Вся обида за социальное неравенство, за обездоленность бедных, обострена сознанием той интеллектуальной и нравственной обездоленности, на которую возмутительно несправедливо обречены материально необеспеченные классы. Все грязное, нравственно-нечистоплотное, лживое, тупо претенциозное, грубо хищное должно исчезнуть при свете сознательности и подлинного понимания действительных разумных выгод. Тяжесть рабской зависимости, опутывающей человека во всем обиходе его быта: и в семье, и в труде, и в общественном строе—должна рассыпаться и замениться радостным свободным непринужденным общением, потому что только в свободном рассудительном самоопределении и заключается общая для всех „выгода“. И родители и дети, и муж и жена и соперник—все откажутся от бессмысленных взаимных претензий, потому что и для любящего и для любимого здравая рассудительность одинаково подскажет подлинную „выгоду“ взаимной уступчивости, невмешательства и свободы.

Все, что вошло в обиход жизни по традиции, слепой доверчивости к установленной рутине и уже заостенело, примелькалось в механической ежедневности, все это роман призывает положить на весы рассудка, поджечь огнем здравого смысла, стряхнуть все омертвевшее и ненужное и выйти на свободную разумную дорогу к счастью. Свобода в семейных отношениях, радость труда, сила научного знания, социальное устройство на основе общего дружеского соучастия в труде и отдыхе,—одним словом, весь положительный призывный идеал романа ищет своего оправдания в покоряющей обаятельности простой непредубежденной логики мысли и „выгоды“.

Роман несомненно имел учительные этические цели. Так же несомненно, что его проповедь направлена к критике привычных форм жизни и замене их новыми. Роман одновременно и утопичен и реалистичен. Он дает некое „изображение“ жизни. Его смысловая идейная установка направлена явно к освещению своей общественной современности. В возвещениях должного и грядущего имеются в виду реальные практические стороны жизни, стоящие перед человеком во вседневном бытовом и социальном обиходе.

Роман построен на противопоставлении двух идеологических и в то же время бытовых категорий „старого“ и „нового“. Это разделение образов, картин и идей на „старые“ и „новые“ само по себе указывает на некоторую историческую данность,

в которой происходил переломный сдвиг. Бытовая и общественная среда и обстановка, в атмосфере которой происходит действие романа, указывают, какая именно действительность здесь имела в виду. Жизнь старого мещанства, нравы буржуазной среды, новый тип интеллигента, только что начинавшего появляться в учебных заведениях и ученом кругу, развитие стремлений к естественно-научным знаниям, рост новых социальных идеалов,—все это стояло перед сознанием автора не только как удобное средство к размещению и выражению своих теоретических, психологических и социальных формул, но и как объект действительности, обязывающей автора к воспроизведению именно этих, а не иных сторон конкретной живой исторической жизни.

Старое олицетворено в фигурах Марьи Алексевны Розальской, ее мужа, Михаила Ивановича Сторешникова и его матери, Соловцова (Жана), Полозова—отца и отчасти Сержа и Жюли. Кроме того, автором, в качестве сторонника старых устоев и традиций, выдвигается в отдельных случаях, по мере надобности, особое подставное резонирующее лицо—„Проницательный читатель“.

Мария Алексевна дана в романе, как родительница и воспитательница своей дочери, главной героини романа. Во всем ее поведении автором выдвигается тема грубой алчности, бесчестности и насилия. Соответственно этому развертываются все моменты ее участия в романе. Мария Алексевна имеет капиталец, нажитый ростовщицеством и другими темными услугами. Дочь для нее имеет интерес лишь как предмет денежной выгоды. До 16 лет она на нее не обращает почти никакого внимания, при случае награждает подзатыльниками, эксплуатирует в домашних услугах и лишь для наиболее верного и легкого обеспечения в будущем дает девочке кое-какое образование (пансион, фортепьянный учитель, всегда пьяный и потому дешевый и пр.), с 16-ти лет все материнские заботы о дочери направляются к наиболее выгодной выдаче замуж, и в этом случае все поведение Марии Алексевны рисуется, как особая стратегия хитрого и корыстного заманивания и улавливания (внимание начальника отделения, история с Сторешниковым). Мария Алексевна готова на все средства, которые помогли бы залучить для дочери богатого мужа, и если ей это не удастся, то лишь по особому характеру и своевольному упорству дочери. Побои, запугивания и всякие другие проявления „родительской власти“ оказались бессильными только благодаря исключительному бесстрашию, рассудительности и решимости Веры Павловны и отчасти ее „спасителя“ Лопухова.

В романе есть эпизод, где Марья Алексевна обнаруживает полное сознание предосудительности своего образа жизни. Она знает, что она „несчастливая“ и „злая“, но, по ее рассуждению, ей „нельзя не быть злой“, к этому вынуждала ее вся обстановка жизни, общая атмосфера лжи, обмана и насилия, вынужденная необходимость прибегать к бесчестным средствам в погоне за материальным достатком. Она знает, что жизнь должна быть построена иначе, знает, какие „в книгах новые порядки расписаны“, но считает, что до этих „хороших порядков“ „с таким глупым народом“ едва ли когда придется дожить и потому решила и за себя и за Верочку жить по старым порядкам лжи и обмана („когда нового-то порядку нет, по старому и живи: обирай да обманывай“).

Этим эпизодом признаний и самораз'яснений Марьи Алексевны вводится в роман тема о зависимости внутреннего облика и поведения человека от условий его жизни, от влияния господствующих понятий окружающей среды и материально-бытовой обстановки. Впоследствии, в другом месте романа, автор этой теме в применении к Марье Алексевне дает собственное авторское непосредственное раз'яснение (см. главу „Похвальное слово Марье Алексевне“): „Ваши средства были дурны, но ваша обстановка не давала вам других средств, ваши средства принадлежат вашей обстановке, а не вашей личности, за них бесчестье не вам,—но честь вашему уму и силе вашего характера“. Здесь же, в общем облике Марьи Алексевны, автор подчеркивает наличность в ней здорового ума, который позволяет ей правильно понимать свою пользу и выгоду: „Вы не хотите зла для зла в убыток себе самой... Из тех, кто не хорош, вы еще лучше других, именно потому, что вы не безразсудны и не тупоумны“ и пр...

Другие персонажи представители „старого“, дают вариации тех же мотивов нравственной неразборчивости, невнимания к чужой индивидуальности, непонимания подлинных действительных „разумных“ основ внутренней жизни, недостаточной „разсудительности“ и, поэтому, слепой — пой! зависимости от ложных, нелепых предрассудков, привитых традицией и окружающими влияниями жизни.

В первых же главах романа представлен круг светских молодых людей: Михаил Иванович Сторешников, Серж, Жан и др. Сторешников, это—молодой хозяин дома, управляющим которого состоит отец Верочки. Его жизнь автором освещается, как показатель нравственно-разлагающейся праздности и совершенной „нерассудительности“. В мотивах нравственной низости и умственной инертности („тупоумия“) развернут эпизод его домогательств к Верочке: „Сторешников слышал и видел, что богатые молодые люди приобретают себе хоро-

шеньких небогатых девушек в любовницы,—ну, он и добивался сделать Верочку своею любовницею: другого слова не приходило ему в голову, услышал он другое слово: „можно жениться“,—ну и стал думать на тему „жена“, как прежде думал на тему „любовница“ и пр.

Рядом со Сторешниковым, почти сливаясь с ним, поставлен образ Сержа, богатого барича, любовника француженки Жюли. Серж также сыт и обеспечен. По капризу или по душевной вялости и инерции он случайно привязался к Жюли и безвольно отдается ее капризам и прихотям. Хорошие нравственные задатки сказываются в нем как мутные и бледные позывы, но не находят себе никакого выражения в поведении.

Третий силуэт светского человека—Жан, выступающий в начале романа, как ресторанный собутыльник Сержа и Сторешникова, а в конце, как жених Кати Полозовой. Он представлен, как уже совершенно определившийся фат, хищник и домогатель (см. главу о Кате Полозовой: „порядочной девушке лучше умереть, чем сделаться женою такого человека“ и проч.).

Об'единяясь с Марьей Алексеевной в мотивах невнимания к чужой личности, склонности к корыстной лжи, притворству и обману, вся эта среда богачей все же резко отграничивается от нее отсутствием тех „здоровых“ элементов, на которые автор настойчиво указывает в Марье Алексеевне. Выяснению различия между этими двумя категориями отживающих и мертвящих людей посвящен „Второй сон Веры Павловны“, где раз'ясняется разница между „чистою, свежешю реальною грязью“ и „грязью совершенно гнилою“, „фантастическою“, „не имеющей никакой реальности“. Элементы, из которых состоит „реальная“ грязь, „сами по себе здоровы“, при некотором перемещении в расположении атомов здесь может возникнуть нечто здоровое. В то время как в гнилой грязи „элементы находятся в нездоровом состоянии“, и „как бы они ни перемещались, и какие бы другие вещи, не похожие на грязь, ни выходили из этих элементов, все эти вещи будут нездоровые, дрянные“. Аллегория здесь же раскрыта: Марья Алексеевна, это—грязь со здоровыми элементами, она трудилась по своему, заботилась о куске хлеба, боролась за сносные условия жизни. Благодаря этому и могла от нее и около нее взрасти хорошая дочь Вера Павловна. Гнилая грязь, это—Серж, Сторешников и тому под.: „Заботы о бизлишнем, мысли о ненужном,—вот почва, на которой вы вырасли; это почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, быть может не хуже и не глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что

вы полезны?“ (слова Алексея Петровича Лопухова, обращенные к Сержу).

В самом конце романа, в новых вводных действующих лицах еще раз дается такое разделение гнилого и здорового в прежнем и отживающем. Старик Полозов во многом еще живет устоями гнилых традиций (насилие над дочерью в отказе на свободный выбор мужа), но он—человек рассудительный, в острый момент способен разобраться и понять подлинную пользу и выгоду (сердечное отношение к дочери, понимание ее интересов и новых здоровых воззрений и пр.).

В противовес старому, ложному и отживающему миру в романе поставлена молодежь в лице Лопухова, Кирсанова, Рахметова, Веры Павловны и Кати Полозовой. Главная масса тематических линий и разъяснений собрана в романе около Лопухова и Кирсанова. Оба эти лица функционально осуществляют одни и те же темы, и образы их в значительнейшей части сливаются вместе. Автор дает им почти одинаковые элементы биографии, одинаковые интересы, взгляды, способности и общий образ поведения: „Оба рано привыкли пробивать себе дорогу своей грудью, не имея никакой поддержки; да и вообще между ними было много сходства, так что, если бы их встречать только порознь, то оба они казались бы людьми одного характера“.

Их ролью в романе осуществляются и иллюстрируются принципы „свободы“, „трезвой рассудительности“ и „разумной выгоды“. Они внутренне свободны, сознательно относясь к своим потребностям и отдаваясь служению любимому делу, они свободны и свободолюбивы в отношениях к другим людям. Всякая искусственность, условность, корыстная нарочитость внимания или самолюбивое пренебрежение к человеку,— все это, в противоположность традициям старых порядков, им совершенно чуждо. Их поведение, мысли и слова komponуются автором как выражение ясности, последовательности и ничем не стесненного здравого смысла.

Впервые тема о „разумной выгоде“ наиболее отчетливое выражение получает в разговоре Лопухова с Верой Павловной, когда, стоя за дверью, их подслушивает Марья Алексевна. Вся ситуация этого момента автором направлена к отграничению своего понимания выгоды от примитивного и грубого сквалыжничества, которое представлено здесь же мыслями и суждениями подслушивающей Марьи Алексевны (глава „Гамлетовское испытание“). Марья Алексевна в восторге от взглядов Лопухова, утверждающего везде только „расчет выгоды“. Она еще не знает того специального содержания и развития, которое придается Лопуховым понятию о выгоде и которые,

по замыслу автора, в сопоставлении с воззрениями Марьи Алексеевны, должно отделить его теорию расчета от рыночного понимания и дать ей более глубокий, утонченный смысл.

В дальнейшем все это раз'ясняется. Все „благородство“ образа мыслей и поведения идеальных действующих лиц освещается автором как выражение их здоровой, непредубежденной мысли, как светлая логичность естественного стремления к „выгоде“.

Любовь несовместима с какими бы то ни было притязаниями к любимой личности: такое совмещение было бы нелогичным. В оправдание и раз'яснение этого развернут в романе его главный сюжетный стержень: отношения к Вере Павловне сначала Лопухова, потом Кирсанова. В картинах их сближения, расхождения и совместного счастья автором подчеркивается естественная разумность совершенной открытости, прямоты и взаимной свободной предупредительности. Внимание, бережность к взаимной свободе (взаимная эмансипация) представляется как необходимое здоровое логическое выражение требований чувства любви.

Разумной выгодой мотивируется Лопуховым его отказ от ученой карьеры и женитьба на Вере Павловне ради ее спасения из „подвала“ („самому жить хочется, любить хочется,— понимаешь?—самому, для себя все делаю“), и когда Вера Павловна полюбила Кирсанова, Лопухов, не желая быть помехой их счастью и удаляясь, ни на минуту не хочет считать свой поступок подвигом самопожертвования. („Я представляюсь совершающим подвиг благородства. Но это вздор. Мне нельзя иначе поступать по здоровому смыслу“ и пр.). Если он некоторое время думал удержать Веру Павловну около себя, то только потому, что для него было неясно, как ему поступить „выгоднее“. „Я—очень хороший человек“,—рассуждал он: „Шансы сойтись с другим человеком очень редки... Удовлетворенное чувство любви утратит часть своей стремительности, она увидит, что... ей легче, просторнее жить со мною, чем с другим, и все восстановится попрежнему“. Позднее Лопухов нашел, что оставаться с Верой Павловной ему стало уж „невыгодно“: по несходству характеров им пришлось бы, взаимно приспособляясь, насиловать себя. Жизнь оказывалась стесненной. „Хоть и приятно быть обремененным для любимого“, но Лопухов „начал уже скучать, угождая Вере Павловне“, и невольно стал думать, „как бы поскорее отделаться от положения, которое было скучно“. Тот путь, который был избран Лопуховым для самоудаления (симуляция самоубийства), было выражением его исключительной заботы о полном спокойствии Веры Павловны и Кирсанова в их дальнейшем счастье. Но и это великодушие подводится гоже под катего-

рию особенно утонченного „расчета“: „Тут я поступал уже под влиянием того, что могу назвать благородством, верней сказать, благородным расчетом, расчетом, в котором общий закон человеческой природы действует чисто один, не заимствуя себе подкрепления из индивидуальных особенностей“. Таким же рассудительным, прямым и благородным остается Лопухов в отношениях к Кате Полозовой, своей будущей жене: та же предупредительность, та же бережность к взаимной свободе и непринужденности, то же „благоразумие здравого смысла“.

Кирсанов мало чем отличается от Лопухова, и сам автор подчеркивает их тождество. Кирсанов также трудом и самостоятельной энергией пробивает себе дорогу, так же бескорыстно любит науку, так же „рассудителен“ и „благороден“. Так же, как и Лопухов, он размышляет о своем поведении и так же объясняет все соображениями „выгоды“. „Всякий человек эгоист, я тоже; теперь спрашивается, что для меня выгоднее, удалиться или оставаться“... „Я не должен называть своего решения ни благородным, ни даже честным, — это слишком громкие слова, я должен назвать его только расчетливым, благоразумным“. Благоразумие, рассудительность, „порядочность“, отсутствие предрассудков, предупредительность и внимание к интересам и желаниям любимого человека, все это обнаруживается в Кирсанове, в том же самом смысле и понимании, как и у Лопухова (см. размышления Кирсанова, его беседы с Лопуховым, и Верой Павловной, а также сцены идеальной супружеской жизни с Верой Павловной).

И Вера Павловна так легко и свободно выходит на истинную дорогу к счастью прежде всего потому, что она умна и и здраво умеет следовать за умными мыслями (см. ее разговоры с Лопуховым). Она прямо идет к осуществлению того, что ею понято, как должное и разумное, и не страшится нелепых условностей и предрассудков своей среды. Следуя ясным требованиям здравого смысла, она всем своим поведением оправдывает разумность тех требований, которые провозглашались принципом женской эмансипации. Женщина должна быть свободна в семье родителей и в своем выборе мужа (см. жизнь Веры Павловны в семье и ее освобождение), женщина должна быть свободна в жизни с мужем (см. ее жизнь с Лопуховым и Кирсановым). Освобождая себя от всякой зависимости от мужчины, женщина становится равной ему во всем: и в наслаждении чувством, и в труде, и, главное, в сознании достоинства своей личности. Только при этом достигается истинное удовлетворение и радость любящих (см. стремления Веры Павловны к независимости от мужа во всем обыходе, распорядке и тоне их супружеской жизни).

Целесообразность фигуры Рахметова в романе раз'ясняет сам автор. Автор опасался, чтобы читатели не приняли средних порядочных людей“ за конечный предельный идеал. „Не покажи я фигуру Рахметова, большинство читателей сбилось бы с толку на счет главных действующих лиц моего рассказа“. „Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов могли казаться героями, лицами высшей натуры, пожалуй даже лицами невозможными в действительности по слишком высокому благородству“. Нет, они еще не так высоки, они „обыкновенные порядочные люди нового поколения“. Они „не делают подлостей, не трусят, имеют обыкновенные честные убеждения, стараются действовать по ним и только“. Тут нет особенного „геройства“. Они не лишены даже слабостей, они знают труд, но знают и веселье, они не притязательны во внешней обстановке своей жизни, но любят и посибаритствовать, „выпить рюмку хереса“, развлечься и пошутить. Рахметов „особенный человек“. Ему так же не чуждо стремление к полной радости всех жизненных проявлений, и ему порою „хотелось бы выпить рюмку хересу“, пошутить и весело поболтать, но он слишком преисполнен „благородными стремлениями“, „пламенной любовью к добру“ и поэтому слишком редко забывает „свои тоскливые думы, свою жгучую скорбь“. Исключительная сосредоточенность Рахметова на высших потребностях и идеалах жизни выделяет его из общего круга „средних“ порядочных людей, и среди них, иногда балагурящих и веселящихся, он всегда является „мрачным чудовищем“.

В Рахметове все непомерно. Средние порядочные люди от хорошей трудовой нормальной жизни обладают хорошим здоровьем, Рахметов даже среди них—богатырь и тем значительнее заслуга его что он это физическое богатство не от природы получил, а приобрел его сам твердостью воли своей. Средний человек прост и непритязателен в материальной обстановке своей жизни. Рахметов—аскет. Пропагандист радостного наслаждения жизнью, он себя считает не в праве наслаждаться до тех пор, пока эта идея не получила признания. Для того, чтобы иметь право требовать для всех наслаждения, нужно,—говорит он,—и „своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности“. Средние порядочные люди достаточно умно рассуждают и рассудительно трезво поступают, но и они иногда слабуют, ошибаются, даже колеблются. Рахметов никогда не отступает от своей линии жизни, у него всегда все рассудительно обдуманно и рассудительно сделано. Рахметов

предел рассудительности и прямолинейности; он никогда ничего не говорит и не делает без пользы и правды, он жесток к самому себе, потому что безгранично владеет собою и умеет подчинять свои желания и инстинкты здоровым, обдуманым намерениям. Его идеалы, вкусы и стремления те же, что у среднего „порядочного“ человека, но размеры его „рассудительности“ и активной настойчивости ставят его на идеальную высоту. Рахметовы, это—„цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли“.

Эпизодические лица романа в своем тематическом наполнении осуществляют те же идеологические функции, которые заложены в главных персонажах. Жюли под верхним пластом испорченности скрывает доброе сердце и глубокое страдание от сознания своего рабского положения. Этим варьируется тема о дурном разлагающем влиянии праздности и роскоши. Образ Кати Полозовой повторяет тенденции о необходимости освобождения женщины от излишней опеки: „рассчитывайте на рассудок, только дайте ему действовать свободно, он никогда не изменит в справедливом деле“. Освобожденная от насилия отца (хотя и доброжелательного в отличие от сварливой матери Веры Павловны), Катя самостоятельно выходит на дорогу к счастью. Прежде подавленная, она теперь быстро освобождается от прежних ошибочных чувств (любовь к негодяю Соловцову), здраво ориентируясь в людях, останавливается в выборе на действительно достойном человеке (Бьюмонт-Лопухов), осмысливая жизнь, быстро убеждается в истинной радости свободного труда (увлечение мастерской Веры Павловны и организация собственной).

В соответствии с идеалами свободы и „разумной выгоды“ построены и имеющиеся в романе картины социального порядка. Это дано в описании мастерской Веры Павловны (коллективное содружество на началах равноправия и разумной свободной выгоды для всех, товарищеское равенство всех).

Конечное осуществление этих принципов равенства, братства и свободы рисуется в фантастической картине „Новой России“, в четвертом сне Веры Павловны: (Все зеленеет и цветет... Кругом громадные здания, в трех-четыре верстах друг от друга... Хрустальный громадный дом... Везде довольство и счастье. Люди радостно несут приятный, разумно организованный труд, радостно наслаждаются в общей обильной роскоши и довольстве. „Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе“. Нужно только быть рассудительным, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства“. „Четвертый сон Веры Павловны“, гл. 10).

IV.

Наставительные стремления романа находятся в связи с общими взглядами Чернышевского на смысл художественного творчества. Автор рецензии на „Поэтику“ Аристотеля и „Эстетических отношений искусства к действительности“, постоянный пропагандист принципа полезности, защитник прикладного практического назначения искусства, — не мог не стремиться к осуществлению тех же руководящих начал в своей художественной практике. Рационалист, апостол идеи просвещения, как перводвижателя по пути человечества к счастливой и радостной жизни, Чернышевский верил в себя, как руководителя умов, и весь смысл всей своей литературно-научной деятельности видел в провозглашении и распространении практически руководящих воззрений. Уже сидя в крепости, он задумывает обширную „энциклопедию знания и жизни“, которая должна разобрать „все мысли обо всех важных вещах“. Для большей популяризации такой книги, он имеет в виду воспользоваться литературно-беллетристической формой, которая ради завлекательности заставила бы прочесть и усвоить эти знания даже и такого человека, которому сами по себе научные интересы были бы совершенно чужды. „Потом, пишет он, я ту же книгу переработаю в самом легком популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остроумиями, так, чтобы читали все, кто не читает ничего, кроме романов...“ „Чепуха в голове у людей; потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно раз'яснить им, в чем истина и как следует им думать и жить“.¹⁾

Очевидно, частичным выполнением этого плана и явился роман „Что делать?“ В заявлениях, непосредственно касающихся целей и стремлений этого романа, Чернышевский усиленно подчеркивал именно эту практическую сторону, отводя на далекое второстепенное место все те „прикрасы“, которые отвлекли бы усилия автора и внимание читателя в сторону от серьезной полезности. К таким прикрасам он относит искусственную эффектность занимательности. Такие эффекты представляются ему унижительными не только для серьезного делового писателя, но и для читателя, легкомысленно отзывающегося на приманку легкой забавы. Воспользовавшись одним из таких эффектов в начале романа, автор спешит раз'яснить читателю оскорбительную сторону такой уловки. „Ты не знаешь, —

¹⁾ Письмо к жене из рavelина от 5 окт. 1862 года. Напечатано в книге *М. Лемке* „Политические процессы в России 1860-х годов“. Гос. Изд., 1923, ст. 219—220.

обращается он к публике,—что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя... Я употребил обыкновенную хитрость романистов: начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом... Не осуждай меня за то,—ты (публика) сама виновата; твоя простодушная наивность принудила меня унизиться до этой пошлости..." (Из предисловия к роману).

Входя в оценку собственных писательских качеств, автор заранее отрицает в себе всякие претензии на художественные способности и предлагает читателю ценить его произведение лишь со стороны истинности и серьезности: „У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика! прочтешь не без пользы. Истина—хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. ...Все достоинства повести даны ей только ее истинностью“ (Там же).

Но автор вовсе не хочет отождествлять себя с олимпийскими бездарными беллетристами, хотя бы и пользующихся успехом у публики. „Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта, и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений. Я говорю не то. Я говорю, что мой рассказ очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных талантом; ¹⁾ с прославленными же сочинениями твоих знаменитых писателей, ты смело ставь на ряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их—не ошибешься! в нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет“.

В каком смысле Чернышевский ставит себя в ряду „повествователей“ на особое, более высокое место,—это до некоторой степени выясняется из его признаний в письме почти этого же времени к Е. Н. Пыпиной от 4 сент. 1863 года: „Видишь ли, мне стало казаться, что у меня есть некоторый—очень второстепенный, в роде, положим, самого мелкого романиста из собственно романистов,—беллетристический талант. Этого мне было уже довольно, чтобы писать вещи хорошие“. ²⁾ Продолжая считать свое беллетристическое дарование „второстепенным“ и даже „самым мелким“, и в тоже время выделяя себя из ряда прочих мелких беллетристов, Чернышевский, очевидно, свою общую способность дать „вещь хорошую“, в конце концов, определял не условиями таланта, а какими-то

¹⁾ В черновой рукописи здесь вставлены слова: „напр, с „Мещанским счастьем“ с „Молоотовым“, с маленькими рассказами Успенского“.

²⁾ Подчеркнуто мною А. С.

иными. Известно, что в теоретической эстетике он связывал „художественность“ с требованием „истинности“. Очевидно, и здесь, говоря о большей художественности романа, он имел в виду ту же „истинность“, и преимущественно в этом отношении противопоставлял себя ничтожеству прочей толпы мелких повествователей.

Об этом же говорит и указание черновой рукописи на Помяловского и особенно Ник. Успенского, как на примеры писателей „действительно одаренных талантом“. С точки зрения художественной талантливости, при взглядах Чернышевского, могли бы быть взяты и более яркие примеры. Но не иной кто, а именно они были здесь поставлены в пример очевидно, потому, что Чернышевским, ценились со стороны особенной правдивости их изображений ¹⁾.

V.

Последними и наиболее прочно установленными достижениями в области „нравственных наук“ Чернышевский считал гедонистические воззрения Бентама и Милля. Психологическая интерпретация действующих лиц романа вся проходит соответственно этому, как тогда казалось Чернышевскому, „строго научному методу“. Мысль об эгоизме, о выгоде, как всеобщем и единственном принципе всех человеческих поступков, о необходимости рассудительной расчетливости в выборе двух разных выгод и о предпочтительной выгоде добра и о вреде зла,—Чернышевским была совершенно законченно и отчетливо формулирована в статье „Антропологический принцип в философии“. Здесь же, рядом с рационалистическим утилитаризмом, нашла себе выражение и мысль о зависимости нравственных качеств человека от обстоятельств и общих условий его жизни ²⁾.

¹⁾ О Н. Успенском см. его крит. статью, Современник, 1861, № 11. Собр. соч., VIII. с. 339—359.

²⁾ „...Человек поступает так, как приятнее ему поступать. руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия“... „Цель всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений“... „Добром называются очень прочные источники долговременных, постоянных, очень многочисленных наслаждений“. „Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр и ровно настолько, насколько добр. Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых достало бы ему на приобретение несравненно большего наслаждения“ („Антропологический принцип в философии“. Сочинения Н. Г. Ч-го, том VI, с. 231—236).

„При одних обстоятельствах человек становится добр, при других зол“. „Психология говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишить их чего нибудь, чтобы не остаться самому без вещи для него нужной“ (ср. в романе образ Марьи Алексевны Розальской). Другой источник зла—праздность, отсутствие деятельности. Праздность рождает муку, „неприятность жизни“. Праздный богатый светский человек „лишен дельных забот о себе и своих близких, потому занимается сплетнями и интригами, т. е. хлопочет мысленно над вздором столько же, сколько следовало бы хлопотать о дельных вещах“. (Там же, с. 215—220. Ср. в романе „гнилая грязь“, Сторешников Серж и др.).

Другой цикл полезных знаний, который Чернышевский имел в виду преподать в романе, это—круг его социальных воззрений. Давно уже было указано, что кооперативная мастерская Веры Павловны и тот идеальный мир общего благополучия, который приснился ей в четвертом сне, являются иллюстрациями к общим положениям социалистических систем. В учении Сен-Симона, Фурье, Роберта Оуэна и их последователей Чернышевского прежде всего покорял их пламенный социальный энтузиазм, вера в счастье человечества и желание отдать свои силы на служение ему. В романе это выразилось в восторженном стремлении всех новых лучших людей к скорейшему устройению возможно большего счастья возможно большего количества людей ¹⁾). Практическая разработка принципа товарищеской ассоциации на примере швейной мастерской находится в ближайшем соответствии с системой Роберта Оуэна. Конечное осуществление всеобщей гармонии (4-ый сон Веры Павловны) нарисовано по типу фаланстера Фурье. Как и в журнальных статьях Чернышевского, так и в романе, в основу товарищеского союза кладется выгода, расчет,—отсюда на страницах романа особенная обстоятельность хозяйственных и денежных соображений и вычислений ²⁾).

Третьей просветительной идеей, которую Чернышевский пропагандировал в романе, была идея женской эмансипации. Принципы женской эмансипации воспринималась Чернышевским вместе с сочинениями Фурье, Консидерана, а также и из романов Жорж Санд. Вопрос о женской доле Чернышевскому всегда был особенно интимно близок. Человек исключительного великодушия, всегда полный грез о радости всеобщего счастья, Чернышевский с особенной остротой воспринимал тяжесть застеночной женской замкнутости. В этом отношении в роман вложено очень много личного, автобиографического. Вместе с признанием за женщиной великих достоинств ума и сердца, Чернышевский всегда сожалел о ее несправедливой обездоленности в личных правах на самоопределение. Каждая женщина представлялась Чернышевскому прежде всего несчастной. В его глазах она была всегда или поработана или умственно темна, и то и другое в нем отзывалось обидой даже и в том случае, если сама женщина и не чувствовала своего угнетения и неразвитости. К его собствен-

¹⁾ Ср. „Для успокоения общества необходимо наискорейшее возможное улучшение материальной и нравственной жизни многочисленного и беднейшего класса. Обязанность каждого гражданина, каждого честного человека состоит в том, чтобы посвятить все силы этому делу“. „Процесс Меньильмонтанского семейства“. „Современник“, 1860, и 5. Собр. соч., т. VI, с. 127—150.

²⁾ Ср. о „выгоде“, как основе социальной ассоциации в возражениях Чернышевского Сен-Симону против его принципа „любви“. „Процесс Меньильмонтанского семейства“. Собр. соч., т. VI, с. 137.

ным порывам влюбленности, преклонения и обожания всегда примешивалось чувство великодушного сожаления, желания поднять, пробудить, освободить и научить. В его юношеских увлечениях всегда обнаруживается жертвенный момент.

Нежное, робкое, неоткрывшееся чувство к Н. Е. Лободовской проходит целиком в грустном сочувствии к ее беспомощному сиротливому положению. Самого Лободовского он упрекает за его беспечность и равнодушие к недостаточному развитию своей жены ¹⁾. „Вы сами виноваты, что она необразована,—говорил он Лободовскому, когда тот жаловался на Н. Е.,—она слишком мало образована и слишком в необразованном обществе жила“ ²⁾.

Такой же скорбной тенью проходит в его сердце загоревшееся ненадолго чувство к А. Г. Клиентовой. И здесь он тронут быт главным образом ее „несчастною участью, „грустностью, томительностью ее положения“ при муже—пьяном дьячке, в жизни, полной забот и лишений, в постоянной тоске по иному волшебному миру литературы, поэзии и возвышенных общественных интересов. ³⁾

Трогательно его намерение „давать бесплатные уроки“ Е. Н. Кобылиной, очень нравившейся ему, но не отвечавшей его требованиям внутренней развитости и, очевидно, нисколько от этого не страдавшей. Ему было жаль ее наивности, и, как казалось ему, беспомощности в выборе хорошего мужа. „Вам приходит время любить,—думал он сказать ей:—Может быть, вы в опасности выбрать недостойного... Выбирайте же меня, потому что я люблю вас искренно, и эта любовь во всяком случае, не будет опасна“... „Все было обдуманно! Хорошо“ ⁴⁾ Но девушка, очевидно, не разделявшая его чувств и опасений, уклонилась от объяснения.

В Ольге Сократовне Чернышевский видел незаурядную, исключительную женщину, в его сознании она сразу встала далеко вне ряда привычных впечатлений. Казалось бы, ее жизнерадостный нрав, совершенная непринужденность поведения, необычная свобода в распоряжении собою, нескрываемая яркость и нестеснительность в выражении своих вкусов и стремлений—не могли давать повода к подозрениям о какой либо затаенной угнетенности. Первый восторг в Чернышевском она пробудила именно этими качествами стремительного и открытого темперамента. Но и здесь, нашлись поводы к состраданию.

Стены родительского дома для Ольги Сократовны были „воль-

¹⁾ Е. Ляцкий. „Юношеская любовь Чернышевского“. Познание России, 1909, № 1.

²⁾ Е. Ляцкий „Любовь и запросы личного счастья у Чернышевского“. Современник, 1912, № 9, с. 189.

³⁾ Там же с 190—191.

⁴⁾ Там же с 192—198. Слова в кавычках взяты из „Дневника“ Чернышевского.

ными стенами. Ей давался во всем совершенный простор, и с детских лет она привыкла чувствовать вольную атмосферу щедрой беспечности и независимой прямоты. Конечно, и около нее не было идеальной полноты веселости и счастья, нужно предполагать неминуемые уголки трений и задержек. Но относительно говоря, как свидетельствуют все биографические материалы, положение Ольги Сократовны в родительской семье по отсутствию ложных стеснений было исключительным. Но Чернышевскому достаточно было намека на возможность неприятностей, лишений и огорчений, и в его воображении уже разворачивается бездна затаенного терпения и страдания под покровом притворной бойкости и развязности. Неряшливая обстановка их дома производит на Чернышевского удручающее впечатление и ему представляется немыслимым, чтобы Ольга Сократовна не замечала тяжести такой неурядицы: она должна от этого страдать. Кто-то сказал, что ее „мать не любит.“—Это окончательно давит сердце Чернышевского. И именно с этого момента его чувство к ней окрашивается особенною серьезностью: „тогда сильно развилось сочувствие к ней; весьма сильно развилось“,—записывает он в дневнике.

Потом Чернышевский, должно быть, много раз старался убедить ее в том, как она несчастна и как она достойна сострадания. „Да ведь вы женитесь на мне из сострадания?“—спрашивала его однажды О. С. „Мне кажется, вы женитесь на мне из сострадания“—еще раз повторяет она, спустя много времени. И в том и в другом случае Чернышевский горячо протестует. Конечно, его чувство было сложнее одного сострадания, но несомненно, ему „страстно хотелось, чтобы женитьба его на Ольге Сократовне непременно сопровождалась освобождением любимой девушки от семейного гнета. И потому он уверил себя и готов был уверять Ольгу Сократовну, что положение ее было так тяжело, что от него нужно было бежать, нужно было избавиться, хотя бы ценой брака с ним“. ¹⁾

Когда Чернышевский размышлял о будущей супружеской жизни, и здесь его мысли всегда окрашивались тем же жертвенным порывом. Чернышевский представлял себе возможность увлечения его жены другим человеком. Образ должного поведения в этом случае, как он рисуется в дневнике, совершенно совпадает с поведением Лопухова в романе. „Неужели вы думаете я изменю Вам?“ спросила его однажды Ольга Сократовна. „Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай.“ „Что ж бы вы тогда сделали?“—Я рассказал ей Жака Жорж Занда. „Что ж бы вы тогда застрелились?“—„Не думаю“ и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занда (она не читала его, или во всяком случае не

¹⁾ Там же, Современник, 1913 г., № 1, с. 207.

помнит его идей)“. ¹⁾ „А если в ее жизни явится серьезная страсть?—размышляет он в другом месте дневника,—то есть я буду покинут ею, но я буду рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью но не оскорблением. А какую радость даст мне ее возвращение! Потому, что она увидит, что как бы ни любил ее другой, но что никто не будет любить ее так, как я.“ ²⁾

Даже в мелочах обиходного распорядка совместной жизни роман повторяет мысли и поведение самого Чернышевского: „Она третьего дня сказала: у нас будут отдельные половины и вы ко мне не должны являться без позволения—это я и сам хотел бы так устроить, может быть думаю об этом серьезнее, чем она; она понимает, вероятно, только то, что не хочет, чтобы я надоедал ей, а я понимаю под этим то, что и вообще всякий муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене“...³⁾ „Каково будет мое отношение к ней в социальном смысле? Я желал бы, чтобы мы наконец, начали говорить друг другу „ты“; особенно, чтобы она говорила мне „ты“—сам я лучше хотел бы говорить—Вы. Звать ее буду я всегда полным именем, всегда буду звать ее Ольга Сократовна.—Она может быть захочет звать меня полуименем—но едва ли. И вероятно, если будет, скоро оставит. Одним словом наши отношения будут иметь по внешности самый официальный и холодный характер; под этою внешностью будет с моей стороны самая полная, самая глубокая нежность“. ⁴⁾ Повидимому, так было и в действительности, по крайней мере в первое время после женитьбы. После свадьбы, когда Чернышевские ехали в столицу, никто из пассажиров, „не хотел верить, чтобы они были *молодые*: они говорили друг другу Вы. Николай Гаврилович был необыкновенно вежлив к Ольге Сократовне и ухаживал за ней, как за малым ребенком“. ⁵⁾

VI.

В некоторых персонажах романа биографы Чернышевского указывают отражение реальных прототипов. Так, полагают, что в Лопухове и Кирсанове Чернышевским были введены доктор П. И. Боков и проф. И. М. Сеченов. П. И. Бокова сближают с Лопуховым „ранний труд, беготня по урокам, настойчивая воля“. И тот и другой „незаурядные медики“. Лопухов, сын рязанского мещанина, П. И. Боков

¹⁾ „Дневник моих отношений с тою, которая представляется моею женою“, Стр. соч., т. X, ч. 2, с. 78.

²⁾ Там же, с. 64.

³⁾ Там же, с. 82. Ср. роман, жизнь Веры Павловны и Лопухова.

⁴⁾ Там же, с. 83. Ср. то же в романе.

⁵⁾ А. А. Лебедев „Николай Гаврилович Чернышевский.“ Русская Старина, 1912. № 4, с. 301. (Запись Духовникова со слов Ольги Сократовны).

родился в крестьянской семье в Скопинском уезде, Рязанской губернии. В романе Лопухов обучает брата Веры Павловны, а потом, спасая ее из семейного гнета, женится на ней. П. И. Боков был учителем М. А. Обручевой и ради ее освобождения из под родительской опеки, вступил с ней в фиктивный брак. В романе Вера Павловна, после некоторого времени совместной жизни с Лопуховым, полюбила его друга Кирсанова, так же и М. А. Обручева, после четырехлетней жизни ее с П. И. Боковым, полюбила И. М. Сеченова. В романе Кирсанов уже имел кафедру в медицинской академии, Сеченов делал тогда первые шаги своей замечательной ученой карьеры.

Эта версия о соотношении романа с семейной Боковско-Сеченовской историей изложена в заметке А. Измайлова ¹⁾. В воспоминаниях Ольги Сократовны, записанных Ф. В. Духовниковым, имеется ее рассказ о петербургской жизни Чернышевских, и соотношение Лопухова с Боковым здесь подтверждается, но прототипом Кирсанова здесь указан уже какой-то „офицер“ ²⁾ И. М. Сеченов, по окончании инженерного училища, правда, был офицером-сапером, но тогда Сеченов был в Киеве, а Чернышевские еще не были женаты и с Сеченовым не могли быть знакомы. В Петербурге Сеченов появился когда им уже был окончен Московский университет (1850—1856), пройдена продолжительная школа за границей (1856—1860) и начата профессорская деятельность в медицинской академии (с осени 1860 г.). К этому времени всякие отношения к военному миру давно уже им были забыты. ³⁾

Во всяком случае тогда он не мог быть „офицером“, если О. С. не приняла его за такового по военной форме, которую он, должно быть, носил по службе в военно-медицинской академии. Только при этом допущении свидетельство Измайлова (Кирсанов-Сеченов) и свидетельство О. С. (Кирсанов—„офицер“) окажутся тождественными.—Но остается еще вопрос о времени, когда происходил этот двойной роман (Обручева-Боков, Обручева-Сеченов). По свидетельству Мих. Ник. Чернышевского, П. И. Боков с 1858 года был домашним врачом Чернышевских. Он женился на М. А. Обручевой в 1861 году (об этом свидетельствует письмо О. С. к Н. Г. от 29 авг. 1861 г.). Развелись они, по словам Мих. Ник. Чернышевского,

1) А. Измайлов „Петр Иванович Боков“. Утро России, 1914, 7 и 8 марта.

2) Ольга Сократовна говорила Духовникову: „Турчанинов, Боков, один офицер и я послужили Николаю Гавриловичу материалом для изображения лиц в романе „Черты моего характера“ рассеяны на нескольких действующих лицах „Что делать?“ Верочка—я, Лопухов взят с Бокова, офицер—с. Кирсанова“ (т. е. должно быть наоборот А. Л.), А. Лебедев „Н. Г. Чернышевский“, Русская Старина, 1912, № 4, с. 303.

3) „Автобиографические записки И. М. Сеченова“. Москва, 1907. В этой книге Сеченов нигде не обмолвился о своем знакомстве с Чернышевскими. О женитбе имеется лишь одно косвенное упоминание: „С ним (с Влад. Ковалевским) я познакомился..., когда моя будущая жена—мой неизменный друг до смерти—и я стали заниматься переводами, что началось с 1863 года“, с. 132.

в 70-х годах, когда М. А. Обручева вышла за Ив. Мих. Сеченова (ср. у Измайлова: „после четырехлетней жизни с П. И. Боковым“).

Ясно, что, если и мог Чернышевский что либо почерпнуть из этой истории для романа, то лишь один момент „спасения из под родительской опеки“ в женитьбе П. И. Бокова на М. А. Обручевой. Но и это предположение по скудости имеющихся данных остается темными неопределенным.

В Рахметове, полагают, был выведен некий помещик Бахметев. Здесь тоже мало определенности. Фамилия Бахметева, как прототипа Рахметова, упоминается несколько раз в письмах Е. Н. Пыпиной. В письме 16 марта 1863 г. Евг. Ник., сообщая родным о получении от Н. Г. продолжения романа, замечает: „там между прочим выведен Бахметев — помните?“ — Еще раз она называет его в письме 23 апр. 1863 г.: „С большим интересом прочтете вы роман Николи. Рахметов, это — Бахметев Пав. Алекс., помните вы его? Здесь, впрочем, мы об этом не говорим. Ник. Гавр. знал о нем много такого, чего мы и не подозревали“. Ек. Н. Пыпина вспоминает, что Бахметев был помещиком Саратовской губернии и славился своими странностями. „Оригинальная особа: богатый человек и вдруг аскет“ — все на него удивлялись. О Бахметеве Екатерина Николаевна слышала от Ивана Николаевича Виноградова, который „знал весь мир Саратовский“, и от многих друзей. Бахметев путешествовал по Волге, по разным городам и распространял идеи, схожие с рахметовскими“¹⁾.

Н. А. Огарева-Тучкова рассказывает о некоем Бахметеве, посетившем в Лондоне Герцена и настойчиво вручившем в его распоряжение на издание „Колокола“ двадцать тысяч рублей. У Чернышевского Рахметов является к немецкому философу и предлагает деньги на издание его сочинений. На этом основании этого Бахметева сближали с Рахметовым. Безграничная беззаветность всамоотдании на дело общественного служения, конечно, их объединяет. Но в рассказе Н. А. Огаревой-Тучковой Бахметев рисуется в совершенной противоположности Рахметову: „Некрасивый, робкий, молчаливый, он казался жалким, одиноким, заброшенным“, „говорил резко и в то же время сквозь слезы, как ребенок“²⁾.

¹⁾ Этими сведениями мы обязаны Н. М. Чернышевской-Быстровой.

²⁾ Н. А. Огарева-Тучкова. Воспоминания, 1848—1870. Москва. 1903, с. 127—130.— Без всякого сходства с Рахметовым изображен Бахметев и самим Герценом („Общий фонд“. Сборник посмертных статей. Женева, 1874, с. 181 и сл.). По этому поводу Ю. М. Стеклов предполагает: или Герцен не способен был понять русских революционеров того времени и потому вместо грозной суровой фигуры Рахметова у него Бахметев вышел развинченным, полоумным чудачком, или Бахметев вовсе не послужил прототипом для Рахметова, или же Чернышевский сильно его идеализировал, составил образ, ничего общего не имеющий с оригиналом, или сочетавши в нем черты из характера Добролюбова (суровое чувство гражданина долга), Бакунина (объезд славянских земель, ср. также Кельсиева), Сераковского (сближение со всеми классами)“. Ю. М. Стеклов. „Чернышевский, его жизнь и деятельность“. Сиб. 1909, с. 365—366.

В результате этих отдаленных и во многом неясных сопоставлений остается несомненным лишь самое общее заключение: некоторые конкретные контуры „нового человека“ давались Чернышевскому самой жизнью; он уже имел возможность непосредственно наблюдать отдельные черты того героя, который впоследствии на долгие годы служил идеалом для молодых поколений.

Несколько больше ясности имеется в отношении образа Веры Павловны. Как на ее прототип указывают на жену Чернышевского Ольгу Сократовну. Что образ Ольги Сократовны в какой-то степени веял над романом, об этом говорит уже авторское посвящение: „Посвящается моему другу О. С. Ч.“ На себя, как на прототип Веры Павловны, указывала и сама Ольга Сократовна ¹⁾.

Внешние сопоставления Ольги Сократовны с Верой Павловной Лопуховой открывают совпадения лишь со стороны жизни их нрава и в некоторых деталях общих житейских вкусов (шутки, пикники, сибаритские наклонности, сливки, ботинки и пр. ²⁾) Другая сторона облика Веры Павловны Лопуховой: серьезность и возвышенность общественных стремлений, желание осмыслить свою жизнь непосредственным участием в строительстве нового общественного уклада и пр.—не находит себе соответствия. Швейных мастерских О. С. не открывала, самообразованием и медициной не занималась, да и вообще мало задавалась вопросами, лежащими за пределами бытового обихода. Ученые разговоры О. С. всегда были тяжелы. Она их не дослушивала, да и вообще мало соприкасалась с общественными и научными интересами мужа ²⁾.

Тем не менее мы не имеем оснований думать, чтобы сам Чернышевский не усматривал в ней этой „идеальной“ стороны. Первое время общения с О. С. Чернышевский поражался ее умом, быстротой понимания его мыслей, меткостью ее замечаний. „Перед нею я чувствую себя почти так же, как в старые годы чувствовал себя перед Вас. Петр. в иные разы при разговорах по политике. Нужно только будет развить этот ум, этот такт, серьезными учеными беседами и тогда посмотреть не должен ли я буду сказать, что у меня жена M-me de Staël!“ ³⁾ Можно было бы отнести эти слова на долю слепоты горячего увлечения влюбленного юноши, но позднейшие письма Чернышевского убеждают, что такое отношение к ней, и именно к ее уму и общей духовной силе и обаянию, Чернышевский сохранил до конца жизни. В письме из Виллюйска от 10 марта

¹⁾ См. ее слова, стр. 115, примеч. 2.

²⁾ Ср. В. А. Пыпина „Любовь в жизни Чернышевского“ П 1923, с. 32, 33, 35, 36 и др.

³⁾ „Дневник“, с 31. „Вас. Петр.“—В. П. Лободовский, одно время для Ч-го имевший огромный авторитет.

1883 года Чернышевский, утешая Ольгу Сократовну в ее мрачных мыслях о себе самой, указывал на большую привлекательность ее бесед для таких ученых, как Пекарский, Срезневский, Котляревский. „Пекарский прямо сознавался, пишет он, что развитием своих понятий много обязан разговорам с тобой. Котляревский, по его словам, просиживал с О. С. вечера, потому что разговоры с нею были полезны развитию его понятий“. „Думаю написать когданибудь ученую сказочку, в которой главным говорящим лицом будешь ты, в виде тридцати семи летней девушки и главным действующим лицом тоже ты, в виде двадцатилетней девушки, любимицы той другой старшей. Где младшая, там шум и веселье. Где старшая, там тишина и серьезный пафос“. ¹⁾ В письме от 7 июля 1889 года Чернышевский пишет уже прямо о том значении, какое имела О. С. в его собственной жизни: „Если бы я не встретился с тобою, мой милый друг... моя жизнь была бы тусклой и бездейственной, какой была до встречи с тобою. Если я делал что-нибудь полезное, то всею пользою, какую русское общество получило от моей деятельности, оно обязано Тебе. Без Твоей дружбы я не напечатал бы ни одной строки, только лежал бы и читал бы, не излагая на бумаге того, что считал честным и полезным. Твои качества поддерживали веру в разумность и благородство людей, не поддерживаемый Твоею личною разумностью и честностью, я не считал бы людей способными держать себя, как велит разум и честность“... Чернышевский далее вспоминает о том обаянии, какое она имела для Некрасова, Добролюбова. Некрасов ею вдохновлен был создавая жизнь Саши („Саша“) и Катерины (в „Коробейниках“). „Без знакомства с Тобюю, он не написал бы ни этих дивных поэм ни много другого наилучшего в его произведениях. Я это знаю от него самого“. ²⁾

Ольгу Сократовну Чернышевский называл „самородком“. В ней он видел естественное выражение природного ума и того духа самостоятельности, независимости и внутренней свободы, какого желал бы и всякой другой женщине. Ее веселость и жизнерадостная общительность ни в какой степени не противоречили его идеалам „рассудительности“ и „порядочности“ нравственных воззрений и „дельной серьезности“ жизненных задач. Минуты веселья, жажда удовольствий в его сознании были так же законны, как и заботы и труд: тот, кто знает часы разумного и честного труда, имеет право быть веселым. Вся идеальная сторона образа Веры Павловны, являясь воплощением мечты Чернышевского, очевидно, все же связыва-

1) „Чернышевский в Сибири. Переписка с родными“ Вып. III СПб. 1913, с. 211-213

2) М. Н. Чернышевский. „Жена Н. Г. Чернышевского“ Современник, 1925 г. № 1, январь, с. 125.

дась с живыми порывами и стремлениями Ольги Сократовны, какие он в ней предполагал, а может быть, интимно видел.

VII.

Как уже замечено было выше, Чернышевский предвидел художественную слабость в „выполнении“ его творческого замысла. „У меня нет ни тени художественного таланта“,— заявлял он в предисловии,— „все достоинства повести даны ей только ее истинностью“.

В черновой рукописи эта мысль была высказана еще более резко: „У меня нет беллетристического таланта. Я даже и языком-то владею плохо: я краснею, когда перечитываю то, что написал,—чуть не на каждой строке, неловкие обороты, излишек повторений, нет метких слов, нет ярких красок. Куда же тут претендовать на художественное дарование,—во мне нет ни следа его. Лица, мною выводимые, даже мне самому представляются лишь в неопределенных бледных очерках. Действие растянуто, части его склеены плохо, белые нитки швов так и торчат повсюду. В целом все выходит нескладно, вяло. Но—но все-таки ничего: читайте, прочтете, не без пользы. Истина—хорошая вещь. Она вознаграждает недостатки писателя, который следует ей“¹⁾

Если такое отрицание всяких художественных достоинств романа и является преувеличением, то все же в значительной части признания автора совершенно справедливы. Роман имеет мало движения. Слабо выражен даже тот внутренний драматизм, который должен был бы неминуемо создаваться в конфликтных положениях отдельных персонажей. Фигуры романа лишены живой яркости, они схематичны и откровенно условны. Лучшей частью романа является его начало—жизнь Веры Павловны в семье и история ее сближения с Лопуховым. Здесь Чернышевский обнаружил дар живой наблюдательности и непринужденной меткости рисунка. В дальнейшем роман всецело погружается в неприкрытую публицистику и отвлеченность.

Драматический элемент романа в первой его части создается борьбою за освобождение Веры Павловны от тяжелой обстановки ее родительского дома (гл. I „Жизнь Веры Павловны в родительском семействе“ и гл. II „Первая любовь и законный брак“). После некоторых комментирующих отступлений, о которых речь будет ниже, вновь на некоторое время создается напряжение переходом Веры Павловны к новому замужеству. (Гл. III. „Замужество и вторая любовь“). Но эта часть романа загромождена множеством отступлений и рассуждений. Сюда входят два сна Веры Павловны (второй и третий), сюда

¹⁾ Рукопись Ленингр. Отд. Централхива, лист 2, с. 1.

же относится „рассказ Крюковой“. Здесь же помещено множество теоретических рассуждений на темы о „разумной выгоде“, в том числе отдельная глава „Теоретический разговор“. Здесь же дана описательная характеристика Рахметова (гл. „Особенный человек“), наконец, сюда же относится наибольшее количество полемических бесед с „Проницательным читателем“, в том числе особая большая глава „Беседы с проницательным читателем и изгнание его“. После описания установившейся новой семейной идиллии в совместной жизни Веры Павловны и Кирсанова, прежняя сюжетная магистраль, связанная раньше с Верой Павловной, на время заслоняется продолжительной характеристикой семьи Полозовых и историей второй женитьбы Лопухова (Бьюмонта). Уже без всякого дальнейшего движения фигур, конец романа синтезирует его тематическое единство сценами счастья и довольства новых и грядущих поколений (сюда входит „4-ый сон Веры Павловны“).

Как объясняет и сам автор, концепция романа создавалась не в интересах целостности и замкнутости интриги и внешнего действия, а по побуждениям внутренней тематической ясности: „Я не из тех художников, у которых в каждом слове скрывается какая-нибудь пружина, я пересказываю то, что думали и делали люди, и только; если какой-нибудь поступок, разговор, монолог в мыслях нужен для характеристики лица или положения, я рассказывал его, хотя бы он и не отозвался никакими последствиями в дальнейшем ходе романа“ (с. 126 изд. 1905 г.). Поэтому, при общем тематическом единстве, роман не во всех эпизодах спаян единством действия и интриги. По надобностям характеристики действующих лиц, или ради новых тематических разъяснений и усложнений, автор сбивается на периферию и вводит, в качестве иллюстрационных картин, эпизоды и главы, ничем не связанные с главным стержнем интригующего и развивающегося главного события. Таковы главы о мастерской Веры Павловны, история Кирсанова с Крюковой, характеристика Рахметова, характеристика семьи Полозовых и эпизод излечения Кати Полозовой. Наконец, особенное загромождение развитие интриги получает вставленными четырьмя снами Веры Павловны, аллегорически поясняющими идеологический смысл лиц и событий. К этому прибавляются еще обширные авторские вторжения, или в виде обращений к читателю, или в виде непосредственных дидактических рассуждений на темы романа. Все это обременяет движение рассказа и делает его тяжелым и вялым.

Правда, автор применяет некоторые приемы, имеющие очевидное назначение оживить и завлечь внимание читателя. В этих целях, по примеру французских романов, переставляются моменты событий с тем, чтобы в начале сообщить

эпизоду загадочность и только потом раз'яснить его загадочную сторону рассказом о предшествующих обстоятельствах.

Открывая роман эпизодом симуляции самоубийства Лопухова и дав сцену горя и слез Веры Павловны и Кирсанова, автор обрывает этот выхваченный из середины романа момент и начинает историю с самого начала. Автор сейчас же собственным обращением к читателю обнажает искусственность такого приема, иронизирует по поводу этой „обыкновенной хитрости романистов“ и обещает продолжать рассказ уже „без всяких уловок“. Однако подобная „уловка“ применяется и далее. Так, сцена ухода Веры Павловны с Лопуховым остается на некоторое время загадочной, потому что дается ранее рассказа о их венчании (в поденных заметках Веры Павловны, после вторника сразу дается пятница, опущена среда, когда происходило венчание, о чем рассказывается уже ниже, через несколько страниц, с. 129—133). Столь же загадочно обставлена сцена посещения Веры Павловны Рахметовым. Источник осведомленности Рахметова о том, что действительно произошло с Лопуховым, становится известным только потом, когда уже он достаточно „удивил“ и Веру Павловну и читателя (с. 284—301). В подобной же недоговоренности и таинственности представлено письмо к Вере Павловне от загадочного приятеля Лопухова, который оказывается потом самим Лопуховым. Письмо К. В. Полозовой к Вере Павловне тоже находит себе об'яснение только через тридцать страниц ниже. Долго личность Лопухова под именем Бьюмонта только подзревается по намекам и лишь потом это становится открытым.—Однако, эта „уловка“, по особым качествам конструкции романа, о которых речь будет ниже, мало оживляет рассказ.

В романе почти нет непосредственной художественной действительности. Внутреннее существо каждого персонажа, например, обнаруживается не там, где читатель созерцает их самих, а лишь в тех мертвых комментариях, которыми обильно снабжается каждая внешняя фактическая схема происшедшего. Правда, все, что полагается в беллетристике, здесь соблюдено. Персонаж имеет наружность, действует, говорит и о нем говорят, иногда имеет рельеф и свет от облика других персонажей. Но все это бестрепетно, схематично и внешне, без живого слияния внутреннего существа с внешним выражением.

Вещное, внешне зримое, у Чернышевского не дает путей к внутреннему миру его лиц. Его портреты лишены индивидуальной значимости. Там, где Чернышевский описывает наружность персонажа, он имеет в виду одну телесность. Лишь потому, что в его идеал нового человека входило требование физической крепости и благообразия, он награждает лучших людей несокрушимой физической силой и красотой. Но и это

дается сухо, к простому сведению, без внутренней обаятельности, без заражения, без всякого обаяния прелести сильного и красивого человека.

И Лопухов и Кирсанов, оба „крепкие“, „высокого роста“, „стройные“, у обоих „правильные красивые черты лица“, один „более смуглый“ и „выше ростом“, другой — „шире костью“. „Одни находили, что красивее тот, другие — этот“. За этими общими чертами: „высокий“, „сильный“, „красивый“, „стройный“, „правильные черты лица“ и пр., — узнаются лишь общие авторские представления о красоте мужчины, которые теоретически отвечали его идеалам жизненности, здоровья и благообразия. Довольствуясь общей схемой, автор совершенно безучастен к оттенкам. „Одни находили, что красивее тот, другие этот“, — и в самом деле, не все ли равно, если дело идет только о таком общем представлении.

Некоторое внимание автор уделяет наружности Веры Павловны. Здесь опять те же общие эпитеты: „высокая, стройная“, „довольно смуглая“, „кавказский тип“, „глаза хорошие, даже очень хорошие“, „очень красивое лицо“, „здоровье хорошее“, „румянец здоровый“, „грудь широкая“...

Имеются и еще немногие упоминания о наружности других действующих лиц: Розальский — „плотный, видный мужчина“, Розальская — „худощавая, крепкая, высокого роста дама“, хозяйка квартиры Розальских — „дама видная“, Сережников — „видный красивый офицер“. В других случаях нет и таких упоминаний. Очевидно, для Чернышевского портрет был лишь условностью принятой беллетристической формы, одною из „прикрас“, по существу ненужною и в большинстве случаев лишенною всякого смысла.

Конечно, внешний портрет вовсе не обязателен в литературном рисунке персонажа, бывает он бессодержателен и у крупных писателей; портрет — лишь частность, деталь, ее отсутствие или бездейственность может быть возмещена выпуклостью иных линий. Но роман Чернышевского такую схематичность характерен всюду, в каждом этапе его рисунка и рассказа.

На протяжении романа действующие лица переживают ряд разнообразных эмоций: сияющий восторг любви, ужас отчаяния, муки сомнения и надежды, трепет счастья, укоры смущенного сердца и радость удовлетворенности, печаль об утрате и счастье новых встреч. Но читатель обо всем этом узнает лишь из авторских сухих ремарок или из бескровных самотолкований персонажа.

В качестве выражения отдельных переживаний, в романе иногда указывается то или иное движение или изменение в лице и жестах, очевидно, по представлениям автора, харак-

терных для данных психических состояний. Но и здесь нет индивидуальной динамики привычек тела, жеста, живой игры физиономии.

Вера Павловна получила письмо от Лопухова о его самоубийстве. Читает. По лицу ее „пробежало недоумение“, потом она „бледнеет, глаза ее долго и неподвижно смотрят на многие строки“, тускнеют“, и, наконец, из ослабевших рук письмо падает, она „закрывает лицо“ и „рыдает“, потом „замолкает“ и „сидит неподвижно, как в летаргии“. То же происходит с Кирсановым: „и он побледнел и у него задрожали руки, и он долго смотрел на письмо“. Почти то же повторяется с Верой Павловной перед признанием мужу (Лопухову) в любви к Кирсанову. На этот раз ее состояние, конечно, иное, но краски обнаружения взволнованности те же: то же онемение рук, то же побледнение и пр.: „шитье опустилось из опустившихся рук“, „Вера Павловна немного побледнела, вспыхнула, побледнела больше, огонь коснулся ее запыхавших щек,—миг и они побелели, как снег, она с блуждающими глазами уже бежала в комнату мужа“. Оцепенением отмечено волнение Кирсанова в момент радостного прихода к нему Веры Павловны: „Кирсанов пошатнулся, да, он пошатнулся, он схватился за ручку двери; но она уже побежала к нему“ и пр. Столь же однообразно повторяется указание на произвольность движений. После получения письма от Лопухова (о самоубийстве) Кирсанов „сел за стол, взял опять перо. А перо без его ведома писало среди какой-то статьи: перенесет ли?—ужасно—счастье погибло“... То же повторяется с Лопуховым после получения письма Веры Павловны с признанием в любви к Кирсанову. „С четверть часа, а может быть, и побольше Лопухов стоял перед столом, рассматривая там внизу, ручку кресла“ (с. 259). То же происходит с Кирсановым, когда Вера Павловна ушла, простившись с ним навсегда: „Он долго не мог отыскать свою шляпу; хоть раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее“ (с. 9).

В изменении лица изредка отмечается лишь нечто самое общее, эмоционально типичное и неопределенное: побледнение, краска, однажды замечено движение бровей (у Жюли в задумчивости „брови сходились и расходились“).

Два раза видим выразительную позу: „Михаил Иванович лежал на диване и не без некоторого довольства покручивал усы“ (49). Поза Жюли в разговоре с Михаилом Ивановичем: „Как величественно сидит она, как строго смотрит!“ (36). Единственный раз меняется поза среди беседы двух лиц: „Лопухов пододвинул к одному креслу другое, чтобы положить на него ноги“ и пр. (249). Особенно часто упоминаются рукопожатия и всегда с подчеркнутым смыслом: „Он (Лопухов) пожал

руку (Вере Павловне), да так спокойно и серьезно, как будто он ее подруга или она его товарищ“ (68). Еще: Вера Павловна грустит, Лопухов ее утешает: „Дай руку, пожми мою, видишь, как хорошо жмешь“ (254). Много раз упоминаются объятия, поцелуи, ласки („обнимала мужа крепко, крепко и твердила: „я хочу любить тебя... „он гладил ее волосы, целовал ее голову, пожимал руку“ (254). „Как она его обнимает... с какими слезами целует... (262) после разговора Кати Полозовой с Бьюмонтом (Лопуховым) „началась обыкновенная сцена, какой следует быть между женихом и невестою, с объятиями“ (439).

Это почти *все*, что иногда так или иначе позволяет видеть душевные состояния героев в их внешнем конкретном раскрытии.

Бледность эмоциональной конкретности, общность выражений, уклончивость автора от обозначения оттенка, обнаруживаются и на построении сцен и диалогов. За исключением немногих мест эмоция оказывается лишь названной, она не конкретизована и остается в сознании читателя лишь как представление. Это, конечно, позволяет судить и узнавать, где действующие лица печалются, страдают, радуются, но лишь в самом общем умопостигаемом смысле. Психология лица не находит себе ясного обнаружения в самом построении событий. Внутреннее существо персонажей остается вне захвата непосредственной сцены и получает всегда дополнительное, стороннее обсуждение и раскрытие. Авторская психологическая теория живет вне анекдота, который ей служит.

Отсюда эти непрерывные раз'ясняющие самопризнания действующих лиц. Они говорят о себе и в беседах между собою, и в размышлениях, и в письмах, пространно теоретизируют на темы происшедших эпизодов, подводят себя под схематические категории, которые, кстати сказать, всегда совпадают со схемами автора, помещенными здесь же, рядом. Автор не надеется на выразительность и понятность своих картин и всюду назойливо вывешивает обильные этикетки.

Сны Веры Павловны, это не то, что сны действующих лиц у Достоевского или Толстого, где самим сцеплением прихотливых подсознательных ассоциаций раскрывается сумма каких-то несознанных, таящихся томлений. У Чернышевского сон только аллегория, прямая, голая, нисколько не скрывающая в себе рассудительного автора.

Первый сон подтверждает читателю, что жизнь в семье для Верочки была подобна пребыванию в сыром, темном и гнилом подвале, в жалкой парализации жизненных сил, а ее выход замуж за Лопухова, это—освобождение из подвала и выход на свободу на широкий простор.—Для раз'яснения смысла образа Марьи

Алексевны служит второй сон Верочки (грязь здоровая и грязь гнилая, см. выше).— Вера Павловна после нескольких счастливых лет жизни с Лопуховым полюбила Кирсанова. Почему это произошло, что переживала Вера Павловна, что ее не удовлетворяло в Лопухове и что призывало к Кирсанову?— Казалось бы это должно обнаружиться в переживаниях самой Веры Павловны. Но автор предпочитает предупредить читателя третьим сном Веры Павловны, где „гостя“ предсказывает и раз‘ясняет закономерность ее чувств. Читатель узнает от „гостя“, что Лопухов „человек благородный“, а „благородством внушается уважение, доверие, готовность действовать за одно, дружба, избавитель награждается признательностью, преданностью, но есть другая потребность, потребность тихой долгой ласки, потребность сладко дремать в нежном чувстве“... Без раскрытия живых состояний и переживаний самой Веры Павловны, конечно, это воспринимается только рассудком, теоретически, без участия внутреннего эмоционального понимания.— Когда все линии событий замкнулись, автор дает четвертый, последний сон Веры Павловны, развертывая здесь картину будущего торжества тех принципов, на которых строилось наполнение и весь ход романа, и таким образом еще раз раз‘ясняет его окончательный смысл.

Уже эти четыре сна экспликативно обнимают весь состав романа. Но, помимо их, автор часто среди рассказа, прерывает повествование и сам уже от себя, непосредственно преподает уроки непонятливому читателю. Гл. 2, I, читаем отступление по поводу встречи Веры Павловны с Лопуховым: „Известно, как в прежнее время оканчивались подобные положения... Теперь чаще и чаще стали другие случаи... Все будут порядочные люди. Тогда будет хорошо“... Гл. 2, V, по поводу разговора между Верой Павловной и Лопуховым о независимости женщины: „Как это странно“— думает Верочка... „Нет, Верочка, это не странно, — обращается к ней автор. Теперь эти мысли видны уже ясно в жизни“ и пр. Гл. 2, IX, после рассказа о разговоре Веры Павловны и Лопухова о выгоде, как о единственном побуждении человеческого поведения, и об удовольствии Марьи Алексевны, подслушавшей этот разговор: „Я понимаю, как сильно компрометируется Лопухов сочувствием Марьи Алексевны... Далее пространно объясняется, в чем разница их „выгод“. Гл. 2, X: Кирсанов не спросил Лопухова, красива ли та девушка, за которую он хлопочет... Автор объясняет: „Им обоим думалось, что когда дело идет об избавлении человека от дурного положения, то ни мало не относится к делу, красиво ли лицо у этого человека. Далее беседа с „проницательным читателем о том, сколь „странны“ такие люди, как Лопухов и Кирсанов. Гл. 2, XXIV, „Похвальное слово Марьи

Алексевне": Ее ум, рассудительность и пр. Ср. второй сон Веры Павловны: грязь здоровая и пр. Гл. 3, VIII, по поводу новых людей, таких, как Лопухов и Кирсанов: „Недавно зародился у нас этот тип... Будет время когда „люди все будут этого типа“ и пр. Гл. 3, XVI: О супружеской идиллии—„Чистейший вздор, что идиллия недоступна“ и пр. Гл. 3, XXI: Лопухов думает, „отчего Кирсанов удалился“ и, конечно, догадывается. Автор подчеркивает: „Человека честного и развитаго, опытного в жизни, и в особенности умеющего пользоваться теориею, которой держался Лопухов, нельзя обмануть никакими выдумками и хитростями“ и пр. Гл. 3, XXII, после разговора Лопухова с Кирсановым о чувстве к Вере Павловне—новое повторение теории выгоды. Гл. 3, XXX, после описания Рахметова: „Да, особенный человек был этот господин... А тебе, проницательный читатель, я скажу, что это недурные люди“ и пр. Гл. 3, XXXI „Беседа с проницательным читателем“. Зачем выведен Рахметов? Рахметов „подлинный герой“ и пр. Гл. 4, XIII, „Отступление о синих чулках“ (по поводу изучения Верой Павловной латинского языка): „Кто с дельною целью занимается каким-нибудь делом, какое бы ни было это дело, и в каком бы платье ни ходил этот человек, в мужском или в женском, этот человек просто человек, занимающийся своим делом, и больше ничего“ и пр.

Эти авторские вставки помещены в особые абзацы, в начале или в конце глав, но кроме них есть еще множество замечаний, вкрапленных в самую ткань рассказа. Вот сцена между Верочкой и Сторешниковым:—„Мне жаль Вас, сказала Верочка:—я вижу искренность Вашей любви“—далее здесь же, среди слов Верочки, поставлены скобки и в них авторские слова: „Верочка, это еще не любовь, это смесь разной гадости с разной дрянью,—любовь не то; не всякий тот любит женщину, кому неприятно получить от нее отказ,—любовь вовсе не то—но Верочка еще не знает этого и расстрогана“ и далее опять слова Верочки:—Вы хотите, чтоб я не давала Вам ответа“ и пр. (Гл. I, IX, с. 51). Ср. такие же скобки с обращением к „проницательному читателю“ стр. 362.

В другом месте автор на ходу перебивает сцену, берет читателя за рукав и указывает: „Смотри на жену, как смотрел на невесту. Признавай ее свободу. Так живут мужья и жены из нынешних людей“ и пр., (Гл. 4, XIV, с. 359).

В романе много диалогов. Среди них есть и такие, которые объективируют повествование, дают сценическое движение, заполняя и обогащая одновременно рисунок и значимость фигур. Такова, напр., сцена между Марьей Алексевной и Верой Павловной в ложе театра, в присутствии „кавалеров“. Но в огромном большинстве случаев, автор и здесь обнару-

живает те же постоянные стремления раз'яснить, указать, подчеркнуть.

В диалогах Чернышевского нет живого звучания непри-
нужденной беседы, в речах нет индивидуального лада взаим-
ных реплик и вопросов. В этом отношении выделяются лишь
сцены с участием Марьи Алексевны, матери Веры Павловны.
Речь Марьи Алексевны индивидуализована особенностями лек-
сикона и синтаксиса мещанского просторечия: „Одевайся
чать, скоро придет“... (28); „за счастье почту, что она *вхожа*
будет в такой дом“ (31); „*больно* глуп народ“ (22); „*спущала*
до сих пор“ (19); „я сколько мученья приняла, Верочка, *и-и-и,*
и-и-и, сколько!“ (21); „бедно, *и-и-и,* как бедно жили“ (21);
и пр. К этому прибавляются обильно рассыпанные частицы:
да и, ну, вот и ко, ка и пр.

Особенная сварливость и вульгарность Марии Алексевны
отмечены обилием ее грубой брани: „отмой рожу-то“ (15);
„такая чучела уродилась“ (15); „что рыло-то воротишь“ (18);
„дурак, эко брехнул“ (19); „глядите, хамы“ (18); „не пожалею
смазливой рожки“ (19); „мерзавка“, „дура“, „осел“, „подлец“,
„разбойник“, „мерзавец“ и пр. (с. 18, 19, 32 и др.).

У других действующих лиц речь везде, во всех их по-
ложениях, у всех одна и та же. Было бы несправедливой
крайностью утверждать, что все диалоги в романе лишены
всякого оживления. Можно указать, особенно в первой трети
романа немало живых и быстрых реплик, взволнованных за-
мечаний, искусно перебитых недомолвок. Но это (за вычетом
сцен с Марьей Алексевной) бывает чрезвычайно редко, а
главное всегда однообразно. Чаще всего диалогические сцены
эвристически дебатировать какую-нибудь отвлеченную тему.
При чем и здесь всюду вторгается менторская указка ав-
тора. Автор не предоставляет судить самому читателю. Всякий
разговор, всегда уже сам по себе логически насыщенный
и понятный, неизменно сопровождается или особой указую-
щей надписью самого автора или резонерским комментарием
одного из собеседников.

Такая подчеркнутая нарочитость убивает непосредствен-
ность сцены даже и там, где она могла бы быть. В романе,
например, обычен такой оборот: „Любили ли они друг друга?
Начать хоть с нее. Был один случай в котором выказалась
с ее стороны заботливость о Бьюмонте“. Далее в сценах и
диалогах рассказывается этот случай. Кажется, уже ясно, что
должен усматривать читатель из этого случая, но и на этом
автор не останавливается и, закончив эпизод, сейчас же сам
преподает читателю необходимые ему выводы: „Так ли делается,
такие ли бывают посещения влюбленных девушек? Не говоря
уже о том, что ничего подобного никогда не позволит себе

благовоспитанная девушка, но если позволит, то уже конечно, выйдет из этого совсем не то“, и пр. (с. 432).

Рисуются отношения между Кирсановым и Верой Павловой. Автор имеет ввиду дать представление о должном, идеальном счастье. Для этого предлагаются образцы их разговоров: „Откуда это взяли, Саша, что любовь ослабевает, когда ничто не мешает людям вполне принадлежат друг другу? Эти люди не знали истинной любви... Пресыщение! Будто мой аппетит ослабевает, будто мой вкус тупеет от того, что я не голодаю, а каждый день обедаю без помехи и хорошо“ и т. д. (с. 360). Далее автор сам берет себе слово: „Эти разговоры постоянны, но вовсе не часты. Коротки и очень не часты. В самом деле, что об этом много и часто говорить?.. А вот *эти* и чаще и длиннее“—Далее примерный диалог на тему о полезности и любви (с. 361). Ср. подобные же „примерные“ разговоры квартирных хозяина с хозяйкой о Лопуховых (с. 148—150).

Автор сам неумоимо удивляется новизне и необычности своих героев. Он не устает повторять: посмотрите, как это ново и необыкновенно. „Странно“,—это любимое его слово в этих случаях. „Странно, Верочка, что ты спокойна. Ведь думают, что любовь—тревожное чувство. А ты заснешь тихо, как ребенок“... Далее автор раз'ясняет эту подчеркнутую „странность“ (с. 72). После разговора Лопухова с Верочкой автор заключает: „Так они поговорили,—странноватый разговор для первого разговора между женихом и невестой“, (с. 124),

Иногда, вместо себя, автор выдвигает подставную резонацию, опять с подчеркиванием „странности“ и с откровенным приглашением удивляться. После описания супружеской жизни Лопуховых помещен разговор старика и старухи—их квартирных хозяев: „Старик и старуха, у которых они поселились много толковали между собою о том, как странно живут молодые“... и пр. (с. 148—150).

Иногда сами герои берут эту роль указки, сами комментируют себя и сами себе удивляются. Не доверяя выразительности своих невольных самообнаружений, лица романа нередко сами ловят выражение своих глаз, жестов, манер и сейчас же „своими словами“ об'ясняют их смысл и значение. Так Верочка об'ясняет Лопухову смысл своих слез: „Ты видел я плакала, когда ты вошел,—это от радости“ (с. 117). Лопухов об'ясняет Верочке выразительность своих глаз: „Так он на вас смотрит, как вот я, или нет? Такой у него взгляд?“ — „Вы смотрите прямо, просто. Нет, ваш взгляд меня не обижает“ и пр. (с. 70).

Нередко смысл сцены возвещается самосозерцанием самих ее участников, будто они сидят зрителями на том же спектакле, который только что, сами разыгрывали. „А ведь какие мы смешные люди, Верочка!—подчеркивает Лопухов:—ты говоришь „не хочу жить на твой счет“, а я тсбя хвалю за это. Кто же так говорит, Верочка?“ (с. 119). Или в другом месте: описывается первый вечер, проведенный Верой Павловной у Кирсанова: „как же прозаичен наш роман!—воскликает про себя Вера Павловна.—„Первое свидание и суп, голова закружилась от первого поцелуя—и хороший аппетит, вот так сцена любви! Это презабавно!—„О, нет это первое свидание, состоявшее из обеданья, целованья рук, моего и его смеха, слез о моих бедных руках, оно было совершенно оригинальное“ (с. 338).

В других случаях автор вверяет роль ментора одному из персонажей, и диалог происходит в виде прикрытого урока. Таковы разговоры между Верочкой и Лопуховым. Верочка оказывается талантливой ученицей, о многом сама догадывается или, как здесь же отмечается, „умеет делать выводы из посылок“ и успешно забегают вперед, так что Лопухову остается только подтверждать: „Так, так, Верочка. Всякий пусть охраняет свою независимость,“ (с. 118). Или: „зачем же все так толкуют нам, чтобы мы оставались женственны? Ведь это глупость, мой милый?—спрашивает Верочка. „Глупость, Верочка, и очень большая глупость“—подтверждает учитель—Лопухов (с. 119). В подобном же тоне ведутся разговоры между Бьюмонтом (тем же Лопуховым) и Катей Полозовой (с. 434—439). Иногда собеседники в таких случаях ставят друг другу возражения и вопросы, но это лишь для того, чтобы дать повод выслушать привходящие частные стороны вопроса и потом придти к готовому рассудительному выводу (см. напр., с. 84—85).

Для большего утончения диалектики в раз'яснении какого нибудь момента романа, два одинаково умных собеседника ставятся в положение спорящих. Таков разговор одинаково рассудительных Лопухова и Кирсанова о чувствах Веры Павловны к тому и другому и о должном их поведении в отношении к ней (с. 241—248). Таковы же письма друг к другу Лопухова и Веры Павловны, окончательно раз'ясняющие философию выгоды на примере их взаимных отношений (с. 296—301). Таковы же нападки Рахметова на Лопухова (с. 309—329).

VIII.

Роман „Что делать?“ всегда упрекали в тенденциозности. Мы должны согласиться в справедливости этого упрека. Од-

нако, в виду того, что со словом „тенденциозность“ в настоящее время соединяются самые разнообразные и иногда противоречивые представления, считаем необходимым пояснить, в каком смысле тенденциозность, действительно, может быть поставлена в упрек роману, как такое качество, которое роняет его в ряду других художественных произведений.

Всякое художественное произведение „тенденциозно“, каждому присуща некоторая единая устремленность, связывающая и направляющая всю совокупность его частей к некоторому общему заданию или порыву. Всякая организованность предполагает целеустремленность, а это, в свою очередь, предполагает *отбор* материала и средств, т. е. творческую руководящую тенденцию. В этом общем смысле роман „Что делать?“ не представляет собою какого-то особого исключения.

Г. В. Плеханов, в защиту „тенденциозности“ „Что делать?“—совершенно справедливо указывал на „Смерть Ивана Ильича“ и „Хозяина и работника“ Льва Толстого, как на произведения яркие в выражении авторского мировоззрения, но от этого несколько не утратившие своих художественных достоинств. ¹⁾ Но тут нет нужды прибегать к таким „исключениям“; Толстой в этом смысле был не менее ярок и в других произведениях. И „Война и мир“ и „Анна Каренина“ так же охвачены об'единяющей философией, может быть более глубоко и широко развернутой, но тем не менее всегда единой и всеохватывающей. И не только у Толстого, но и у всякого другого художника в каждом произведении сказывается установка на некоторый вполне определенный оформляющий „смысл“. Автор, как бы он ни был „об'ективен“, всегда обнаружит собственное отношение к вещам. Вся разница в искусстве, с каким это сделано.

Остановимся на минуту на тех писателях, которых считали наиболее „об'ективными“.

Гончаров, искавший оправдания своим романам в том, что они „отражают жизнь“, убеждавший в том, что „ни он, а происшедшие у всех на глазах явления обобщают его образы“, что он только „следил, смотрел и писал и даже не думал, что вбирают в себя лица и явления, окрасившиеся в краски момента, и как воспринял, так и выдает их назад, т. е. кладет на бумагу“, Гончаров, чтивший—заповедь „sine ira“, как закон об'ективного творчества, и считавший последним совершенством своих образов их „верность действительности“ и „типичность, отражающую, как в зеркале и явления общественной жизни, и нравы, и быт“, ²⁾—тот же Гончаров прекрасно

¹⁾ Г. Плеханов „Н. Г. Чернышевский“. СПб. 1910, с. 216.

²⁾ И. Гончаров „Лучше поздно чем никогда“, Собр. соч., изд. Маркса, I, с. 68, 69, 58, 66, 69.

знал и учил, что „у действительности свои законы, а у искусства свои“, и учитывал всю относительность своих выражений об „объективном отражении“. ¹⁾ Он учил Валуева о независимости художественного правдоподобия от действительности ²⁾, говорил о тайне „изобретения и создания сходств“ и „подобий правды“, ³⁾ изгонял вредные и ненужные „излишества в описании подробностей“ указывал, что художник должен уметь выбрать нужное ему, устранить бесполезность „фотографически верного снимка“, „осмыслить картину“, ⁴⁾ облить ее „светом своей личности, увидеть и показать *свое* отражение вещей“ ⁵⁾

Флобер, законодатель „объективного“ искусства, ригорист „безличности“, в своем собственном творчестве, конечно, не дал примера „безличного“ искусства, и так же, как и другие, вложил в свои произведения и свое понимание людей и свою философию, да и в самой теории „безличность“ понимал лишь в смысле *незримости* автора для читателя, т. е. об отсутствии автора лишь в читательской иллюзии. ⁶⁾

Как на высший пример „объективности“ указывали на Мопассана. В нем будто бы не было „ни симпатии, ни антипатии, ни удивления, ни презрения, ни насмешки“; он не мыслил, только наблюдал; его мозг это—машина, лишь вбирающая и отражающая действительность“. ⁷⁾ Но сам Мопассан знал о себе иное. Как и всякий другой писатель, он „неизбежно в своих работах проводил свои личные взгляды, ему присущие“, и его возрения на мир, он рекомендовал искать прежде всего в его книгах. ⁸⁾ Целью романиста он считает не только рассказать историю и взволновать читателя, но „заставить его мыслить и понять глубокий и скрытый

¹⁾ См. письмо к Валуеву 6 июня 1877 года: „Автор может быть скажет, что он видел такую сцену и слышал этот вопрос. Нужды нет: сцена тем не менее остается психологически неверною. Это не мемуар, а роман. У действительности свои законы, а у искусства свои.“ (К. Военский, „Гончаров в неизданных письмах к гр. Валуеву. СПб. 1906 г, с 33.)

²⁾ Художник „должен писать не с события, а с отражения, его в своей творческой фантазии, т. е. должен создать правдоподобия, которые бы оправдывали события в его художественном произведении.“ (К. Военский, с 32—33.)

³⁾ „Заметки о личности Белинского“ Сочинения, изд. Маркса, т. XI, с 160. „Лучше поздно, чем никогда“ Сочинения, т. I с. 81.

⁴⁾ Письмо Валуеву 6 июня 1887 г. *Военский*, с. 18.

⁵⁾ „Лучше поздно, чем никогда“, с 81.

⁶⁾ „L'auteur dans son oeuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part“. *Correspondance*, 2-me série, p. 155.

⁷⁾ „C'était, comme diraient les Allemands, un esprit essentiellement objectif. Il regardait; et il ne savait peindre que ce qu'il voyait. Son cerveau était avant tout une machine à découper dans la réalité qui se déroulait devant lui les choses, petites ou grandes, susceptibles d'être détachées et de former tableau“. *Emile Faguet. Propos Littéraires. Troisième série. Paris. 1905, p. 196.*

⁸⁾ „Один писатель, чуткий и глубокий писал обо мне, что он хотел бы знать мои собственные взгляды на мир, который я изображаю. Он их найдет в моих книгах. Каждый автор неизбежно в своих работах проводит свои личные взгляды, ему присущие“. „Мопассан в интимной жизни“. *Воспоминания Х. Совр. Мир. 1913 г. август, стр. 216—217.*

смысл событий“. 1) „Совершенство его (автора) плана не в эмоции, не в интригующей завязке, не в волнующей катастрофе, а в искусной группировке обычных мелких фактов, откуда и раскрывается окончательный смысл произведения“. 2)

Не составляет Чернышевский исключения и в *сознательном* предусмотрении общего направления и содержания своего романа. Мысли и общее понимание вещей, обнаруженные в романе, были им продуманы раньше и не раз высказывались в публицистических статьях. Но случаи подобной осознанности творческих намерений наблюдаются сплошь и рядом. Достоевский пространно говорил о своих замыслах еще ненаписанных романов, об их „идее“ или „мысли“, он же писал характеристики своих будущих персонажей с ясной формулировкой того, что имел в виду ими высказать. Его публицистика в главном всегда предваряет или повторяет тенденции романов. Л. Толстой сам обстоятельно объясняет „мысль“ своего рассказа „Три смерти“. Собираясь писать роман о декабристах, он наперед высказывает, что имеет в виду там „доказать“. Роман „Война и мир“ сопровождается идеологическим комментарием. Чехов пространно объясняет внутреннее идеологическое содержание своей пьесы „Иванов“. Бальзак заранее пишет программу для серии романов „Человеческая комедия“.

Наличность тематической выдержанности, преднамеренность замысла, искусственность в подборе персонажей и их отдельных свойств, сознательное стремление воздействовать на читателя в определенном направлении,—сами по себе еще не лишают произведение живой художественности и не мешают полноте и свежести читательской иллюзии. Без „тенденциозности“ немисливо никакое произведение, и если роман „Что делать?“ дает особенно резкое впечатление компрометирующей преднамеренности, то это обусловлено не тем, что он скомпонован в некоторой идеологической тенденции, а лишь его общей художественной недостаточностью.

Художественное произведение, несет совокупность своего тематического наполнения через обрисовку самих картин и образов. Логика, целостность и конечный смысл каждого из персонажей в отдельности и общий смысл и устремление целого обнаруживается в самом сопоставлении слагающихся звеньев. Поставленные рядом, обвеянные непрерывной, скрытой эмоцией, лица, образы, эпизоды и картины, сами, непосред-

1) „Son but n'est point de nous raconter une histoire, de nous amuser ou de nous attendrir, mais de nous forcer à penser, à comprendre le sens profond et cache des événements“ Guy de Maupassant. Préface de „Pierre et Jean“. Paris. 193, p. 8.

2) L'habileté de son plan ne consistera donc point dans l'émulsion ou dans le charme, dans un début attachant ou dans une catastrophe mouvante, mais dans le groupement adroit de petits faits constants d'où se dégagera le sens définitif de l'oeuvre“. (ibid, p. 9).

ственно, одним взаимным соотношением ведут общую диалектику целого. Понимание психики здесь выливается в живом обнаружении всей глубины индивидуальных переживаний самих действующих лиц. Через созерцание и сопереживание их состояний, каждого в отдельности и всех вместе, раскрываются сами собою тематические линии замысла. Тема не существует вне рисунка и сама собою вырастает из эмоционально-художественного переживания непосредственно данной конкретности.

В романе Чернышевского все дано в логике отвлеченной мысли. Здесь все высказано готовыми рассуждениями и отвлеченной схемой. Имеющиеся блески живого художественного выражения настолько погружены в обнаженную теоретичность, что роман перестает быть романом и превращается в публицистическую статью. Вот почему „Что делать?“ нельзя рассматривать и судить вместе с произведениями художественными в собственном смысле слова. Чернышевский, хоть и писал роман, но, очевидно, сознательно, в своих целях принимал рассудочные формы выражения. Форма романа для него была лишь „прикрасой“, прикрытием, удобной оберткой, в которой с наибольшей безопасностью (в цензуре) и успехом (у читателей) можно было провести его мысли, искавшие, в сущности, лишь публицистического обнаружения.

IX.

Жизнь оправдала надежды Чернышевского. Художественная недостаточность не помешала роману „Что делать?“ овладеть сознанием современников, проникнуть в их сердца и возбудить волю к делу.

В многообразной сложности исторического процесса трудно учесть долю созидательного участия отдельного звена и тем более такого невесомого фактора, как литературное произведение. В пересекающихся линиях всесторонних воздействий жизни теряются грани и русла частных одиночных впечатлений.

Освободительные идеи выбрасывались самою жизнью. Идеи социализма, давно уже бродившие в кругах передовой интеллигенции, к выходу романа уже имели довольно широкую популярность. Сочинения Сен-Симона, Фурье, Консидерана, несмотря на правительственные преследования, почти перестали быть тайными книгами. Запрещенные в легальном обращении, они густо просачивались в читательский обиход путем скрытой пропаганды. Торговля нецензурованными книгами, вывезенными из за границы, стала особенно выгодным делом; их, вместе с галантерейным товаром, вывозят французские модные лавки, продают мелкие букинисты, разносят ходячки.

Не были откровением и идеи женской эмансипации. „В пятидесяти годах „женский вопрос“ имел за собою уже большую историю, и не только на страницах изящной словесности. Он был теоретически поставлен, обсужден и решен на Западе в целом ряде публицистических очерков, социологических исследований, моральных трактатов, утопических картин, полемических брошюр и резолюций, принятых на разных общественных собраниях“¹⁾. Русская публика, давно уже воспитывавшаяся в этом отношении романами Жорж Санд и ее русскими последователями и последовательницами, имела возможность войти в круг женского вопроса и в его теоретической постановке.

Бывавшие за границей или владевшие иностранными языками читали об этом на страницах Анфантена, Фурье, Консидерана. К концу пятидесятих годов в России уже широко была распространена и известная статья Милля „Об эмансипации женщин“ (1851 г.). Была известна в России и страстная горячая апология женщины Женни Д'Эрикур²⁾. С 1858 года по женскому вопросу уже печатались статьи М. Л. Михайлова на страницах „Современника“³⁾. Здесь принципы безусловного признания за женщиной ее личных и общественных прав находили всю полноту современного теоретического обоснования.

Во всех этих отношениях воздействие романа сливается с общим хором многоголосого исторического дня. Тем не менее, роман в свое время был явлением настолько заметным, настолько ярким, что его историческая роль на общем фоне эпохи сама собою выделяется с особенно резкой значительностью. Чернышевский сумел собрать в свой рупор жгучие чаяния и надежды времени и дать им ясную и практическую формулу. Волновавшие всех освободительные идеи в романе вышли за пределы мечты и теории и наполнили сознание живым стремлением к практическому немедленному приложению. Роман сделался учительной книгой. Он заражал пламенной надеждой на счастье, верой в живую достижимость влекущих идеалов и призывом работать вот теперь, сейчас для их немедленного осуществления. Призывы романа быстро стали программными лозунгами, его картины и характеры превратились в практический план текущего дня.

¹⁾ Н. Котляревский. „Очерки из истории общественного настроения 60-х годов. Женский вопрос в его первой постановке“. „Вестник Европы, 1914, 2, с. 230.—Его же „Канун освобождения“, П. 1916, с. 419—420.

²⁾ Jenny d'Hericourt. „La femme affranchie. Bruxelles—Paris. 1860. Содержание этой книжки русской публике отчасти было известно раньше ее напечатания из статей Михайлова.

³⁾ „Парижские письма“. Современник, 1858, № 9 и 1859, т. LXXIII, № 1.—„Женщины в университете“. Современник, 1861, № 4.—„Д. С. Милья „Об эмансипации женщин“. Современник, 1860, № 11.

Сохранился длинный ряд свидетельств современников о том огромном оживлении, которое роман поднимал в кругу своих молодых читателей. Не касаясь литературно-критических статей, теоретически приветствующих или оспаривающих идеи „Что делать?“, ¹⁾ остановимся лишь на документациях его практического воздействия.

„Для русской молодежи, вспоминает П. Кропоткин, повесть была своего рода откровением и превратилась в программу... Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского: она сделалась своего рода знаменем для русской молодежи“ ²⁾.

„За 16 лет пребывания в университете — говорит П. Цитович, идеологический противник романа — мне не удалось встретить студента, который бы не прочел знаменитого романа еще в гимназии; а гимназистка 5-6 класса считалась бы дурой, если б не ознакомилась с похождениями Веры Павловны. В этом отношении сочинения, напр., Тургенева или Гончарова, — не говоря уже о Гоголе и Пушкине, — далеко уступают роману „Что делать?“ ³⁾.

Роман изучался и обсуждался в кружках, ⁴⁾ в дружеской беседе, в интимном уединении, — его влияние целиком заполняло сердце многих и отражалось на всем укладе их мыслей и практического поведения. „Мы искали в романе программы своей деятельности. Мы читали роман чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малей-

¹⁾ См. об этом ст. *Н. Бродского* „Чернышевский и читатели 60-х годов“. „Вестн. Восп.“, 1914, 9.

²⁾ *Г. Кропоткин*. „Идеалы и действительность в русской литературе СПб. 1907, с. 307.

³⁾ *П. Цитович*. Что делали в романе „Что делать?“. Одесса 1879, с. V. Самое появление этой брошюры П. Цитовича, направленной в „обличение“ романа спустя уже 16 лет со времени его выхода, свидетельствует о том переполохе, который был поднят романом „Что делать?“ в группе охранителей традиционных устоев. — Ср. восторг, с каким это „обличение“ было принято, напр., Б. М. Маркевичем. „Письма *Б. М. Маркевича*“. СПб. 1888, с. 328-331. — Цензурные власти с своей стороны обратили особенно сугубое внимание на роман опять в силу его необычайно сильного и широкого влияния. Автор Валуевского цензурного „Собрания материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие“ подчеркивая „гибельность“ романа, указывает на исключительность его влияния: „Несмотря на всю бедность своего практического идеала и на отсутствие всяких художественных достоинств, роман г. Чернышевского имел большое влияние даже на внешнюю жизнь некоторых недалеких и нетвердых в понятиях о нравственности людей, как в столицах, так и в провинциях. Многие рады были ухватиться за *теорию*, прикрывающую и оправдывающую безнравственность по отношению к брачному союзу: были примеры, что дочери покидали отцов и матерей, жены — мужей, некоторые шли даже на все крайности отсюда вытекающие, появились попытки устройства на практике коммунистического общежития в виде каких-то общин и ремесленных артелей. Всего же хуже то, что все эти нелепые и вредные понятия нашли себе сочувствие, как *новые идеи*, у множества молодых педагогов“... (*Мих. Лемке*. „Эпоха цензурных реформ 1854—1865 годов“. СПб., 1904, с. 488—489. Курсив автора „Собрания“).

⁴⁾ *Е. Н. Ковальская*. (*Солнцева*). „Вступительная статья к „Воспоминаниям“ Л. Б. Гольденберга. „Каторга и ссылка“, 1924, № 3 (10), с. 89.

шей улыбки на уста, с каким читают богослужебные книги. Влияние романа было колоссально на наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на нее, как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм сделался таким образом обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежд, жилищ и пр.“¹⁾

Благодаря роману „Что делать?“ „всюду начали заводиться производительные и потребительные ассоциации, мастерские, швейные, сапожные, переплетные, прачечные, коммуны для общежития, семейные квартиры с нейтральными комнатами и пр. Фиктивные браки с целью освобождения генеральских и купеческих дочек из под семейного деспотизма в подражание Лопухову и Вере Павловне сделались обыденным явлением жизни, причем редкая освободившаяся таким образом не заводила швейной мастерской и не разгадывала вещей снов, чтобы вполне уподобиться героине романа“²⁾.

Один из пионеров нашей кооперации Н. П. Баллин в своих воспоминаниях удостоверяет, что швейная романа „Что делать?“ вызвала в России по крайней мере столько же подражаний, сколько вызвала подражаний Рочдельским пионерам история их, написанная Холиоком“³⁾.

Особенно заметно сказалось влияние романа в области женского движения. Мысль о правах женщины на самостоятельное самоопределение, о выходе ее на общее поле труда, о необходимости ее участия в общем строительстве взаимной супружеской жизни,—тогда еще для многих была новой и невероятной. Женщина должна была завоевать себе права на труд. „Если ничего не делающие мужчины ощущали иногда угрызение совести и встречали иногда осуждение, то ничего не делающие дамы считались решительно явлением вполне нормальным, совершенно законным“⁴⁾. „Роман развернувший нелепость и позор такого положения, указал и пути к его преодолению. „Тысяча дам и девиц пытались открывать артельные мастерские по программе Чернышевского“⁵⁾. Проекты и уставы женских организаций 60-х годов очень близко стоят

¹⁾ Цитируются слова неназванного современника из статьи *Н. Л. Бродского* „Н. Г. Чернышевский и читатели 60-х годов“. „Вестник Воспитания“, 1914, № 9 (декабрь), с. 177-178.

²⁾ *А. М. Скабичевский*, „Первое двадцатипятилетие моих литературных мытарств“. Историч. Вестник, 1910, янв., с. 45-46.

³⁾ *К. Пажитнов*. „Н. Г. Чернышевский, как первый теоретик кооперации в России“. М. 1917, с. 23.

⁴⁾ *Н. Страхов*. „О женском труде“. „Эпоха“, 1864 г., апрель. „Из истории литературного нагизма. 1861-1865“. СПб. 1890, с. 391.

⁵⁾ *Е. И. Щепкина*. „Из истории женской личности в России“. СПб. 1914, с. 299.

к роману и по постановке практических задач и даже по формулировке своих основных исходных принципов¹⁾.

Кроме всего этого, роман имел огромное общее морально-воспитательное значение. Редкая биография революционного деятеля 60—70-х годов не имеет страницы о влиянии романа не только на взгляды и убеждения, но и на формирование самых основ характера, на внутреннюю самооценку и выработку общепсихических индивидуальных свойств.

Об одном из лиц явно „рахметовского“ склада упоминает Е. Н. Ковальская. „Познакомившись с новыми товарищами,—рассказывает она,—мне пришлось услышать странные отзывы об одном из членов бывшего мужского кружка. Говорили о нем с добродушной иронией и в то же время с каким-то особенным уважением; шутили над ним, а в то же время как будто и недоумевали: как относиться к нему. Рассказывали, смеясь, что он, прочтя „Что делать?“ Чернышевского, устроил себе какое-то ложе на гвоздях, желая приучить себя к пыткам. Было ясно, что человек этот не укладывался в обыденные рамки“. ²⁾

Об аскетических рахметовских идеалах в кружках молодежи 60-х годов рассказывал Л. Е. Оболенский. „Рахметов, пишет Оболенский, напоминает их, хотя никто не спал на гвоздях, не отправлялись на Волгу таскать барки вместе с бурлаками“, но один из кружков зимою 1865 года просуществовал ради аскетической закалки в садовой беседке, в страшном холоде, без кроватей и почти без горячей пищи“. ³⁾

Каракозовец П. Ф. Николаев подчеркивает близость рахметовского склада к идеалам и воззрениям каракозовцев и самого Каракозова. „Бесспорно то, пишет он в письме В. Е. Ветринскому, что сближение с мастеровыми, странствование по разным кабакам и притонам, суровая дисциплина в личной жизни, плавание на волжских пароходах Ишутина и Каракозова в качестве водоливов, были до значительной степени навеяны Рахметовым. Эти двое, каждый некоторыми отдельными черточками, безусловно напоминали Рахметова. Каракозов был очень похож на Никитушку Ломова“. ⁴⁾

¹⁾ Ср., напр., проект устава „Петербургского Общества Женского Труда“, напечатанный в вышеупомянутой статье Н. Страхова, с. 393-395.

²⁾ Е. Н. Ковальская (Солнцева), *Op. cit.*, с. 89.

³⁾ Л. Е. Оболенский. „Литературные воспоминания и характеристики“. „Исторический Вестник“, 1902, январь, с. 126.

⁴⁾ В. Е. Чешихин-Ветринский. „Н. Г. Чернышевский“. Петроград. „Колос“. 1923 с. 177. В объяснение запрещения романа Н. Рейнгардт указывал на одно место романа которое правительством при разборе дела Каракозова приняло, как заведомое предумышленное революционных выступлений. „Рахметов, уезжая за границу высказал между прочим, что „года через три он возвратится в Россию, что в России—не теперь, а тогда, года *через три, четыре*,—„нужно ему быть“. „Последняя часть романа была подписана 4 апр. 1863 г. Ровно через три года 4 апр. 1866 г. раздался выстрел Каракозова“ (Н. Рейнгардт. „О Чернышевском“. Совр Слово, 1911, 19 сент., № 1331). Раньше на это, место романа, как на пророческое предвидение, указывал Скальковский (Новое время 194 г., № 10303), хотя он имел в виду промежутки между романом и Каракозовским вы-

В подражательном следовании роману, конечно, были свои неровности, углы и ошибки. Многое делалось излишне торопливо, спеша и волнуясь, с наивным наскоком беззаветности и прямизны. Иногда выходило опрометчиво, жизнь усложняла чистые страницы теории, иногда сламывала доверчивые намерения и рушила жар желаний. Например, в семейном быту требование свободы и независимости каждого члена семьи перетолковывалось в отрицание всякого проявления нежности и в напускную холодность. Погоня женщины за самостоятельным заработком тоже иногда принимала уродливые формы. „Боязнь, что кто-нибудь назовет ее „законной содержанной“, „наседкой“,—эпитеты, которые в таких случаях были в большом ходу,—мешали поступить так, как подсказывали ей опыт и собственное сознание. Но когда трусость, рабство и другие черты характера, унаследованные еще от очень недавних времен, стали ослабевать, женщина начала более разумно относиться к заработку“. ¹⁾

В устройстве мастерских также происходили ненормальности или оттого, что у организаторов были неумелые руки, или потому, что участники рвали дело постоянными, хотя и доброжелательным вмешательством в его внутренний ход, или вносились непредвиденные осложнения общими устоями и привычками прежней жизни.

Много было всяческих неприятностей, а иногда и страданий от поспешной неосмотрительности и доверчивости в фиктивных браках, в беззаветном, но, по выполнению, наивном спасании женщин из домов проституции. Многие головы и сердца были разбиты лишь потому, что свободный порыв наталкивался на непреодолимые ограничения государственных законоположений (зависимость жены от мужа, трудность развода и т. п.). Е. Водовозова в интересных воспоминаниях рассказывает несколько ярких случаев тяжелых ушибов жизни, перенесенных ревностными последователями программы „Что делать?“. Но она же свидетельствует, как отслаивалась в русле жизни здоровая сторона возникших изменений,

стрелом не в 3, а в 4 года (ошибочно датируя роман 1862-м годом). Что касается этих пророческих дат, все это, очевидно, является праздным домyslom, но несомненно, что в связи с делом Каракозовцев роман уже был понят правительством, как произведение особенно „вредное“ и „гибельное“. „Роман этого преступника (т. е. Ч-го) „Что делать?“,—говорилось в приговоре верховного уголовного суда по делу Каракозовцев—имел на многих подсудимых самое гибельное влияние, возбуждив в них нелепые противобщественные идеи“ (Приговор цитируется по кн. В. Ветринского „Н. Г. Чернышевский“ 1923, с. 175).—В „Собрании материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие“, составленном и изданном по приказу министра Валуева в 1865 г. в качестве руководства для цензурных учреждений, о романе „Что делать?“ дан резко отрицательный отзыв, как о сочинении распространяющем „вредные и нелепые понятия“ (М. Лемке. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. СПб, 1904, с. 487—489).

¹⁾ Е. Н. Водовозова „Среди петербургской молодежи шестидесяти годов. Из личных переживаний“. „Современник“. 1911, кн. VI, с. 341. То же отделение „На заре жизни“ СПб. 1911, с. 581.

как жизнь постепенно принимала в себя новые формы, отстаивала в новые привычки то, что прежде казалось столь чуждым и невозможным. „Сталкиваясь с курьезами в жизни молодого поколения, многие обвиняли в этом роман „Что делать?“, который был тут не при чем; обвиняли и все движение этой эпохи, совершавшей великое дело обновления русского общества. Правда, иное неразумное и непродуманное применение новых идей и рабское подражание действующим лицам романа „Что делать?“ приносили иногда некоторый вред, но в то же время они вызывали и всестороннее обсуждение: постепенно острые углы сглаживались, а новые принципы мало по малу всасывались в кровь и плоть русского человека“. ¹⁾

Шли годы. Правительство, разглядевшее в романе своего врага, наложило на него запрет. Роман сошел в подпольную литературу. Учащиеся в школах тяжело преследовались за чтение романа. Но его распространение не приостанавливалось. Получить роман, правда, с течением времени становилось все затруднительнее. Книжки „Современника“, в которых он был напечатан стали библиографической редкостью. Там, где не оказывалось возможности получить печатные экземпляры романа, он с любовью переписывался от руки. ²⁾

Менялась жизнь страны. Освободительные идеи, несмотря на противодействие правительства, распространялись все шире и проникали в легальную печать. Многие в романе, что прежде казалось опасным и страшным, должно было бы отойти и побледнеть перед новыми яркими и более свободными картинами, лозунгами и призывами. Печатались утопические фантазии Беллами, Уэльса, Безант и др. И сама жизнь во многом уже опережала мечту романа (женское образование, например). Еще менее кому-нибудь могла бы казаться предосудительной скромная сексуальность некоторых страниц романа. „Рассказ Крюковой,“ суждения о проституции, о половом наслаждении давно уже потонули в общем море европейских и русских романов, повестей и рассказов на эту тему (напр., романы Золя, у Толстого Катерина Маслова, у Гаршина Надежда Николаевна, эротика уже пришедших „декадентов“). Роман Чернышевского продолжал оставаться под запретом. Попрежнему ходили по рукам зачитанные до дыр старые пожелтевшие страницы „Современника“, попрежнему подростки их читали, таясь и уединяясь. И было в этой тяге к роману

¹⁾ *Е. Водовозова*. *Op. cit.* Современник, 1911, VI, с. 340.— „На заре жизни“, с. 579.

²⁾ О трудностях получения печатного текста романа см., наприм., в воспоминаниях *Е. Водовозовой* (*Op. cit.*, Современник, с. 341, *Волжского* (Вопросы жизни, 1905, № 6, 236) По поводу нового издания романа *М. Ф. Волкенштейн* в частном письме писал Мих. Ник. Чернышевскому: „в 1874 году я и покойный Зельманов собственноручно переписали „Что делать“, так как во всем Харькове был лишь один экземпляр этого произведения“ (письмо от 5 ноября 1906 г., хранится в Сарат. Музее Н. Г. Ч-го).

уже больше почетной традиции, любопытства, жажды запретного, чем действительно живой, новой и незаменимой духовной пищи. ¹⁾

Запрет снят был лишь в 1905 году. И тем, кто в свое время для прочтения романа принужден был переживать бесконечные затруднения и страхи, долго казалось странным видеть новое издание его „на виду у всех“, в „ярко-освещенных витринах“ и „таким доступным для всех“.²⁾

Многое из теоретической построений романа отваялось жизнью. Современное сознание далеко ушло от его упрощенных формул. Чернышевский еще не знал подлинных корней и артерий сложного социального бытия, он слишком много верил в арифметические выкладки разумности и принуждающую закономерность жизни подменил приоритетом рассудительного расчета. Подчиняя жизнь разуму, он в теории легко устранил ее толчки и изгибы. Для современного читателя научно-социалистической литературы роман с этой стороны звучит только как светлая сказка.—Тем не менее его общественно-воспитательная миссия и до сих пор продолжается. Его общественный энтузиазм, его гимн труду, его призыв к просторам свободы, его критика обветшалых традиций—и до настоящего времени сохраняют свое вдохновляющее значение.

А. Скафтымов.

¹⁾ Ср., напр., *Русанов*, „Русское Богатство“, 1905, № 3.

²⁾ *Волжский* „По поводу нового издания романа Чернышевского „Что делать?“ „Вопросы жизни“, 1905, VI, с. 236 - 237.

Из литературных отношений Н. Г. Чернышевского к И. И. Барышеву-Мясницкому. ¹⁾

I.

Чернышевского и Барышева-Мясницкого столкнуло дело по изданию перевода Всемирной Истории Вебера в 80-х годах прошлого столетия.

По возвращении из ссылки, в октябре 1883 г., Чернышевский намеревался заняться усиленным литературным трудом. Долгие годы он лелеял эту мысль и неоднократно высказывал ее в письмах к родным. Теперь перед ним особенно ясно и остро встал вопрос о необходимости содержать больную жену и возместить друзьям и родным те убытки, какие были вызваны их помощью его семье во время его „долгой безработицы“ ²⁾. Будущая работа Николая Гавриловича должна была делиться на два отдела: в журналах он разрабатывал бы вопросы философии и всеобщей истории, а для заработка специально занялся бы беллетристикой и даже книгоиздательством.

В архиве музея Чернышевского сохранился листок с перечислением этих предполагаемых работ. Приводим его целиком:

„1. Романы без числа.

2. Издание громадного сборника всех порядочных повестей и романов таких писателей, которые не могут надеяться на распродажу своих произведений отдельными изданиями или писали очень мало.

3. Антология большого размера.

№№ 2 и 3 печатаются по соглашению с авторами с выгодными для них условиями раздела прибыли.

4. Если может распродаваться быстро, то новое издание политической экономии Милля. Я переделал бы текст Милля по своим понятиям о вещах, делая подстрочные оговорки о том, в чем разница между оригиналом и моей переделкой.

5. Ученые статьи, какие нужны для журналов.

6. Переводы.

¹⁾ Предлагаемая статья воспроизводит доклад, читанный автором в заседании Областного Нижне-Волжского Научного О-ва Краеведения, в память 35-летия со дня смерти Н. Г. Чернышевского 9 ноября 1924 г. В основание статьи легли неизданные материалы, хранящиеся в архиве музея имени Чернышевского.

²⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к А. Н. Пылину от 7 ноября 1883 г.

Вся важность для меня—получать деньги, чтобы жить и расплатиться с долгами ¹⁾).

Дело готов иметь со всяким честным человеком, издающим честный журнал или честные книги. имеющим деньги на авансы мне“.

Как же случилось, что все эти планы бесчисленных романов, громадных сборников, больших антологий и т. п. свелись в конце концов к удивлявшей впоследствии историков Чернышевского работе—переводу Всемирной Истории Вебера?

Чернышевский уже слишком оторван от родной почвы, которую покинул 19 лет тому назад. Ему необходимо выяснить, нужна ли его работа, пригоден ли он в качестве сотрудника журналов, не думают ли, что он устарел ²⁾. Он просит А. Н. Пыпина навести нужные справки и помочь в доставлении работы ³⁾. Единственное, что может сделать Пыпин—это достать Чернышевскому через М. А. Антоновича и Л. Ф. Пантелеева переводы. Таким образом, Чернышевский перевел Шрадера „Сравнительное языкознание“, Карпентера „Энергия в природе“ и Спенсера „Основные начала“. Они не удовлетворяют его. Это все не то, это „грошовая работа“, ⁴⁾ в голове грандиозные планы и неугасимая жажда самостоятельного творчества. Однако, дело представляется сложным, так как, по последним распоряжениям правительства, лица, находящиеся под надзором полиции, не имеют права заниматься литературой ⁵⁾. Пыпин, пострадавший за свои либеральные воззрения и за родство с Чернышевским при избрании его в академики в 1871 г., не мог рассчитывать на успешный результат хлопот в этом направлении. Вопрос о возможности жить Чернышевскому литературным заработком решился лишь тогда, когда за него взялся безукоризненный в глазах правительства А. В. Захарьин,—в октябре 1884 г., т. е. ровно через год по возвращении Н. Г. из ссылки. Прежде, чем думать о возобновлении литературной деятельности, Чернышевскому необходимо было выяснить условия, при каких она теперь возможна ⁶⁾. От А. В. Захарьина он узнал, что издатели журналов и желали бы иметь его своим сотрудником, но, вместе с тем, боялись за судьбу своих журналов и опасались стеснений со стороны цензуры, которым могли подвергнуться при таком сотрудничестве ⁷⁾.

¹⁾ Судя по этой фразе, М. Н. Чернышевский относил всю заметку к концу 1883 или началу 1884 г. и считал этот листок отрывком письма Чернышевского к А. Н. Пыпину.

²⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к А. Н. Пыпину от 19 ноября 1883.

³⁾ Тоже.

⁴⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к М. Н. Чернышевскому от 4 февраля 1884.

⁵⁾ Письмо А. В. Захарьина к Н. Г. Чернышевскому от 22 ноября 1884.

⁶⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к А. В. Захарьину от 30 октября 1884.

⁷⁾ Письмо А. В. Захарьина к Н. Г. Чернышевскому от 8 октября 1884.

Захарьин обратился к Главному Начальнику по делам печати Феоктистову, тот направил его в Департамент Госуд. Полиции, и там Захарьину предложили написать докладную записку для представления министру Дурново. ¹⁾ Эта записка была составлена А. Н. Пыпиным и подана Захарьиным. Приводим ее целиком:

Его превосходительству
Господину Директору Департамента
Государственной Полиции
Петру Николаевичу Дурново

Во исполнение желания Вашего Превосходительства имею честь представить краткую докладную записку по делу Н. Г. Чернышевского.

Имеv случай, как давний хороший знакомый, видеться с Н. Г. Чернышевским прошлым летом в г. Астрахани, где я был по своим коммерческим делам, я видел сам и слышал от него об его тягостном положении. Возвращенный высочайшею милостью из г. Вилюйска, Чернышевский поселился в назначенном ему месте жительства с семейством (с ними живет его жена и некоторое время при нем были и его два сына), и тотчас должен был испытать крайне тяжелое материальное положение. До сих пор его семейство существовало некоторыми остатками прежних средств и помощью родных; теперь Чернышевский, поселившись вместе с семьей, в крайней степени угнетен был невозможностию работать для содержания ее и для какого либо обеспечения ее в будущем. Он сохранил еще силы для работы,—единственной, которая была ему привычна и возможна,—работы литературной. Но с одной стороны он не знал мнения начальства об этом предмете; с другой—не желал что либо предпринимать без ведома и разрешения начальства, наконец считал непозволительным предложить свои работы каким либо повременным изданиям, что без ведома Главного Управления по делам печати могло бы ставить эти издания в неудобные отношения, да и сами они никак не решились бы помещать его труды. если бы не было выяснено, как смотрит на этот предмет цензурное ведомство и само высшее правительство. При моих разговорах с Чернышевским нынешним летом мне вполне выяснилось это его по истине безвыходное положение, и он просил моего содействия для разрешения его неопределенного и тягостного положения. Он хотел прислать мне некоторые свои работы для представления в Главное Управление по делам печати, чтобы в

¹⁾ Письмо А. В. Захарьина к Н. Г. Чернышевскому от 22 ноября 1884 г.

случае дозволения предложить их для напечатания в каком либо повременном издании. Его твердое намерение было бы, чтобы ни одна строка его сочинений не явилась без ведома и разрешения цензурной власти.

Вследствие сего, я, получив недавно от Чернышевского написанное им стихотворное сочинение, представил его его превосходительству г. Начальнику Управления по делам печати ¹⁾. По рассмотрении его, г. Начальник Главного Управления нашел, что к напечатанию его в каком либо повременном издании не представляется со стороны цензуры никакого затруднения, с исключением только имени автора и заменой его псевдонимом; а по общему вопросу обратил меня к вашему превосходительству.

По всему вышеизложенному я решаюсь беспокоить ваше превосходительство просьбой войти в крайне стеснительное, можно сказать безвыходное положение Чернышевского и его семейства и разрешить ему занятия литературным трудом, единственным для него возможным, причем труды Чернышевского по его собственному желанию, представляемы были бы каждый раз на предварительное рассмотрение Главного Управления по делам печати и появлялись бы в свет под каким будет угодно цензуре именем или даже и вовсе не подписанными.

На вопросы, предложенные вашим превосходительством, позволяю (себе) еще добавить некоторые сведения. Дом, принадлежащий семейству Чернышевских в г. Саратове, ²⁾ есть небольшой дом (в одну квартиру) отдаваемый в наем и приносящий, за расходами, никак не более 200 или много 300 р.— Сыновья Чернышевского, — один кончивший курс кандидатом университета по математическому факультету; ³⁾ другой, не окончивший курса в университете, ⁴⁾ до сих пор встречали затруднение в приискании мест—вследствие носимой ими фамилии. Старший получил было недавно место домашнего учителя в русском семействе, ⁵⁾ отъезжавшем за границу, но в начале сего ноября, должен был возвратиться в Петербург, подвергшись сильному нервному расстройству, требующему необходимого правильного лечения (на что собственных средств не имеет),—о чем еще неизвестно его родителям.—В г. Астрахани, как я сам то видел, Чернышевский живет весьма уединенно, не имеет и не желает иметь никаких знакомств, и

¹⁾ Речь идет о стихотворении Чернышевского „Гимн Деве Неба“, которое автор просил Захарьина представить в цензуру для выяснения вопроса о возобновлении его литературной деятельности (см. письмо Н. Г. Чернышевского к А. В. Захарьину от 30 октября 1884).

²⁾ Ныне музей имени Чернышевского.

³⁾ Александр Ник. Чернышевский.

⁴⁾ Михаил Ник. Чернышевский.

⁵⁾ В семействе железнодорожника В. Ф. Голубева.

отдается исключительно семейству и своим книжным занятиям. ¹⁾

22 ноября 1884.

Сначала хлопоты Захарьина как будто увенчались успехом. Вопрос был выяснен. Правительство поставило Чернышевскому условием—предварительную цензуру (через А. В. Захарьина) и псевдоним. „Главным условием поставлено,—сообщает Чернышевскому Захарьин,—чтобы появление Ваших статей не было встречено какими нибудь неразумными писателями излишней болтовней или овациями и чтобы псевдоним не был разоблачен“. ²⁾

Итак, оставалось писать и печататься. Но здесь встретилось главное затруднение. Где печататься? Наиболее солидный журнал того времени „Вестник Европы“, возглавляемый Стасюлевичем, отнесся более, чем сдержанно к печатанию даже переводных статей Чернышевского. ³⁾ Издание „Заграничного Вестника“, предпринятое было Рагозиным в 1884 г., так и не состоялось,—а Захарьин выхлопотал было привлечение Чернышевского к сотрудничеству в этом журнале. ⁴⁾ С „Русской Мыслью“ отношения завязались лишь в июле 1888 г. ⁵⁾ Чернышевскому стало ясно его подлинное положение в литературном мире: печать, наложенная на его имя, сыграла свою роль за 19 лет ссылки. Никто не встречал его с распростертыми объятиями, никто не приглашал его, и он понял, что все его огромные литературные замыслы, бывшие его единственной поддержкой в Вилюйской тюрьме, должны растаять в мертвой тишине.

А между тем, Николаю Гавриловичу грозила нужда. Кроме него, некому было содержать его большую жену и психически-заболевшего старшего сына Александра. Второй сын Михаил, в это время находился без места.

Тогда Чернышевский, видя, что наиболее доступной для него работой являются переводы, задумал предпринять перевод какого-нибудь многотомного издания. Наиболее подходящим для этого трудом ему показалась Allgemeine Weltgeschichte für die gebildeten Stände v. Georg Weber, Leipzig 1857—1882 (Всеобщая история для образованных сословий, Георга Вебера) в 16 тт. Чернышевский судил о ней по отзывам немецких историков и выбрал за следующие качества:

- „1. Дельность;
2. Преобладание фактичности над тенденциозностью;

¹⁾ Оригинала записки, так же, как и указаний на ее местонахождение, в музее не имеется. Записка приведена в том виде, как она скопирована М. Н. Чернышевским в приложении к письмам Чернышевского 1884 г., т. е. без подписи.

²⁾ Письмо А. В. Захарьина к Н. Г. Чернышевскому от 27 ноября 1884.

³⁾ Письмо А. В. Захарьина к Н. Г. Чернышевскому от 9 февраля 1885.

⁴⁾ То же от 8 октября 1884.

⁵⁾ Письмо В. А. Гольцева к Н. Г. Чернышевскому от 1 июля 1888.

3. Большой объем (чтобы это было солидное денежное, а не грошовое предприятие;

4. То, чтобы книга была покупаема публикою".¹⁾

Чернышевский обратился к Захарьину с просьбой хлопотать у какого нибудь солидного книгопродавца-издателя о предоставлении ему этой работы²⁾. По наведении справок, Захарьин и Пыпин сообщают Николаю Гавриловичу, что книгопродавцы затрудняются печатать такое громоздкое издание, к тому же находят книгу запоздалой.³⁾ Преподаватели всеобщей истории, с которыми советовался один из издателей, тоже относятся к Веберу неодобрительно.⁴⁾

Чернышевский бросает мысль о Вебере. 2-го декабря 1884 г. он пишет об этом Захарьину, а 7-го марта 1885 г. первый том Вебера уже лежит у него на столе, и к Захарьину летят первые 76 страниц перевода.

Николаю Гавриловичу пришел на помощь известный московский издатель — меценат, Козьма Терентьевич Солдатенков. Перевод Вебера был его „пожертвованием“ Чернышевскому. Последний всегда это чувствовал и страдал от сознания, что приносит Солдатенкову убыток.

Между тем, Захарьин принимает на себя цензурные хлопоты и в этом деле. Он вступает в переговоры с начальством иностранной цензуры относительно перевода Вебера именно Чернышевским и получает любезный ответ, что „кроме тех мест, которые изображают не совсем приличную картину русской истории в эпоху прошлого столетия, препятствий к изданию остальной части нет никаких“.⁵⁾

II.

Посредником в денежных отношениях Чернышевского к Солдатенкову явился, Иван Ильич Барышев-Мясницкий.⁶⁾

Иван Ильич пользовался неограниченным доверием Солдатенкова, который поручал ему заведывание денежными делами своей фирмы. На этой почве между Чернышевским и

1) Письмо Н. Г. Чернышевского к А. Н. Пыпину от 31 октября 1884.

2) Письмо Н. Г. Чернышевского к А. В. Захарьину от 30 октября 1884 г.

3) Письма к Н. Г. Чернышевскому — А. Н. Пыпина от 17 ноября 1884 и А. В. Захарьина — от 22 ноября 1884.

4) Письмо А. Н. Пыпина к Н. Г. Чернышевскому от 4 декабря 1884.

5) Письмо А. В. Захарьина к Н. Г. Чернышевскому от 7 апреля 1885.

6) Автор мелких юмористических рассказов из купеческой среды и стихотворений печатавшихся им в „Стрекозе“, „Будильнике“ и др. журналах с конца 70-х гг. В 90-х гг. эти рассказы составляют уже около 2-х десятков сборников и создают автору славу „Московского Лейкина“. Мясницкий известен и как драматург; комедии его пользовались большим успехом, как на столичных, так и провинциальных сценах. В Саратове 2 года тому назад в театре имени Чернышевского ставилась его „Старообрядка“, привлекавшая особенное внимание публики и лишней раз доказавшая, что талант Мясницкого может ответить и нашей бурной переходной современности, хранящей в себе остатки прошлого, нуждающегося в обличении. Перу Мясницкого принадлежали также повести и романы, напр. „В царстве ситца“ „Мануфактур-советник“ и др. Об одном из этих романов, повидимому и идет речь в переписке Мясницкого с Н. Г.

Барышевым возникла переписка, сначала чисто официальная. Барышев небольшими записками извещал Николая Гавриловича о получении от него известного количества листов перевода и об отсылке гонорара за них. Чернышевский, в свою очередь, сообщал о получении денег и об отправке в Москву следующей части перевода.¹⁾ На 1888 год падает наибольшее количество писем с той и другой стороны. В это время отношения корреспондентов из официальных становятся дружественными. Поводом к их сближению послужил приезд в Астрахань одного знакомого Барышева.

— „Бывши здесь, доставил мне удовольствие и честь своего знакомства Василий Егорович Грачев, человек действительно превосходный,—сообщает Чернышевский Ивану Ильичу,—в разговорах со мною о Вас, он сообщил мне, что Вы не чуждаетесь литературных занятий. Если не представляет для Вас затруднения, то я просил бы почтить меня присылкой Ваших литературных трудов. Я не имею случая видеть изданий, в которых помещаются они. А я желал бы ознакомиться с характером Вашего таланта“.²⁾

— „С нынешнею почтою,—отвечает Барышев,—я отправил Вам книжку моих рассказов; простите, что не могу выслать других, т. к. у меня в наличности не оказалось. Сердечное Вам мое спасибо за Ваше любезное участие к моим досугам. В. Е. Грачев слишком ко мне добр: если бы я придавал какое либо значение своим произведениям, я бы давно их выслал Вам. Мое многолетнее знакомство с „Замоскворечьем“ дало мне материал для моих фотографических картинок; что они верны действительности жизни—об этом никто спорить не станет; что они легко прочтутся и так же легко забудутся—в этом уже я не сомневаюсь. Но что делать: всякий делает, что может, и поэтому не судите строго фотографа за то, что у него портреты выходят далеко не такими, как у художника. Еще раз говорю Вам мое задушевное спасибо за Ваше милое участие“.³⁾

Живя в Астрахани, Чернышевский называл себя „жителем того самого острова, на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо со своим другом Пятницею“. Он не был лишен „нежных приятностей дружбы“, но астраханские друзья его были Пятницами. Они не возмущали его душевного покоя никакими литературными делами. Разговоры шли о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромыш-

¹⁾ Вся переписка, которою располагает Музей Чернышевского, складывается из 113 писем (с 28 декабря 1885 по 4 октября 1889 г.); на долю Чернышевского приходится 73 письма (из них одно—от 9 дек. 1888—имеется только в копии), а Барышева—40 писем.

²⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к И. И. Барышеву от 19 июня 1888.

³⁾ Письмо И. И. Барышева к Н. Г. Чернышевскому от 2 июля 1883.

ленников цены на нее, сколько привезено хлопка и фруктов из Персии и т. п. Литературные дела для Чернышевского— „ассирийские и вавилонские дела“, и он „подобно учителю уездного училища в „Ревизоре“ рассуждает об ассириянах и вавилонянах флегматично.¹⁾ И вот, старого ветерана литературы, уже свыкшегося со своей горькой ролью одинокого поденщика на том поприще, которое когда то стяжало ему чуть не мировую славу, судьба побаловала последней радостью: он увидел, что еще может быть полезен молодому поколению, как литературный наставник.

В архиве Музея имени Чернышевского не имеется писем Николая Гавриловича к Барышеву по этому предмету, но по имеющимся документальным данным Музея можно установить их существование, содержание и количество. Таких писем Чернышевского было два.²⁾

В письме без даты, но с пометкой М. Н. Чернышевского „около 23 июля 1888“, Чернышевский напоминает Барышеву о своей просьбе и об обещании Барышева написать ему (Чернышевскому) о себе самом.

Это—первое указание на первое из несохранившихся писем.

Далее, Барышев присылает „рассказ о самом себе“. В нем вторично упоминается о предыдущем несохранившемся письме Чернышевского. Позволим себе привести это письмо Барышева, с небольшими сокращениями в конце.

Москва.

25 июля 1888 г.

Глубокоуважаемый

Николай Гаврилович!

Простите, что за недосугом не мог отвечать тотчас же на Ваше доброе и милое письмо. Шлю Вам мою сердечную благодарность за него и в особенности за Ваше внимание к моим маленьким трудам, которым, повторяю еще раз, я не придавал и не придаю никакого значения. Говорить Вам о

¹⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к А. Н. Пыпину от 10 августа 1888.

²⁾ После смерти К. Т. Солдатенкова, М. Н. Чернышевский обратился к И. И. Барышеву, назначенному душеприказчиком К. Т.—ча, с просьбой о содействии к получению писем Н. Г. Чернышевского к Солдатенкову от наследников покойного. Барышев обещал свое содействие, но получить вышеупомянутых писем так и не удалось, п. ч. наследник К. Т., В. А. Солдатенков скоро умер, не успев разобрать архива К. Т., а вдова В. А. уехала за границу, и письмо к ней М. Н. Чернышевского от 6 февраля 1913 г. с той-же просьбой, „осталось не отправлено по совету А. В. Печковского“, как гласит карандашная заметка М. Н. на конверте, хранящемся вместе с письмом в архиве Музея.— Но Барышев проявил чрезвычайную отзывчивость в деле собирания М. Н.—чем материалов об отце и в марте 1911 г. прислал ему собрание писем Н. Г. к нему, Барышеву.—30 марта 1911 г. он писал М. Н. по поводу этих писем:... „Посылаю Вам все, кроме двух писем, относящихся к моей лично литературной деятельности и оставленных мною на память о человеке, которого я искренно любил и уважал“.—Этими строками подтверждаются и наши архивные разыскания.

том, что я буду несказанно рад Вашей беседе, было бы совершенно излишним: я давно уважаю Вас и как человека, испытавшего многое, и как мыслителя. Каждый Ваш совет, каждое доброе слово будут мною приняты с глубокою признательностью. Отвечаю Вам на Ваши вопросы по порядку. Вы спрашиваете: „бывали ли у меня в мыслях планы больших рассказов и с каким, вообще, преобладающим элементом: серьезным или комическим“? Отвечаю: да. И были планы, и есть, но... осуществить их, передать на бумагу, у меня не хватает двух вещей: терпения (иначе—усидчивости) и решимости. А решимости не хватает оттого, что я не уверен ни в своих силах, ни в своем таланте, если есть таковой у меня. Прежде всего—я самоучка. Сын разночинца, десяти лет от роду поступил в одно из здешних коммерческих училищ, где и пробыл ровно четыре года, т. е. другими словами говоря, прошел весь курс для того, чтоб сделаться сносным конторщиком, приказчиком или бухгалтером. Четыре года ученья дали мне в сущности очень не много: я выучился красиво и правильно писать, правильно вести бухгалтерию и счетоводство, почитать начальство и... кажется, больше ничего. Виноват! Прошел древнюю, среднюю и новую историю и отлично узнал всю географию с разными хвостиками физики и отрывками зоологии: умел отличить кислород от водорода, свинью от коровы и домашнего петуха от тетерева. Прямо со школьной скамейки я, как лучший ученик, 14-ти летним мальчуганом попал в контору к Козьме Терентьевичу. Место это было для меня чистой находкой. От природы я был мальчик впечатлительный, любознательный и страшно любящий чтение: вся школьная библиотека была мною проглочена в два какихнибудь года. Можете себе представить мою радость, когда я увидел у К. Т-ча громадную библиотеку и все с такими книгами, каких и в помине не было в школе. К. Т-ча Вы отчасти знаете: это человек в высшей степени добрый, гуманный, и, несмотря на то, что не получил никакого образования (его выучила читать и писать читалка-староверка) и до тридцати лет находился под деспотическим давлением сперва отца, затем—старшего брата,—любит искусство и литературу так, как могут любить не многие. Вы, конечно, уже догадались, что почти с первых же дней моего появления, вся его библиотека поступила в мое распоряжение. Началось глотание книг запоем. О системе чтения, разумеется, не могло быть и речи; читалось все, что стояло в шкафах под-ряд: Майн-Рид сменялся Кантом, Пушкин—Шлоссером, Тургенев—Спенсером и Молешоттом. В это же время я познакомился и с романом „Что делать“. Очень понятно, что читая все, что только попадется под руку, я серьезного для себя извлек

очень мало; многое—осталось для меня непонятным, многое—
понял гораздо позднее, но и многое развило во мне вкус,
расширило кругозор и ответило на мои юношеские мысли, а
главное—удовлетворило вполне мою безграничную любозна-
тельность. Еще в школе я отличался пылкой фантазией, и
лучшими сочинениями по русскому языку были мои. Наш
учитель русской словесности (теперь уже покойный) В. Е. Ба-
систов, составитель известной в свое время „Хрестоматии“,
очень любил меня и, при выходе моем из школы, советовал
работать над собой, если позволят обстоятельства. Так и по-
текла моя жизнь, глубокоуважаемый Николай Гаврилович,
между конторскими занятиями и чтением книг. Это постоян-
ное чтение и постоянное, вследствие него, возбуждение не
раз шевелило у меня мысль: а не написать ли мне чтонибудь
самому? Не решался я долго. Во первых—не был уверен в
том, что из моих писаний выйдет что либо путное, а во вто-
рых потому, что вращался (и вращаюсь до сего дня) в купе-
ческой среде, где на такое, не подходящее купеческому кон-
торщику „баловство“ смотрели (теперь уж не то!) как на пре-
ступление. Положим, я был уверен, что К. Т-ч не будет иметь
ничего против моих сочинительств, но как посмотрят на это
другие, т. е. самое ближайшее мое начальство, старший при-
кащик, человек, кроме псалтыря, не видавший в глаза ни од-
ной книжки. (Такие крайности, как цивилизованный хозяин
и полнейший невежда—прикащик уживаются в купеческой
среде сплошь и рядом: их связывает торговое дело). Все это,
вместе взятое, заставляло меня гнать прочь упорную мысль о
сочинительстве. Когда я решился, наконец писать,—мне было
уже 24 года; я был уже в это время, относительно, свободен:
ближайшего начальства—прикащика не было, —он открыл свое
дело, и я занял его место. Первое, что написал я—были сти-
хотворения. Худы ли они были, хороши ли,—я не знал; по-
казать их было некому, друзей у меня в то время, друзей в
полном смысле этого слова, тоже не было. Правда, у К. Т-ча
собирались почти постоянно и литераторы и профессора, но
показать им свои опыты я не решался. Самолюбие удержи-
вало меня от этого шага и заставляло тщательно скрывать
свои „преступные“ деяния. Наконец, после долгих сомнений
и колебаний, отбрав несколько стишков и, подписавши их
разными инициалами *), отослал в только что народившийся
в то время журнал „Стрекоза“; даже адреса своего не напи-
сал, а просил ответить об участи моих детищ на псевдоним.
Вместо ответа—журнал напечатал мои стишки. Таким образом
вопрос о том, писать мне или нет, был решен. Стишки, ко-
нечно, были юмористические, с легким оттенком лиризма. Вы,

*) Сохраняем пунктуацию подлинника.—Н. Ч.—Б.

может быть, спросите, почему именно я начал с „юмористического“,—на это, право, я и ответить Вам не съумею. Вращаясь постоянно в купеческой среде и, обладая довольно сносной наблюдательностью, я стал подмечать смешные и нелепые стороны этого сословия, и вот результатом этих наблюдений, в том же году, явилось несколько рассказов, которые и были отосланы в ту же „Стрекозу“. Рассказы были напечатаны и, вместе с тем, из редакции был прислан совет: „бросить стишки и писать рассказы, которые, будто бы, возбуждали среди читателей известное любопытство“. Это, глубокоуважаемый Николай Гаврилович, первая страница той истории, как 12 лет тому назад я сделался маленьким журнальным труженником ¹⁾ с той поры моя популярность, как живого и веселого рассказчика, постепенно возрастала; я участвовал во всех юмористических журналах и в настоящее время (шесть лет к ряду) работаю исключительно в „Московском листке“, органе нашей московской жизни. Как отношусь я к газетной работе? Весьма определенно: есть спрос на мои произведения, и я их даю. Удовлетворяет ли эта работа лично меня самого? Конечно, нет. Мои товарищи по профессии, начинавшие в одно время со мной, как напр. Ант. Чехов, преуспевают, а я сижу все на маленьких рассказах, а двинуться—вперед, повторяю не хватает ни решимости, ни уверенности в своих силах. И оно понятно почему: у тех, по крайней мере, если хоть и нет особенного таланта, за то есть ценз (университетское образование), а у меня—увы! Кроме кое-какой наблюдательности—ровно ничего!.. И вот почему я до сих пор, пиша почти 12 лет, не написал ничего серьезного (нельзя же за серьезное считать несколько пьесок, написанных мною в разное время!), ничего такого, на чем могли бы остановиться и разборчивые читатели и критика. Что касается до планов больших работ, то их было бесчисленное множество, и все они, в силу известных уже обстоятельств, отцвели, не успевши расцвести. В данный момент у меня копошится идея бытового романа (все из той же знакомой мне среды и, добавлю, неисчерпаемой), в котором хотелось бы изобразить два поколения: отцов и детей... Материал—под рукой, но одна только мысль, что я разработал его плохо, не съумею осилить предстоящих трудностей,—заставляет меня складывать руки и ждать... поры времени... ²⁾ Простите, глубокоуважаемый Николай Гаврилович, что я так долго занимал Ваше внимание своей особой. Но Вы хотели знать меня поближе и вот я тут весь с головы до ног. Не моя уже, конечно, будет вина, если Вы ожидали большего.

¹⁾ Сохраняем орфографию письма.—Н. Ч.—Б.

²⁾ Пропущено несколько строк интимного характера. Н. Ч.—Б.

Крепко жму Вам руку и прошу верить в мое глубокое к Вам уважение и искреннюю преданность

Вам покорнейший слуга И. Барышев.

8 августа 1888 г. Чернышевский отвечает Ивану Ильичу на его „прекрасное письмо“ о ходе жизни и литературных работах и планах. ¹⁾ Одновременно с этим интимным письмом он отправляет Барышеву официальное, где упоминает мимоходом и о том: „Содержание письма—совет Вам писать роман, идея которого занимает теперь Ваши мысли“. Второе упоминание об этом же письме частного характера встречаем в постскриптуме официального письма Чернышевского к Барышеву от 16 августа: „Прошу Вас сказать мне, находите ли Вы возможным заняться трудом, о вероятной успешности которого говорил я в письме, относившемся к Вашей личной деятельности“.

Но самые точные сведения дает письмо Чернышевского к жене. ²⁾ Здесь уже у нас в руках резюме всей предыдущей переписки Николая Гавриловича с Барышевым по интересующему их вопросу.

Приводим соответствующий отрывок этого письма:

...„Дело вот в чем. Приятель Солдатенкова, Грачев, разговаривая со мной о Барышеве, упомянул, что он писатель. Я попросил Барышева прислать мне его произведения. Он прислал книжку комических рассказов из быта московского купечества. Просмотрев ее, я нашел, что он человек не глупый и имеет талант; но рассказы—пусты. Я написал ему, что у него есть талант и что я, интересуясь им, прошу его сообщить мне, думал ли он когданибудь писать серьезные вещи, большие повести, а чтобы судить о том, что такое может выйти из его таланта, прошу его о сообщении мне биографических сведений о нем. Он отвечал длинным письмом, очень умным: скромным, прямодушным. И вот, третьего дня я послал ему в ответ довольно большое письмо, в котором говорю, что по соображению сведений, какие имею теперь лично о нем, нахожу очень вероятным, что серьезные большие рассказы (повести или романы) будут выходить у него недурными, потому советую ему писать их“.

На это большое письмо Чернышевского Барышев отвечает 22 августа:—„Не нахожу слов, чтоб отблагодарить Вас за душевное письмо, присланное Вами мне: в нем сказалась и Ваша хорошая душа и расположение дружеское к человеку, который ничем его не заслужил. Ваши милые строки хоть и

¹⁾ Этот ответ является вторым из вышеупомянутых писем Чернышевского, отсутствующих в музейном архиве. Он был написан на отдельных листках, п. ч. относился лично к Барышеву, а не к его посредничеству между Солдатенковым и Чернышевским.

²⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к О. С. Чернышевской от 11 августа 1888 г.

не рассеяли в конец мою неуверенность в своих силах, но за то много придали бодрости, а главное заставили желать во что бы то ни стало создать что либо серьезное, и в силу этого я заранее посылаю Вам просьбу: когда я пришлю Вам первые главы моего труда—просмотреть их и сказать мне одно из двух слов: или „пиши“, или „брось“. Я так уверен в Вашей доброте, что заранее же, вместе с просьбой, посылаю и благодарность за Ваше искреннее слово. Ваше мнение о „купце“ я, конечно, разделяю, хотя и не вполне. Несомненно, что в серьезном труде должно быть и серьезное отношение к купцу, как к человеку,—это уж само собою разумеется, но идеализировать купца, как „сословие“—я не могу. Рядом с хорошими людьми буду рисовать и дурных, не давая перевеса ни тем, ни другим, хотя последних несравненно больше; но выставлять и раскрашивать одни только хорошие стороны, слегка упоминая о худых,—воля Ваша—я не в состоянии, и не в состоянии именно потому, что не могу лгать на жизнь и людей: ведь и то, и другое мне приходится брать из действительности, а действительность говорит совсем другое. 20 слишком лет я знаю купца. В течении этого времени передо мною прошла целая фаланга типов замоскворечья, и из этого ряда живых людей много-много найдешь пять-шесть личностей. над которыми можно остановиться с любовью и уважением, об остальных же и говорить нечего. Несомненно, что вечная погоня за наживой заглушала в массе хорошие человеческие стороны, развила необузданные страсти и привила всевозможные пороки „лишнего рубля“,—но несомненно, по моему мнению, также и то, что всякий уважающий себя бытописатель не должен набрасывать покрывало на то, что составляет „суть“ жизни этой массы, а брать людей, так как они есть, со всеми их хорошими и дурными сторонами. Так, по крайней мере, я понимаю это дело, глубокоуважаемый Николай Гаврилович, а если ошибаюсь, буду рад несказанно услышать от Вас искреннее родное словечко“.

— „Жду присылки начала Вашего романа,—напоминает Чернышевский через 2 месяца.—Пишите смелее, отбрасывая всякие мысли, могущие стеснять свободу труда; это—одно из условий успешности его“. ¹⁾

Этим напутствием замыкается круг чисто-литературных отношений Барышева к Чернышевскому. Несмотря на то, что их переписка продолжалась еще около года, они больше не возвращались к вопросам литературы. Последние были вытеснены неожиданной грозой, ворвавшейся в мирный быт Чернышевского и составляющей целый эпизод интимной жизни

¹⁾ Письмо Н. Г. Чернышевского к И. И. Барышеву от 16 октября 1888.

писателя, о чем речь должна быть какнибудь впереди. Пока рассеивались тучи и выяснялись отношения Чернышевского к Солдатенкову и Барышеву, незаметно подступило и 17 октября 1889 г., унесшее Николая Гавриловича в могилу.

Не имея в руках основных писем Чернышевского к Барышеву, мы не беремся подвергать детальному анализу их литературные отношения, но вместе с тем не хотели бы обойти молчанием тех сторон, которые бросаются в глаза при изучении вышеприведенной переписки. В настоящее время может с первого взгляда показаться странной эта дружба и вообще сопоставление этих двух фигур: старого мыслителя-революционера и легкого юмориста, любимца серого Замоскворечья. Что общего было между ними, и чем мог заинтересовать Барышев Чернышевского? Повидимому, старому критику „Современника“ не трудно было уловить в творчестве Барышева те черты обличения русской действительности, которые заставляли его когда-то ставить Гоголя выше Пушкина и так горячо приветствовать Островского. Но вместе с тем, автор „Что делать“ не мог удовлетвориться только обличением действительности как таковой. Надо полагать, что он искал и надеялся в будущем найти у Барышева образы „лучших людей“. Великого русского „просветителя“ с тем пониманием действительности, какое когда-то было высказано им в „Эстетических отношениях искусства к действительности“ вряд ли могли привлекать „фотографические картинки“. Повидимому, слова Барышева о „купце“ в письме от 22 августа 1888 г. и являются ответом на соответствующую часть отсутствующего письма Чернышевского. Идеализацию своей действительности Барышев считает „ложью“, но все же колеблется и просит разъяснить ему, не ошибается ли он. Этим вопросом, в сущности, и заканчивается, вернее обрывается переписка, и ответ на него может быть дан только обстоятельным, специальным исследованием всего творчества Барышева, и тех писем к нему Чернышевского, которые пока недоступны нам. Мы же можем заключить свой очерк следующим предположением: вероятно, влияние Чернышевского на его молодого друга сказалось прежде всего в смысле морального ободрения,—призыва к расширению поля деятельности. Уже в 90-х годах читающей публике были хорошо известны романы и повести Мясницкого, вроде „Мануфактур—советник“. „В царстве ситца“ и др. Повидимому, завет Николая Гавриловича—выходить на широкую дорогу—не пропал для Барышева даром.

Н. Чернышевская—Быстрова.

Письмо А. Н. Плещеева к А. Н. Пыпину.¹⁾

Многоуважаемый Александр Николаевич,

Глубоко поразила меня весть о внезапной кончине нашего дорогого, многострадального друга, Николая Гавриловича. Сколько воспоминаний вызвала она во мне! Как возмущается душа при мысли о тех страшных несправедливостях, которые загубили жизнь этого чистого, благородного, безупречного человека. Живо воскресает в памяти моей знакомство мое с ним и все последующие прискорбные события. Не удивляйтесь же, что мне захотелось поделиться с Вами этими воспоминаниями. Вы так близко стояли к нему. К великому моему огорчению мне не удалось еще раз увидеть его, хотя я не терял надежду на это и намереваясь будущим летом проехать по Волге, думал заглянуть к нему в Саратов. Давно бы я сделал это, если бы не мои трудные обстоятельства.

Еще находясь в ссылке и прочитав в Современнике „Очерки Гоголевского периода“ и другие статьи Ник. Гавр., я почувствовал к нему бесконечное уважение и симпатию. Возвратясь в 1859 г. в Петерб. я вскоре же познакомился с ним через Н. А. Некрасова. Помню с каким искренним сочувствием он отнесся ко мне, и какое обаятельное впечатление произвела на меня его беседа, его ум, его простота и сердечность. Я тогда не имел еще почти никакого литературного имени—и ободряющий голос такого крупного литературного деятеля имел для меня огромное значение. Никогда я не работал так много и с такой любовью, как в эту пору, когда вся моя литературная деятельность отдана была почти исключительно тому журналу, которым руководил Н. Г. и идеалы которого были и навсегда остались моими идеалами.

Сколько хороших незабвенных вечеров проводил я у него! На его жур-фиксах собирались не одни сотрудники Современника, но либеральные люди всяких оттенков, люди, может быть, и не вполне разделявшие воззрения Современника, но охваченные общим движением возрождавшегося общества. Бывало там много военных, так как Н. Г. заведывал в это время редакцией Военного Сборника. Мне случалось встре-

¹⁾ Письмо хранится в Саратовском Музее Н. Г. Чернышевского. Написано мелким асчерком А. Н. Плещеева на двух почтовых листах большого формата. Адресат—Александр Николаевич Пыпин, известный историк литературы.

чать там много людей, которые теперь, достигнув „степеней известных,“ вероятно благоразумно помалкивают о своем знакомстве с ним. Помню, как Н. Г. горячо сочувствовавший предстоящим реформам, советовал мне, независимо от моей литературной деятельности, идти на какую-нибудь общественную должность, и я впоследствии пытался, в Москве, баллотироваться в мировые судьи, но ввиду моего недавнего политического прошлого мне это не было разрешено.

Вскоре мне, к сожалению пришлось покинуть Петербург, и я переселился на житье в Москву. Мы не переписывались с Н. Г. Я знал как он обременен занятиями и боялся затруднять его корреспонденцией. Только, по литературным делам, посылая что-нибудь написанное мной в журнал, я сносился с редакцией через Н. Г. или Добролюбова, который относился ко мне всегда очень участливо. Я только раз еще виделся с Ник. Гав. когда он проезжал через Москву как-то летом—если не ошибаюсь в Саратов. Мог ли я тогда думать, что мне более не суждено было его увидеть! Никогда не забуду я, как ошеломила меня весть об его арестовании! И как потом мучила меня мысль, что я, бессознательно, причинил ему много вреда, познакомив его с Костомаровым.

В то время как я жил в Москве, пришел ко мне однажды Ф. Берг, помещавший иногда свои статьи в Современнике, и привел молодого уланского офицера Всеволода Костомарова, которого рекомендовал мне как даровитого переводчика стихов. Он прочел мне несколько своих переводов и они действительно оказались хорошими. После этого он стал заходить ко мне часто, и я содействовал ему к помещению его стихотворений в журнале. Сначала он мне понравился, показался скромным, застенчивым молодым человеком. Впоследствии открылась в нем одна крайне несимпатичная черта: он был страшный лгун и принадлежал к совершенно особенной породе лгунов: он лгал „скромно“ и таким, искренним повидимому и правдивым тоном, что ни в ком не вселял к себе недоверия. И в том, что он говорил никогда не заключалось чего-нибудь невероятного, невозможного. К сожалению обнаружилось это уже тогда, когда он уехал из Москвы. Я случайно узнал, например, что все, что он мне рассказывал о своем пребывании за границей—было чистой выдумкой—что он никогда и не ездил в чужие края. Точно также, он раз принес мне поэму юмористического содержания, очень бойко написанную и которую он выдал за свою, между тем как поэма эта оказалась впоследствии написанною не им. Несколько времени спустя после моего с ним знакомства, он задумал ехать в Петербург сказав мне, что выходит в отставку и желает жить литературным трудом. Он просил дать ему рекоменда-

тельное письмо в редакцию Современника. Я исполнил его желание и рекомендовал его Николаю Гавриловичу и Мих. Ларионовичу Михайлову—как человека отлично знающего языки—в чем я действительно успел убедиться—и очень способного к компилятивной работе. Они прекрасно приняли его, обласкали и в Современнике стали появляться его работы. Но вот однажды, если не ошибаюсь, мать его, пришла ко мне с известием, что он арестован, оказалось потом, что его обвиняли в распространении сочинений Герцена, которых он будто бы перепечатывал посредством ручного станка. Вскоре он однако же был выпущен и возвращен в Москву. Но из Петерб. мне сообщили, что он ужасно дурно держал себя при допросах и, чтобы выгородить себя, клеветал на Ник. Гав. и Михайлова, которых также арестовали. Понятно, что после этого я прервал с ним всякие сношения. Потом он был опять увезен в Петербург и, как я слышал тогда, разжалован в солдаты куда то выслан, но с дороги послал в 3-ье отделение письмо, что имеет сделать важные открытия. Как известно, это открытие, ценою которого он получил себе свободу, заключалось в том, что он подделал под руку Ник. Гавр. письмо к одному литератору, жившему в Москве и представил это письмо в 3-ье отделение. Письмо было без конверта и, следовательно, без адреса. Литератор назывался „Алексей Николаевич“. Так как в Москве других литераторов носящих это имя, кроме меня не оказалось то у меня был сделан обыск, при котором в моих бумагах ничего подозрительного не нашлось и я оставлен был на свободе но был вызван в Сенат в качестве „свидетеля“ и там, после допроса, мне была дана очная ставка с Костомаровым. Он утверждал мне в глаза с необыкновенной наглостью и злобой, что будто я рекомендовал его Ник. Гавр. как человека способного и пригодного для политической агитации. Эта очная ставка, разумеется, окончилась тем, что мы оба остались при своих показаниях. Когда меня допрашивали сначала одного и показали мне письмо—приписываемое Ник. Гавр.—чу, я отвергнув его подлинность, дерзнул однако же спросить—откуда же письмо это могло взяться, так как ни у меня при обыске, ни у Ник. Гав. оно не было найдено,—но на это никакого ответа мне не дали. Подделка под руку Ник. Гавр. и самая грубая, бросилась в глаза, в особенности во второй половине письма (оно было на 4 страницах). Тон его также совсем не походил на тон Ник. Гавр., никогда не употреблявшего тех выражений, которые там встречались. Не говорю уже о том, что содержание письма было совсем для меня непонятно. Меня упрекали в нем за недостаток энергии и в образец мне ставились какие то люди, „действовавшие на Волге“ и пр., словом, говорилось о таких вещах, о которых

я никогда не слышал от Ник. Гав. Я слышал потом, что два раза созывали для сличения почерка экспертов и что первый состав их признал письмо подложным. Второй же сказал что это, действительно, рука Н. Г. В Герценовском Колоколе было впоследствии напечатано, что Костомаров показывал будто он, получив это письмо от Н. Г. для передачи мне (в то время как он после своего первого ареста возвратился в Москву) засунул его за подкладку сак-де-вояжа и так как оно смялось, то он посоветился передать мне его в таком виде! Благодаря этому обстоятельству оно и сохранилось у него по его словам.

Таким образом, хотя на суде не была доказана подлинность этого письма и не выяснилось, к кому оно было написано, но тем не менее это письмо послужило единственным против него обвинением. За него он пошел на каторгу и была загублена вся его жизнь. Не ясно ль, что эта вопиющая несправедливость, эта безпримерная жестокость имела источником желание во что бы то ни стало устранить писателя, литературную деятельность которого, имевшую громадное влияние на общество, считали опасной? Дело Н. Г. до сих пор остается неизвестным, но я, равно как все его знавшие убеждены, что он не был причастен к революционной агитации. И неужели правда никогда не выплывет наружу? Нет, я не хочу этому верить. Может быть мы, старики, не доживем до этого, но я твердо убежден, что придет время, когда все раскроется и нелюбезный суд истории произнесет своей приговор над этим вопиющим фактом, над этим позорным делом людской неправды и ненависти.

Простите душевно уважаемый Александр Николаевич, если эти воспоминания, в которых Вы может быть не найдете для себя ничего нового, отняли у вас много времени.

А. Плещеев.

Октябрь 89 г.

Чернышевский и Плещеев.

(К письму А. Н. Плещеева к А. Н. Пыпину).

1) А. Н. Плещеев относит свое знакомство с Чернышевским к 1859 году. Имеются основания предполагать, что оно состоялось несколько раньше. Отпуск из Оренбурга Плещеев получил в феврале 1859 года. 28 мая ему был выдан отпускной билет. Из Оренбурга Плещеев выехал 29-го мая 1858 г. По истечении четырех месяцев, когда уже заканчивался срок отпуска, он, по особой просьбе, получил разрешение остаться в *Петербурге* до окончательного выздоровления его жены. В письме из *Петербурга*, от начала февраля 1859 года, к правителю генерал губернаторской канцелярии Арцимовичу, Плещеев вновь возбуждает ходатайство о новом продлении отпуска и между прочим указывает, что он находится „здесь (т. е. в Петербурге. А. С.) уже более полугода“. ¹⁾

Таким образом, почти всю вторую половину 1858 года Плещеев, несомненно, проживал в Петербурге. То обстоятельство, что стихотворения Плещеева начали появляться в „Современнике“ с сентября 1858 года, ²⁾ заставляет предполагать, что в эти последние месяцы Плещеевым начато было и личное общение с Некрасовым, а через него и с Чернышевским.

Конечно, через печать и через рассказы других лиц они и раньше знали друг друга.

Чернышевский в студенческие годы знал Плещеева и как писателя и как петрашевца. Литературная деятельность Плещеева, начавшаяся в 1844 году, к 1846 году развернулась настолько, что имя его тогда получило большую известность, особенно в кругах молодежи. Правда, Белинский по поводу

¹⁾ В моментах, касающихся возвращения Плещеева из ссылки, в биографических очерках и заметках (напр., в очерке П. Быкова при собрании стихотворений П-ва, изд. 1905 г.) допускаются многие неточности, источником которых является, очевидно, статья И. Юдина „Плещеев в ссылке“, „Ист. Вестник“, 1897, № 5, где даны неверные сведения. И. Юдин указывает год приезда Плещеева в столицу 1857-ой (тоже В. Княжнин в предисловии к письмам А. Н. Плещеева к Н. А. Добролюбову „Русск. Мысль“, 1913 г., № 1, с. 132), неверно также сообщается и о том, что Плещеев после отпуска не возвращался в Оренбург (тоже у П. Быкова, с. XIX); имеются и другие неправильности в описании жизни Плещеева в ссылке. Все неточности легко исправляются на основании материалов, извлеченных из официального „Дела“ Плещеева и напечатанных в статье М. Л. Юдина „К биографии Плещеева“. „Историч. Вестник“, 1905, окт., 161—169.

²⁾ Раньше, с 1856 г. Плещеев печатался исключительно в „Русском Вестнике“.

вышедшей книжки его стихотворений бросил несколько очень неласковых, слов (в статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года“), но целый ряд других критических отзывов были определенно одобрительными. Вал. Майков („Отеч. Зап.“) признал его „первым поэтом“ своего времени. Весьма сочувственный отзыв был дан А. Н. Плетневым в „Современнике“. „Литературной газетой“ поэзия Плещеева была признана явлением особенно значительным и для своего времени исключительным. Даже барон Брамбеус (Сенковский) отозвался о сборнике с большой похвалой („Библиотека для чтения“, 1846 г.). В отзывах отмечалась общественная значительность и содержательность его стихотворений, высоко ставились и художественные достоинства (Плетнев, Брамбеус), а главное, везде почти всеми указывалась исключительность таланта Плещеева среди других поэтов того времени (Майков, Протопопов это особенно подчеркивали).

И сам Чернышевский в письмах к родным в 1846 году называет Плещеева поэтом „знаменитым“ и, по некоторому поводу, ставит его имя наряду с Белинским и Искандером.¹⁾ В выходе Плещеева из Университета Чернышевский усмотрел симптом постоянного рокового расхождения „наших знаменитостей“ с университетской учебой. В качестве прежних подобных примеров Чернышевский вспомнил случаи с Белинским и Герценом. Отождествление, конечно, неосновательное. Белинский принужден был покинуть Университет, а Плещеев оставил его по доброй воле. Герцен же благополучно окончил курс университета и лишь при выходе из него имел недовольство на присуждение ему серебряной медали, тогда как сам он ожидал золотую. Но письмо вообще характерно для Чернышевского этого времени и показательно для его отношений к Плещееву. Замечательно и это внимание к Плещееву, как к поэту уже „знаменитому“, а еще более важна та точка зрения, под какою он воспринимает его поэзию. Плещеев предстоит его сознанию прежде всего как поэт протестант, борец, оказавшийся теперь уже „не в дружбе с правительством“²⁾.

Многие из стихотворений Плещеева, очевидно, тогда глубоко вошли в память Чернышевского, как наиболее дорогие ему по общему настроению и призывам. Чернышевский любил стихи. „Он с удовольствием, мало того, с каким-то особенным наслаждением декламировал, любимые им стихотворения классических поэтов, наших и немецких, и французские демократические песенки. При декламировании стихотворений с по-

¹⁾ Письма Л. Котляревской 12, 18 и 25 окт. 1846 г. Неизданы. Хранятся в Саратовском Музее Н. Г. Чернышевского.

²⁾ Слова в кавычках взяты из текста письма.

литическим оттенком, например, Рылеева, голос его дрожал от волнения и в глазах навертывались слезы“. ¹⁾ Так свидетельствует М. А. Антонович, близко знавший Чернышевского. И сам Чернышевский, в статье 1861 года о стихотворениях Плещеева, известный гимн „Вперед без страха и сомненья“ отмечает как давно уже ему известный наизусть. ²⁾

Несомненно, несколько позднее, Чернышевский слышал о Плещееве и как о петрашевце. В период судебного процесса петрашевцев Чернышевский близко интересовался его исходом. В дневнике под 27 декабря 1849 года он с волнением отмечает некоторые подробности дела петрашевцев. Правда, в одном из писем к отцу ³⁾ „дело Петрашевского“ им представлено как „дело не заслуживающее внимания“ (слова из письма). Но здесь необходимо иметь в виду неизменные успокоительные стремления Чернышевского во всех его письмах к родным. Вопреки своим словам, в этом же письме, сообщая подробности о том, как вел себя Филиппов при производстве следствия, он обнаруживает в деле петрашевцев большую осведомленность. Подолгу беседуя с Ханьковым, и встречаясь у Ириарха Введенского с А. П. Милюковым, тогда очень близким с Плещеевым ⁴⁾, Чернышевский о личности Плещеева, как об одном из осужденных, мог иметь и более подробные сведения.

Естественно, что, после шестилетнего вынужденного молчания Плещеева, Чернышевский, вместе с Добролюбовым, сейчас же узнал любимого поэта, как только тот в 1856 году стал появляться в „Русском Вестнике“, „с робостью новичка печатая свои стихотворения под неполною фамилией А. П-ва“. ⁵⁾

В свою очередь и Плещеев, находясь в ссылке, знал Чернышевского. Столичные журналы получались и в Оренбурге и в Перовском форте (места ссылки Плещеева). ⁶⁾ Плещеев здесь „интересуется всеми новостями литературы, следит за нею, любит поговорить по этому поводу, обменяться мыслями“ ⁷⁾ „Современник“ несколько раз упоминается в его письмах к В. Д. Дандевиллю, ⁸⁾ и на страницах его он тогда уже выделил имя Чернышевского и „почувствовал к нему безконечное уважение и симпатию“.

¹⁾ М. А. Антонович „Из воспоминаний о Н. Г. Чернышевском“. Сборник „Памяти Н. Г. Чернышевского. Доклад и речи в III отд. Вольн. Эконом. О-ва“. СПб., 1910, с 18.

²⁾ Собр. соч. Н. Г. Ч-го, т. VIII, с 121.

³⁾ Письмо 31 янв. 1850 г. Неиздано. Хранится в Сарат. Музее Н. Г. Ч-го.

⁴⁾ А. Милюков „Литерат. встречи и знакомства“. П. 1890 г.—Е. Ляцкий „Чернышевский и И. И. Введенский“. Совр. мир, 1010, 6.

⁵⁾ Выражение Добролюбова в статье о Плещееве 1858 года. Собр. сочин. Д-ва. изд. „Просвещение“ т. V, с 267.

⁶⁾ М. Д. „Плещеев в форте Перовском“. „Минувшие годы“, 1908, окт., с. 124.

⁷⁾ Там же, с. 141.

⁸⁾ Там же, с. 119, 121.

2. Ко времени их личного знакомства слава Чернышевского окончательно упрочилась. „Современник“ уже всецело принадлежал его авторитету и имя его уже стало знаменем. Всегда простой в обхождении с людьми, искусный собеседник, ясный диалектик, Чернышевский всегда привлекал к себе людей, особенно молодежь. Отдавшись настойчивому и непрерывному научному и журнальному труду, Чернышевский не прерывал живого общения с кругом своих друзей. Наоборот, его общительность, по мере расширения сферы его деятельности, росла и захватывала все новые круги. Его квартира всегда оживлялась роєм гостей. Чернышевский поощрял непринужденную веселость и охотно содействовал устройству вечеринок, на которых господствовала его жизнерадостная жена Ольга Сократовна. У Чернышевских собиралось самое разнообразное общество. Здесь бывали и профессора, и студенты, и врачи, и офицеры,—„дельный разговор“ и шутки перемежались и сливались вместе. ¹⁾

В этот круг введен был и Плещеев, с чувством глубокой благодарности вспомнивший потом эти „хорошие, незабвенные вечера“. Не совсем точно припоминается ему, что тогда он „не имел еще почти никакого литературного имени“. Мы видели, что к концу сороковых годов, перед катастрофой петрашевцев, Плещеев был уже „знаменитым“. Но, конечно, те 6—7 лет, когда он принужден был молчать, затемнили яркость когда-то волновавших впечатлений; теперь нужно было возобновлять, возрождать себя и для многих начинать сначала. Скромный Плещеев не без оснований выступал „с робким чувством новичка“, и поддержка со стороны Чернышевского, важнейшего литературного авторитета, конечно, для него была ценна.

3. Не точно помнил Плещеев и размер своего участия в журнале „Современник“. Он пишет: „Никогда я не работал так много и с такой любовью, как в эту пору, когда вся моя деятельность отдана была исключительно тому журналу, которым руководил Н. Г.“ Всего за период с сентября 1858 года (время первого появления произведений Плещеева в „Современнике“) до конца 1862 г. (с 7 июля после ареста Н. Г. Ч.

¹⁾ О журфиксах у Чернышевских см. М. А. Антонович, *Op cit*, с. 18; Записки Духовникова со слов О. Сокр. „Русская Старина“, 1912, апр. 302; С. П. Зыков, „Наброски из моей жизни“. „Русская Старина“, 1910, № 4, с. 142—148. Г. М. Туманов, „Характеристики и воспоминания“. Кн. 1. Тифлис. 1913, с. 230—233.

„Военный сборник“, упомянутый в письме А. Н. Плещеева, издавался с мая месяца 1858 г. Первыми его редакторами были Н. Г. Чернышевский, Н. Н. Обручев (впоследствии начальник главного штаба) и В. М. Аничков (член госуд. совета). История вступления Н. Г. Ч—го в состав редакции этого журнала отчасти рассказана им самим в письмах к отцу 7 января и 24 января 1858 г. О военных, бывавших на журфиксах у Ч—их, см. в указанной статье С. П. Зыкова, *Русск. Ст.*, 1910, № 4.—Сотрудничество Ч—го в „Военном Сборнике“ продолжалось недолго. О вмешательстве цензуры в направление этого журнала см. составленное Ч—им „Объяснение“... Собр. соч., X, 2, с. 231—292.—Ср. Н. Шелгунов „Воспоминания“. ГИЗ, Москва. 1923.

прекратилось его руководство журналом) Плещеевым в разных изданиях было напечатано 113 стихотворений (включая поэмы и баллады) из них лишь 31 были напечатаны в „Современнике“ (1858 г.—2 из 6; 1859 г.—6 из 29; 1860 г.—6 из 18; 1861 г.—12 из 28; 1862 г.—5 из 32), остальные помещались в других изданиях: „Русский Вестник“, „Русское Слово“, „Московский Вестник“, „Библиотека для чтения“, „Время“, „День“, „Век“ и др.

Кроме того, Плещеевым за это время было напечатано 15 разных прозаических произведений (повести, рассказы, провинциальные сцены, литературные очерки); из них только четыре вещи были помещены в „Современнике“ („Две карьеры“ 1859 г., „Литературный вечер“—1861 г., „Счастливая чета“—1862 г., очерк „Поль-Луи Курье“—1860 г.), остальные помещались в „Московском Вестнике“ („Благодеяние“, 1859 г., № 7 и 8), в „Русском Вестнике“ („Пашинцев“, 1859 г., кн. 21—23), в „Библиотеке для чтения“ („Услуга“ и „Нет худа без добра“, 1860 г., кн. 7; „Неудавшая афера“, 1860 г., кн. 11) в журн. „Время“ („Ловкая барыня“, 1861 г., кн. 5; „Крестница“ и „Свидание“, 1861 г., кн. 11; „Командирша“, 1862, кн. 10). Наконец, если вспомнить, что Плещеев тогда занят был своим изданием („Московский Вестник“), то доля его участия в „Современнике“, по сравнению со всем объемом его деятельности за это время, окажется совсем скромной.

4) Весной 1859 года, когда закончился срок его отпуска, Плещеев возвращается в Оренбург. Лето 1859 года он проводит в Илецкой Защите (близ Оренбурга) у родственников своей жены. 30 августа 1859 года ему было выдано свидетельство на постоянное жительство в Москве. В скором времени после этого Плещеев выехал из Оренбурга уже окончательно и поселился в Москве. ¹⁾

Как в дальнейшем складывались личные отношения между Чернышевским и Плещеевым, об этом мало известно. Ясно лишь, что их взаимная приязнь не поднялась до сколько нибудь интимных дружеских отношений. Личной переписки между ними почти не было. Нам известно только одно письмо Плещеева к Чернышевскому, исключительно деловое, журнальное ²⁾. Это, конечно, не довод, но, во первых, и сам Плещеев в напечатанном выше письме говорит, что они не переписывались, а кроме того, известно, что по литературным делам, связывавшим его с „Современником“, Плещеев писал преиму-

¹⁾ См. материалы и документы в названной ст. *М. Л. Юдина*. Ср. письмо к Добролюбову 25 августа 1859 года, с пометкой „Крепость Илецкая Защита“. „Русск. Мысль“, 1913, 1, с. 132.

²⁾ Письмо, посланное из Москвы 12 июля 1862 г. „Былое“. 1907, № 214, февр.

щественно к Добролюбову, очевидно, наиболее приветливому для него из всей редакции „Современника“. ¹⁾

Чернышевский уважал в Плещееве благородство его общих стремлений, высокую гуманность, „благородные чувства“, „чистое“ и „полезное для общественного воспитания“ направление его поэтической деятельности. Между ними, разумеется, были далеко не официальные отношения. Тон упомянутого выше письма П-ва к Ч-му дружественный, товарищески простой („добрейший друг“, „дорогой мой“ и пр.). В Москве Плещеев для Чернышевского самый близкий знакомый ²⁾. Но в целом, очевидно, Плещеев мало отвечал натуре Чернышевского, в особенности его идеальной „рассудительности“. Чернышевский чувствовал в Плещееве „романтика“, сознавал неопределенность его стремлений, расплывчатость и несобранность его настроений. Плещеев не имел той остроты, силы и крепости характера, которые Чернышевский в людях особенно ценил. При наличии „дельных“ (любимое слово Ч-го) мыслей и задатков, Чернышевский в Плещееве много видел такого, что, по его мнению, недостойно было для „рассудительного“ человека, и были моменты, когда и для Плещеева у него срывалось его сугубое прямолинейное словечко „глупость“.

Плещеев, с своей стороны, несомненно, глубоко уважая Чернышевского, сочувствовал его идеалам. Глубокой признательностью и уважением обвеяно всякое упоминание имени Чернышевского в его сохранившихся письмах к разным лицам. ³⁾

Но при всем этом внутренний индивидуальный мир Чернышевского, упористо, экстатически преданного своим идеям, ему был чужд. Вспоминается крылатое слово Достоевского о Плещееве: „Плещеев хороший писатель, но какой-то он во всем блондин“. Для Плещеева глубины мировоззрения были мало различаемой деталью, в словах и людях он схватывал лишь самое общее и спокойно шел со всеми, кто отвечал его доброму и благородному прекраснодушию.

¹⁾ См. из письма П-ва к Д-ву: 25 XI. 1859; „вы единственный человек из всей редакции „Современника“, который отвечает на письма“. „Русская Мысль“, 1913 г., № 1, с. 137.

²⁾ Об этом свидетельствует сам Ч-й в следственных показаниях. М. Лемке „Политические процессы“... с 371.

³⁾ См. письма к Н. А. Добролюбову 1859—1870 г.г., „Русская Мысль“, 1913, № 1, с. 129—149; письма к А. С. Гацисскому 24 окт., 8 ноября и 7 декабря 1889 года. В письме 24 окт. имеются следующие строки: „Память Н. Г. дорога мне. Смерть его, такая внезапная, меня поразила и опечалила; с его именем связываются у меня воспоминания о лучшей поре моей жизни, о той поре, когда я, возвратясь из ссылки, познакомился с ним в Петербурге. Как мне хотелось еще раз увидеть его! И я не терял надежды на это. Будущим летом я думал непременно проехать по Волге и заглянуть к нему“. Рядом Плещеев возмущается препятствиями, какие ставились со стороны властей всякому выражению общественного внимания к смерти Ч-го (Ч. Ветринский. „А. Н. Плещеев в письмах к А. С. Гацисскому“. „Русск. Мысль“, 1912, 4, с. 122—115). О том же он писал А. М. Жемчужникову 26 окт. 1889 г. „Русская Мысль“, 1913 г., июль, с. 132.

И сам он говорил как-то „вообще“, без деталей и четких линий. Его русло не глубоко, и чистые струи его поэзии легко расплываются в обидную бледность чужих общих слов. В нем не было яркости, и чувствовал и думал он как-то не до конца, и, в сущности, за пределами общей гуманности и честности, он не знал, до каких пор идеалы Чернышевского были бы его идеалами.

До какой степени он мало понимал настроение Чернышевского, достаточно свидетельствует его посвящение Чернышевскому переведенной им поэмы Гейне „Вильям Радклифф“. Плещеева, очевидно, натолкнуло на посвящение позднейшее предисловие Гейне к этой поэме и крошечный, совершенно незаметный и ни с чем не связанный эпизод поэмы, где в словах уже разочаровавшегося в своем бунтарстве разбойника Тома упоминается о разделении мира „на сытых и голодных“. И эти немногие слова звучат в поэме не призывом к борьбе, а отказом и резиньяцией. ¹⁾ Резко выраженная фантастика, таинственность воздушных видений и предчувствий, общая тенденция мистической роковой предрешенности и связанности человеческих чувств и поступков. все это являлось вопиющим противоречием тем обще-эстетическим и литературным требованиям, которые ставил Чернышевский литературе и искусству. И эту вещь Плещеев посвящает ему, неустанно твердившему о своем пренебрежении к подобным „романтическим дикостям“.

Разумеется, Чернышевскому ни поэма, ни посвящение не понравились. Приготовляя к печати издание „Материалов к биографии Добролюбова“, Чернышевский в 80-х годах среди других бумаг перечитывал письма Плещеева к Добролюбову. В письме от 25 августа 1859 года Плещеев писал Добролюбову о своем желании посвятить Чернышевскому переведенную поэму „Радклифф“ и просил его узнать, даст ли на это согласие сам Чернышевский. Против слов: „Если увидите его—спросите, позволяет ли он мне...“—Чернышевский карандашом отметил: „Д-в забыл спросить“. А наверху с обычной прямолинейной резкостью написал: „...что за нелепая мысль явилась у Плещеева удостоить меня этой чести. Разумеется, не сердился за глупость, но если бы знал о намерении П-ва сделать ее, то попросил бы не делать, т. е. Радклифф казался мне дурацким произведением“ . ²⁾

¹⁾ „Так как я принадлежал к последним (т. е. к голодным. А. С.),

То с первыми был должен часто драться;

Но увидав, что этот бой не равен,

Стал пятиться назад я помаленьку“... и пр. („Стихотворения П-ва“, изд. А. Маркса.

1905 г., с. 310).

²⁾ „Русская Мысль“, 1913, № 1, с. 132.

Правда, эти слова Чернышевским были написаны уже в 80-х годах, нельзя так же не указать и на то, что Чернышевский, возможно, в свое время, действительно, дал свое согласие на посвящение, потому что в следующем письме (23. IX) Плещеев просит Добролюбова поблагодарить Чернышевского „за позволение посвятить ему перевод“, ¹⁾ но, тем не менее отрицательное отношение Чернышевского к поэме остается вне сомнений и для того времени, когда поэма печаталась. Это подтверждает отзыв о ней, данный Чернышевским в статье о Плещееве, написанной в 1861 г. ²⁾ Чернышевский соглашается ценить поэму лишь как переход к дальнейшей деятельности Гейне, когда он ступил на реальную почву. „Сама по себе,—пишет он,—эта трагедия, или драматическая баллада, как называет ее сам автор, не замечательна; в ней мы видим Гейне еще чистым романтиком со всеми романтическими дикостями“. ³⁾ Перевод Плещеева „может быть прочитан как образец болезненного романтизма, охватившего всю немецкую поэзию в то время, когда выступал на литературное поприще Гейне. Но достоинства положительного у этой драмы решительно нет, и—признаемся—мы думаем, что у того же Гейне г. Плещеев мог бы взять что либо более интересное для перевода“. ⁴⁾

Конечно, это несколько не мешало Чернышевскому любить в поэзии Плещеева то, что больше всего отвечало его освободительным и просветительным тенденциям. Сороковые годы, когда Плещеев начал свою литературную карьеру, стихи были гонимым жанром. Мы видели, что для Плещеева многие видные журналы делали исключение и на его музу отозвались приветливо. Чернышевский, очевидно, забыл, что и тогда уже Плещеев был „знаменитым поэтом“, и теперь в 61 году, начиная статью, вспоминает общую журнальную неприязнь к стихам и представляет первую книжку Плещеева несправедливо обруганной и огульно осужденной. Чернышевский бранит критику за то, что она слишком небрежно отнеслась к „благородным чувствам“ и „благородным мыслям“, „которыми веяло с каждой страницы небольшой книжки Плещеева“. Пусть в Плещееве „не было той поэтической силы, которая невольно покоряет себе чужую мысль и чувство“, но нельзя в нем было не услышать „искреннего голоса, заступающегося хотя бы в общих чертах, за лучшую сторону нашей природы, до сих пор мало торжествующую“. ⁵⁾ Чернышевский обращает

¹⁾ Там же, с. 134.—Поэма была напечатана с посвящением Н. Г. Чернышевскому в „Современнике“, 1859, XI.

²⁾ „Современник“, 1861 г., № 3.—Собр. соч. Ч-го, т. VIII, с. 118—128.

³⁾ Собр. соч., VIII, с. 125.

⁴⁾ Там же, с. 126.

⁵⁾ Там же, с. 118—121.

внимание читателя на стихотворения, в которых наиболее ясно выступает призывная и просветительная миссия поэта („Вперед, без страха и сомненья“ и др.). Отмечая общий элегический колорит поэзии Плещеева, его „грусть бессилия, столь понятную в устах людей его поколения“, Чернышевский подчеркивает и здесь элементы надежды на лучшее, „силу призыва к честному служению обществу и ближним“ и „здоровое понимание обязанностей и цели жизни“ („Перед тобой лежит широкий, новый путь“... 1858 г.). Переводные пьесы, помещенные в сборнике, не вызвали его поощрения. Некоторое исключение Чернышевский делает для Морица Гартмана и отчасти Фрейлиграта, об остальных (Бек, Пруц, Редвиц, Грюн) замечает: „Переводы из этих поэтов занимают, правда, самое незначительное место в книжке Плещеева, но было бы приятнее, если б и этого места не было им уделено, и Плещеев обратил свое внимание на что-либо иное, если не в новой, то в прежней немецкой литературе“. ¹⁾

5. Имя Плещеева связано с Чернышевским по его следственному делу.

Об отношении к революционной деятельности Плещеев свидетельствует не только за себя, но и за Чернышевского. „Дело Н. Г. до сих пор остается неизвестным, но я, равно как и все знавшие его убеждены, что он не был причастен к революционной агитации“. Какой вес может иметь это свидетельство? Прольет ли оно свет на темный вопрос о непосредственной причастности Чернышевского к делу революционной пропаганды?

Что касается самого Плещеева, то его непричастность остается почти вне всяких сомнений. Правда, имя Плещеева в политических процессах того времени фигурирует не раз. В доносе Николая Костомарова (брат Всеволода) по делу „о нелегальном издательстве и первой типографии в Москве“ среди имен „заговорщиков“ назван „Алексей Николаев Плещеев“. В жандармском сообщении по этому делу указывалось, что Плещеев знаком „с некоторыми из личностей (подозреваемых в „заговоре“ А. С.), они бывают у него и он у них, фактов же обвиняющих его ясно, нет. Между тем он семейный человек и ведет жизнь тихую“. В деле фигурировало поддельное письмо Вс. Костомарова к Я. А. Ростовцеву, где под буквою „П“ упоминался Плещеев, как соучастник в напечатании прокламации „К молодому поколению“. Действительно, А. Н. Плещеев был знаком и со Вс. Костомаровым, который на этот раз выступал в числе „заговорщиков“, и с Михайловым. Для судей это знакомство не подлежало сомнению: в „деле“ находилось письмо Михайлова к Костомарову с приветом

¹⁾ Там же, с. 126.

Плещееву. Однако у следствия не оказалось данных к уличению Плещеева и он к делу не был привлечен. ¹⁾

В связи с делом Чернышевского Вс. Костомаров рассказывал Путилину о „кружке молодых людей“, имеющих тайную типографию и между прочим „сообщал, о том, что типографией этого кружка заведует Плещеев“. ²⁾ У Плещеева был сделан обыск, но „ничего предосудительного не было найдено“. ³⁾ Известное письмо к „Алексею Николаевичу“, предъявленное Вс. Костомаровым в следственную комиссию, должно было послужить решительной уликой к обвинению Чернышевского. Указывалось неоднократно, что если бы это письмо имело значение во всем его существовании, то на его основании Плещеев неминуемо должен был бы попасть под суд. Письмо содержит в себе явные улики не только против Чернышевского, но в такой же степени и против Плещеева. Тем не менее Плещеев был привлечен только в качестве свидетеля, а не в качестве обвиняемого. Очевидно, письмо должно было служить лишь в применении к Чернышевскому. Во всей этой истории, в отношении Плещеева, непонятно только одно: откуда явилась у Костомарова особенное „пристрастие“ к Плещееву, которого он так настойчиво вплетал в своих „разоблачениях“? ⁴⁾

Что касается слов Плещеева о „невинности“ Чернышевского, то его свидетельство не может рассеять имеющихся на этот счет сомнений и предположений. Если Чернышевский действительно принимал участие в обществе „Великорусс“, если, действительно, ему принадлежало составление прокламации „К барским крестьянам“ ⁵⁾, то все

¹⁾ М. Лемке „Политические процессы в России 1860 годов. Гиз. 1923, с. 3—55. Биографические сведения о Вс. Костомарове собраны М. В. Клочковым „Процесс Н. Г. Ч—го“. „Ист. Вестн.“, 1913, сент.—окт.

М. Л. Михайлов—литератор, сотрудник „Современника“, университетский друг Н. Г. Ч—го, с Плещеевым мог познакомиться в Оренбургском крае, во время литературной экспедиции 1856 г. О нем см. В. В. Мияковский. „М. Л. Михайлов“. „Голос Минувшего“, 1915 г., № 9, с. 5—37.

Ф. И. Берг, познакомивший А. Н. Плещеева с Вс. Костомаровым, поэт, новеллист, журналист, был близок Плещееву по общим литературным интересам. Неоднократно они выступали в совместных изданиях. См. „Детская книжка, составленная А. Плещеевым и Ф. Бергом. 1861 г.“ В общем сотрудничестве ими также был издан сборник „Поэты всех времен и народов“ 1862 г.

²⁾ М. Лемке. *Op. cit.*, с. 259.

³⁾ Там же, с. 445.

⁴⁾ Некоторые моменты воспоминаний Плещеева о процессе Ч—го раньше передавались в печати его сыном А. А. Плещеевым „К процессу Ч—го. Письмо А. Плещеева“, Нов. Вр., 1904, 6, XI (№ 10304).—Ср. о том же заметку „О прошлом (разговор с А. С. Сувориним)“. Нов. Время, 1912, 14 авг.—О подложности письма в деле Ч—го см. М. Лемке „Политические процессы 60-х годов“. 1923. „Дело Чернышевского“.—Ср. М. В. Клочков, *Op. cit.* Ист. Вест. 1913. Ср. письмо об этом Захарьина-Якунина. Нов. Вр., 1904, XI, 23 (по поводу письма А. А. Плещеева).

⁵⁾ См. М. Лемке, *Op. cit.*, с. 317 и след.—А. Хоментовская. „Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60-х г.г.“ „Исторический Архив“, 1919 г., книга первая, с. 324—413.—Иначе В. Чешихин—Встринский „К вопросу о революционной деятельности Чернышевского“. „Н. Г. Чернышевский“. П. 1923, с. 155—168.

это делалось им настолько осмотрительно, с соблюдением такой тайны, которая могла быть известна только самому узкому и близкому кругу лиц. Плещеев, очевидно, к этому кругу не мог принадлежать. Мы знаем, что даже по литературным делам между ними не было непосредственного общения. Тем менее возможна была откровенность и близость между ними в деле подпольной пропаганды, если к ней Чернышевский, действительно, был причастен. Если бы Чернышевский был настолько дружески связан с Плещеевым, что не скрывал от него и этой тайны, то была бы совершенно непонятна его недостаточная внимательность к нему хотя бы в деловых литературных отношениях. Плещеев мог не знать об этой стороне жизни Чернышевского. Возможно, что он, как и всякий непосвященный, не подозревал о ней, хотя бы на самом деле это и было иначе. Плещеев не столь был близок к Чернышевскому, чтобы его свидетельство в этом вопросе могло быть сколько нибудь решающим.

А. Скафтымов.

Н. Г. Чернышевский—учитель Саратовской Гимназии.¹⁾

Н. Г. Чернышевский был учителем Саратовской Гимназии, впоследствии I Мужской Классической. В те времена эта гимназия считалась, если не лучшей, то одною из лучших во всем Казанском округе. К сожалению, ее архив за 20 и 30 л. XIX в. совершенно погиб, а архив за 40 и, что для нас особенно важно, 50 годы не сохранился, повидимому, целиком. Все-же тот материал, который дает нам сильно укороченный и порастрепанный гимназический архив, позволяет заключать, что это было в условиях и рамках того времени довольно серьезно поставленное учебное заведение, не даром имевшее в округе почетную репутацию и дававшее привилегии своим питомцам при поступлении в казанский университет. Правда, мемуаристы—и особенно М. Воронов—дали чрезвычайно тяжелую картину гимназического быта и педагогических приемов этой привилегированной Саратовской школы. Но невозможно принимать на веру все, ими рассказанное. А что касается М. Воронова, то следует иметь в виду, что среди самих мемуаристов гимназии его воспоминания вызвали своим явным сгущением красок некоторое недовольство. Сопоставляя—те его рассказы с рассказами других мемуаристов и их рассказы между собою, можно пожалуй, подмечать в них определенное единство настроения, при котором становится понятным и одинаковая в общем оценка ими гимназии, ее быта и преподавания. Следует, конечно, иметь в виду, что все они учились в гимназии в момент наивысшего расцвета и сейчас же вслед за тем молниеносного трагического краха системы императора Николая Павловича и не вполне об'единенных попыток ее поправки и подмены новою системой. Кончили они все—в

¹⁾ Предлагаемая статья почти без изменений воспроизводит доклад, читанный автором в заседании Нижневолжского областного Научного О-ва Краеведения „Истархэт“ в декабре 1921 г.

В основание статьи легли следующие работы: Ив. Воронов. „Саратовская гимназия“ (Русск. Старина 1909, VIII.—М. Воронов. „Болото“. СПб 1870.—Ф. В. Духовников. Н. Г. Чернышевский. (Русск. Стар. 1910, XII). М. А. Лакомте. Воспоминания о Саратовской гимназии (Труды Сар. Уч. Арх. Комиссии, 1903, вып. 23).—Е. А. Ляцкий. Чернышевский-учитель (Современник, 1912, VI).—И. Палимпсестов. Н. Г. Чернышевский по воспоминаниям земляка (Р. Архив 1890, IV).—Студенцов. Педагогический завет Н. Г. Чернышевского (Вестник Воспитания 1912, IX (декабрь)).—В. Е. Чехихин-Ветринский. Н. Г. Чернышевский. ГИЗ 1923.—П. Юдин. Е. А. Белов (Р. Старина 1905 т. СХХIV).

уже новых политических и общественных условиях, очень отличных от тех, в которых они учились в гимназии. Естественно, что гимназия и в годы их в ней ученья и в годы, когда они уже вышли из нее, одинаково не попевала за бы- быстро текущую жизнью, за ростом и сменой общественных настроений и взглядов. Естественно, что еще гимназистами они уже далеко опередили ее по своему новому настроению, по своим новым взглядам. Выйдя из нее, они—особенно те, кто пошел в университет или на либеральную службу или в свободную внеслужебную работу—сделали еще ряд шагов в ее опережении, а она продолжала или топтаться на месте или очень медленно поспешать вперед. Они судили и осудили в своих мемуарах ее с точки зрения своих новых настроений и взглядов, которых в ней не было или почти не было в годы их учения и близкие к ним, и, судя ее с высоты своих новых достижений, они не хотели считаться с историческим, так сказать, положением гимназии, с тем, что ее прошлое целиком обуславливалось общим крепостническим укладом страны и крепкую подавленностью в рамках этого уклада общественной мысли. И каждый из них, судя и осуждая, заботливо припоминал все то дурное, что видел в ней и особенно в ней испытал или претерпел, а подобрав букет таких припоминаний, придавал удачным подбором иллюстраций своим обличениям крепкий аромат конкретности. Конечно, в этих припоминаниях и обличениях было очень много правды, но так живо чувствуется в них страсть неосознанного мщения, так настойчиво поступает желание широко раскрыть школьный уголок темного царства дореформенных лет, так ясно тенденциозный, хотя и не всегда сознательный, подбор припоминаемых фактов, что невозможно верить голосу школьных жертв во всем колоссальном объеме брошенных ими дореформенной школе обвинений. Приглядываясь к этим воспоминаниям обличителей, можно заметить, что в самом подборе припоминаемых фактов, как и в их трактовке они стоят в несомненной зависимости друг от друга, чего, конечно, и совершенно естественно ждать при значительном единстве их настроения и целей и полной осведомленности более поздних авторов о работах своих предшественников. Это еще более подрывает к ним доверие. Но есть еще одно обстоятельство, которое мешает отнестись к ним с полнотою доверия: читая их записки, невозможно понять, каким образом в такой гимназии, как ее мемуаристы описывают, люди чему-то обучались и как-то выходили в жизнь иной раз очень дельными и полезными работниками. Очевидно, мемуаристы не совсем правы в своем пафосе и—под час злом—остроумии обличения. Не совсем правы—уже в том смысле, что сознательно или бессознательно

опускали в своих припоминаниях то хорошее, что в их старой, отсталой от жизни и ее новых веяний, настроений и взглядов гимназии было и без чего она не могла ни считаться одною из лучших в округе, ни давать своим питомцам привилегии при поступлении в Казанский университет, ни выпускать в жизнь полезных и дельных работников. Они или не могли, или не хотели это хорошее вспомнить, вновь увидеть и, может быть иногда по мелочам, даже по крупинкам, подобрать и показать вместе с плохим. Лишь иногда проскользнет поднятая волной припоминаний хорошая мелочь, вроде доброго характера того или другого педагога.

И любопытно отметить, что ежели начать подбирать у разных мемуаристов эти проскользнувшие мелочи, то в общей мрачной картине Саратовской гимназии этих лет окажется большая брешь. Как бы она оказалась значительнее, ежели бы авторы воспоминаний были к предмету своего рассказа беспристрастнее... Но они не удержались на такой академической высоте—да, видимо, и не пытались стать на нее и в своем обличительном порыве и с чувством личной вражды, с высоты своих новых настроений и с горьким отзвуком старых обид, дали своей гимназии сплошную мрачных тонов картину. Но этим самым они сделали свои воспоминания источником, к которому историк подойдет с осторожностью—и очень большою. Эта осторожность еще возрастет, когда историк подметит в этих воспоминаниях ряд противоречий в сообщениях...¹⁾

Надо думать, что Чернышевский, когда он в первые пришел учителем в Саратовскую гимназию, был несколько смущен,—правда, перед этим он уже имел опыт преподавания и публичных выступлений, но все же в новом месте преподавания, в родном городе, где всякий знал его или о нем и где о нем от его-же школьного учителя, а теперь товарища, знаменитого классика Синайского²⁾ и по письмам из Петербурга другого саратовца известного Иринарха Введенского, шла, как об умном человеке и педагоге, хорошая слава, он это смущение испытал. По крайней мере, он в первую встречу гимназистам не понравился и даже показался смешным. Когда меж рядами их он проходил длинным корридормом в учительскую, они поймали в его внешности и походке, голосе и манере себя держать только невыигрышное для него и вслед ему весело пошутили и посмеялись: слишком бледен и уж очень бе-

¹⁾ Ограничиваюсь этими замечаниями о главном источнике предлагаемой работы, так как предполагаю в недалеком будущем дать особый очерк о мемуарах гимназистов этих лет.

²⁾ Классик Синайский в припоминаниях гимназистов окружен насмешками и анекдотами, хотя авторы знают его большую ученость и заслуги перед русским изучением древнего мира. Сейчас он привлекает к себе внимание местных и следователей—и есть надежда, что из этой мемуарной скорлупы на нас глянет наконец его подлинное своеобразное лицо

локур, сутуловат и близорук, с такими большими шагами и и неловкими манерами и в довершение всех бед—с пискливым голосом он как-бы сам собою вызывал гимназеров на веселость и насмешку.

А между тем он имел в своей внешности много привлекательного: в его лице как-то своеобразно переплелись мягкость линий и выражения с суровою уставностью общих очертаний; самое строение лица было оригинально—и в нем особенно выделялся широкий открытый лоб. Один из его саратовских знакомцев Палимпипсестов позже много говорил, об его ангельской для детских и юношеских лет красоте. В общем очерк его лица, как оно дано на известном портрете его в молодые годы,¹⁾ действительно, пожалуй, передает некоторые черты ангелов, как их наша иконография дает: сочетание глубокой одухотворенности и высокой чистоты, двойное торжество духа над плотию, так сказать случайность этой плоти. Но во взгляде этого юного Чернышевского можно уловить несвойственную ангелу черту—мучительной встревоженности, уловившей и скрывшей в себе какую-то неизведанную тайну мысли. Может быть, именно это улавливал в его взоре и Палимпсестов: по крайности, он в конце концов с большой печалью назвал его „падшим ангелом“. Так отчего-же, как не от смущенья, павший или нет, но ангел очертаниями и выражением лица, Чернышевский показался гимназистам своею внешностью смешным? Впрочем, ему было отчего смущаться. Дело в том, что его первый школьный опыт в кадетском корпусе в Петербурге не был особенно удачен: мальчики плохо воспринимали сведения, которые он им на уроках давал, и дурно вели себя в классе. А он чувствовал себя перед ними зеленым юношей, который уже по своему возрасту не имеет и не может иметь никакого авторитета в их глазах. Может быть, решаясь на новый опыт, он живо вспоминал свою кадетскую неудачу, которую исправить он так до конца и не сумел?... Любопытно кстати отметить, что Чернышевский ставил непременным условием перехода своего на службу в Саратов—освобождение от вторичного экзамена: повидимому, первый экзамен при поступлении преподавателем в кадетский корпус произвел на него достаточно тяжелое впечатление. Он впрочем и сам рассказывал в своем дневнике, что на этом, первом экзамене испытал „состояние рассеянной смущенности“ и вел с экзаменаторами—видимо, именно от этой смущенности—„нескладный“ спор. К тому же известно, что в эти саратовские годы он был довольно „застенчив“, таким запомнил его лично и по гимназии близкий человек, впоследствии крупный

1) Фотография Лауферта, Спб. 1859.

историк, Е. А. Белов.¹⁾ Надо думать, что смущение застенчивого молодого учителя со школьной неудачей за спиной, в родном городе, где такая неудача была бы особенно болезненной, и привела к тому, что гимназисты заметили в его внешности несущественные мелочи, пропустив очарование его прекрасного лица. Но это первое впечатление насмешливых мальчиков очень скоро разлетелось, как дым.

Оказалось, что и внешность у нового учителя в своем целом совсем не смешная, что в его лице, голосе, манере ходить и держать себя есть много привлекательного, ранее просмотренного, а теперь озаренного каким-то единством. И старые смешные черты его облика, разрозненные и не сводившиеся воедино, легко стирались этим новым общим впечатлением. К тому же внешность молодого учителя и все, что с нею связано, очень скоро в восприятии учеников отошли на второй план, поэтому, что новый учитель оказался совсем не таким преподавателем, как его товарищи, старые гимназические учителя.

У него было новым все, начиная с содержания преподаваемого предмета. В памяти семиклассников, которых Чернышевский застал на выходе из гимназии, хорошо удержалась эта перемена содержания. До той поры гимназисты, по словам одного из них, „совершенно“ не имели понятия о Жуковском, Пушкине, Лермонтове—Чернышевский ввел их чтение в классный обиход. Стремясь достигнуть того, чтобы ученики ничего не усвоили догматически, он вводил в преподавание обширный непредусмотренный никакими учебниками материал. Это особенно сказывалось на уроках по истории словесности, где Чернышевский основательно привлекал для понимания какого-либо литературного явления довольно значительный круг данных из истории и культуры эпохи, к которой относится рассматриваемый автор или изучаемое литературное произведение. Привлекал к их пониманию Чернышевский и данные географии. Таким образом он вместе с историей литературы фактически преподавал отрывками общую историю культуры, как, пожалуй, вместе с теорией словесности эпизодически преподавал философские дисциплины,—особенно же начала методологии и классификации наук. Очень хорошо подчеркнул эту сторону преподавательской работы Чернышевского Ив. Воронов: „знакомство с теорией русской литературы и ее отделами Чернышевский сообщал ученикам через сведения об основах этой науки и практически знакомя учеников с клас-

¹⁾ В своих чрезвычайно интересных воспоминаниях о саратовских встречах с Чернышевским (находятся в „Доме—Музее им Н. Г. Чернышевского“ в Саратове). Их указанием я обязан заведующей „Домом—Музеем“ Н. М. Чернышевской—Быстровой, разрешившей мне и их опубликование, каковое надеюсь осуществить в одной из ближайших книжек „Истархэта“. Благодарю Н. М. за доброе содействие работе.

сическими произведениями авторов, разбирая их влияния на общество и его развитие, и вообще способствовал к правильному уразумению духа и направления авторов в зависимости от исторических причин или событий". Ежели так широко и основательно Чернышевский ставил преподавание теории и истории словесности, то мудрено ли, что он сумел оживить и преподавание церковно-славянского языка? Он очень разумно связал его изучение с чтением важнейших памятников древнерусской литературы, которую он очень любил и довольно хорошо знал—и любил и знал не только ее содержание, но и ее своеобразный язык: он занимался им в университете и не перестал заниматься потом у самого знаменитого Срезневского, тогда еще молодого ученого; для него он в рукописном отделении Публичной Библиотеки производил кропотливые выборки и под его началом составил словарь к Ипатьевской летописи. Он, однако, не ограничивался в преподавании мертвым в жизни и живым лишь в богослужении церковно-славянским языком и „касался славянских наречий, которые его очень интересовали“. По крайней мере такое воспоминание сохранилось у одного из его учеников про уроки, правда, не церковно-славянского языка, а словесности.

Так значительно Чернышевский расширял преподавание своего предмета. И этим расширением он с точки зрения прямых потребностей своего предмета преподавания мог-бы, конечно, и ограничиться. Но рядом с этими потребностями предмета он ставил и другие—более общего характера. Дело в том, что он стремился поднять самостоятельность учащихся; до него такое стремление преподавателя почти не было известно гимназии. Для этого он был должен подвести учащихся к пониманию основных вопросов общего мировоззрения. И он заботливо проделывал эту работу. Но она имела для него и другое, тоже очень важное, значение: дело в том, что он стремился ввести своих учеников в круг и понимание вопросов не только общего мировоззрения, но и политики. Вот отчего он пользуется всяким подходящим случаем—а таких случаев при классном чтении бывало, конечно, очень много, чтобы затронуть основные вопросы общего мирозерцания, философии, богословия, педагогики, политических „общественных наук, естествознания, текущей политической и общественной жизни за границей и в России, больших вопросов и сторон современной русской жизни. Так Чернышевский внедрял в своих учеников, не только разнообразные знания и сведения, но и широкие общие интересы. При единстве его мирозерцания эти внедряемые им в своих учеников интересы были окрашены определенным единством мысли и чувства. И, действительно, новые знания его учеников в об-

ласти фактов и научных идей проникнуты оттенком позитивистического мирозерцания; в горниле этого нового мирозерцания пересоздаются на новый лад старые знания и мысли; разрушается былая радостная и трепетная религиозность отроческих лет... И рядом с этим внедрением в своих учеников нового позитивистического мировоззрения Чернышевский вкоренял в их чувство, мысль и волю определенно оппозиционное к власти отношение и—можно сказать по его собственному настроению тех лет—революционное настроение. Эта постановка новых целей преподавания и соответственно с тем широкий раздвиг содержания преподаваемого предмета, окружение его справками, эпизодами и разработка на основе их отдельных вопросов предмета — осуществлялись Чернышевским путем коренной реформы старых методов преподавания. В памяти цитованного семиклассника вступление Чернышевского в преподавание было целую революцией: „с поступлением его в учителя бессмысленное зубрение уроков словесности прекратилось и дан был ход живому слову и мышлению“. Дело в том, что Чернышевский заменял классною беседой обе основные части старого школьного урока—объяснение задаваемого и спрашивание заданного урока. Он намеренно вызывал со стороны учеников возражения себе и друг другу и, умело руководя прениями, доводя их до цели преподавания—до того, что урок становился понятен. Трудность темы его здесь не останавливала, путь к ее освоению лежал одинаково через беседу. Конечно, Чернышевский не ограничивался беседою: повидимому, как база к ней, выступает к его стороны чтение и рассказ. Надо думать, что такое же назначение в очень значительной степени имели и те письменные работы, которые ему писали ученики: семиклассник запомнил, что он „указывал недостатки ученических сочинений“ и что „в обсуждении“ их принимал участие весь класс. Так, на разном базируя свою школьную беседу, Чернышевский одинаково на ней брал свой урок и освоение предмета учениками. Немудрено поэтому, что цитованный семиклассник так сформировал свое общее представление о преподавательских приемах Чернышевского: „при обучении он держался сократической методы“. Надо отметить при этом, что он был большим мастером в проведении этой „методы“: собеседники запомнили его, неутомимым, очень искусным поэтому непобедимым спорщиком, запомнили его в споре спокойствие духа, логичность построения и едкую насмешливость выражений... Конечно, в школьной беседе он не давал полноты простора этим своим качествам спорщика, ибо не мог к своим ученикам относиться с тою же беспощадностью превосходства, как к взрослым своим собеседникам, и щадил их и лично и педагогически. Но все же логика его

оставалась неумолимой, а насмешливость, становясь мягкой, оставалась разящей.

Что касается базы, на которой строилась беседа урока, то Чернышевский, который вообще очень хорошо рассказывал и был непобедимым мастером спора, давал прекрасные вводные об'яснения и мастерски читал произведения литературы. Отдельных чтений его ученики, повидимому' никогда не позабыли: так они были хороши. То же, что в преподавании, имело место и в развивающей беседе на темы политики, общего мирозерцания и др. По всем этим вопросам Чернышевский, как это вспоминают его ученики, одинаково не ограничивается выказыванием своей личной точки зрения, а втягивал в беседу своих учеников, заставляя их высказываться и оспаривать и себя, их учителя, и друг друга. Переход к таким темам и спорам был, конечно, очень легок—от мыслей, высказанных в разбираемом литературном произведении или им навеянных, от фактов, там рассказанных, от тех справок и эпизодов, которыми Чернышевский исторически обрамлял разбираемое литературное произведение. Получалось же, в сущности говоря, совершенно неожиданное положение: в гимназических классах свободно велись беседы на темы, которых было нельзя касаться в печати, в общественных местах или о которых в лучшем случае было можно говорить лишь в начальством постановленных рамках и им дозволенным образом...

Сводя преподавание к беседе и, как к ее базе, к рассказу, чтению в классе и „сочинениям“, но главным образом именно к беседе, Чернышевский пренебрежительно относился к учебнику. Он говорил ученикам: „Учебник нужен только для экзаменов, а к каждому уроку незачем зубрить его: лучше побольше книг!“ И он, конечно, имел основание пренебрежительно отнестись к учебнику, ибо колоссально перерос его и знанием и методом исследовательской работы и педагогической осведомленностью и педагогической приспособленностью к школьному юношеству и, как это юношество, не мог не ненавидеть его схоластическую сушь, о которой никогда не забыли, позабыв все содержание учебника, гимназисты этих лет. И это игнорирование учебника, повидимому, совершенно вошло в школьную систему Чернышевского. Ученики в последствии об'ясняли эту систему двумя моментами: во первых, они говорили, что учебник был для них недоступен по своей схоластической трудности—оставалось его зубрить, что до Чернышевского делали, но что было совершенно несогласимо с его педагогическими воззрениями; а во вторых они указывали, что учебник при коллективной проработке урока в классе

становился, в сущности говоря, излишним. Устраняя учебники, Чернышевский стремился другим—широким развитием внеклассного чтения заполнить и использовать домашнее время учеников. Можно сказать, что слова: „читайте побольше книг!“ были одним из основных девизов его преподавания. Он взял на себя руководство „продажной“ ученической библиотеки. А так как в гимназических библиотеках, повидимому, не было ни вообще достаточно богатого выбора книг, ни нужных книг в достаточном количестве, он очень охотно давал ученикам на дом читать свои личные книги, и, можно думать, что именно в связи с таким внеклассным чтением своих книг сложились беседы у него на дому. Естественно, что раз главным содержанием урока становились в той или другой форме беседа, в которой всесторонне раскрывался руководящему его учителю каждый ученик, отпадала нарочитая проверка знаний учеников—спрашивание уроков. Отметка порою ставилась в журнале—условно, карандашом, видимо, лишь как условное означенное достижение ученика, облегчающая преподавателю запоминание проходимого им пути развития—и только, без всяких так сказать юридических последствий для ученика.

Все это, конечно, было полным переворотом в постановке и методах преподавания. Его воздействие на учеников должно было стать очень значительным.

Такую же революцию Чернышевский внес в отношения преподавателя к ученику. Не надо думать, как это, пожалуй, довольно распространено, что учителя его времени были сплошь—люди, плохо относившиеся к своим питомцам. Гимназическая память благодарно сохранила ряд имен, носители которых наоборот были в отношении гимназистов добрыми и иногда очень терпеливыми людьми. Таковы особенно были, повидимому, старший товарищ Чернышевского—законоучитель Смирнов и в еще большей степени, чем он, директор сороковых годов Круглов или младший товарищ Чернышевского Ломтев. Любопытно отметить эти признания учеников, в общем столь враждебных своей гимназии: при общем тоне их воспоминаний они имеют особую ценность. Да и сам Чернышевский по свидетельству Белова, считал своих товарищей учителей гимназии в большинстве добрыми людьми. Сущственно здесь другое: Чернышевский первый внес в отношения учителя к ученикам элемент товарищества; пожалуй, в полной мере он один его и сумел осуществить. Он, повидимому, не без молодого задора подчеркивал и демонстрировал этот новый элемент, начиная с мелочей,—в роде того, что, придя в класс, „не садился на учительское место а ставил стул около учеников“. Он относился к ученикам с тою чуткою

осторожностью к чужому чувству собственного достоинства, которое дает и поддерживает в человеке признание другого равным себе, своим товарищем. Это создало своеобразный по тому времени стиль отношений. Нечего и говорить, что Чернышевский не бил своих учеников и не дрался, как это и раньше его случалось в гимназии, ¹⁾—он вообще не прибегал ни к каким наказаниям. Цитованный семиклассник особенно запомнил один случай, когда по установившемуся ранжиру Чернышевский был должен применить полноту дисциплинарной учительской власти и когда за место этого он ограничился даже не выговором, а только насмешкою над учеником,— правда, насмешкою жестковатой, но как раз такой, какую отпустит товарищу товарищ. Другой раз он предложил одному ученику выйти вон из класса, но это жестокое и обидное предложение он сделал ему от имени класса, за то, что он классу мешал заниматься делом. Повидимому, он в этом момент во всей полноте чувствовал себя представителем всего своего класса, увлекательной работе которого мальчик мешал. Надо думать, что он был величествен в этом своем слове провинившемуся. Отзвуками большой неожиданности полно припоминание ученика об этом его слове,—и отзвуком большой неожиданной радости и полноты сочувствия учителю, который стал товарищем и, как товарищ, говорит провинившемуся перед классом от имени класса товарищей... Все это было совершенно необычно, особенно кончающим ученикам. Они в конце концов так и не привыкли к Чернышевскому и его новым методам, как их более счастливые младшие товарищи, общение которых с ним было длительнее, чем у них, застигнутых им у порога школы. Неудивительно поэтому, что один из них, много спустя, сознавался: „мы не понимали и не могли даже представить подобного отношения учителя к ученикам, почему мы стеснялись и даже дичились нового учителя; не могли говорить и отвечать на его вопросы, как следует“.

Эта простота общения из класса естественно переходила на улицу: Чернышевского помнят на коротком пути домой всегда окруженным учениками и в веселой и дружеской с ними беседе. Ив. Воронов рассказывает, что летом по вечерам Чернышевский часто бродил по городу и охотно присоединялся ко всякой игре на воздухе, в которой где-нибудь встречал или заставал своих гимназистов. Физически слабый, он быстро уставал от игры, садился отдохнуть на каком-нибудь обручке или подвернувшейся доске—и снова начиналась дружеская беседа с учениками.

¹⁾ И в форме молниеносного „электричества“ хилого старика „Владимира Тимофеевича“ дожило и до моих дней.

Естественны были последствия сочетания в одном лице таких разнообразных качеств учителя: необычайной полноты преподавания, постоянной связи преподавания с общими вопросами мирозерцания и политики, новых методов преподавания, построенных на развитии самостоятельности учащихся, товарищеского отношения к ученикам: живой интерес учеников к иначе, как другие, преподающему и иначе, чем другие, держащему себя с ними учителю, а также конечно, и к его предметам и тем дополнительным главам, которыми он обстраивал свой предмет. Но, кроме этих черт педагога, мы в Чернышевском должны отметить, чтобы полнее понять эту заинтересованность им, как педагогом, учеников и некоторые его личные черты. Не стану здесь говорить об его доброте и милой застенчивости, отмечу только, что этот очень молодой и весь полный, несмотря на свою застенчивость и рассудительность, молодого задора преподаватель, все делавший иначе, чем другие, был во первых редкостно одаренным и так сказать излучавшим из себя свою одаренность человеком, а во вторых человеком очень образованным—и не только очень широко, но и глубоко, научно, в большой требующей постоянной творческой работы ума специальности. Вот отчего его ученики все были, за очень редкими, единичными, исключениями, захвачены его уроком, и поэтому у него совсем или почти совсем не было неуспевающих по лености учеников и в классе во время урока царили тишина и спокойствие. Ни того, ни другого его товарищам—гимназическим учителям, повидимому, достичь не удавалось.

Таким образом ученики в своей основной массе были втянуты в работы. При этом самое их вовлечение в работу произошло таким образом, что была чрезвычайно поднята их самостоятельность: она проявилась и в классе и вне класса. Вне класса она наиболее заметным образом проявилась в официальных литературных беседах в гимназии и неофициальных беседах с учителем на прогулке или у него на дому.

Литературные беседы устраивались, повидимому, раз в месяц и навсегда остались памятью ученикам—их участникам. Эти беседы начались, повидимому, еще при директоре Л. П. Круглове, который вообще, кажется, сделал довольно много для своих школяров. Один из предшественников Чернышевского по преподаванию русской словесности Ф. П. Волков был усердным и деятельным помощником Круглова в устройении этих бесед. Сколько нужно судить, ученики очень интересовались этими беседами, но по воспоминаниям некоторых из них в самой организации этих бесед было два очень существенных недочета: 1) темы для ложившихся в основу бесед ученических сочинений давались, ежели не исключительно,

то по преимуществу, философского и богословского характера; не всякий ученик интересовался отвлеченными вопросами; не всякий, кто интересовался ими, мог осилить разработку вопроса или принять участие в его обсуждении 2) учителя и гимназическое начальство в своей большей части, но во всяком случае за исключением Круглова и Волкова, во время этих бесед оставались властью и не были—от того-ли, что не хотели, или оттого, что не могли, только участниками и руководителями бесед. Ученики Чернышевского приписывали именно ему устранение этих недочетов. Ценою сильного спора с директором гимназии Мейером, он настоял на замене трудных философских и богословских тем доступными, гл. обр. литературными, и на коренной перемене во время этих бесед взаимоотношений меж гимназистами и их учителями и начальством. И гимназисты отметили в своих воспоминаниях большое оживление бесед и подготовки к ним, как итог этих побед Чернышевского. Он правильно организовал самый ход беседы и умело направлял рассуждения учеников к основным вопросам разбираемого сочинения—в том числе и к вопросу о правильности использования „источников“,—понимая под этим выражением мемуариста (Ив. Волкова), конечно, литературные пособия. Это был новый большой успех Чернышевского.

В еще более товарищеской обстановке, чем эти официальные литературные беседы, протекали - и протекали, надо думать, еще более, чем они, живо—беседы частных встреч на прогулке и у него на дому. У него на квартире—и, вероятно, на прогулке с ним—ученики встречались с другим, на этот раз подневольным, знаменитым саратовцем той поры, с красноречивым и горячим молодым историком, впоследствии знаменитым Н. Ив. Костомаровым. Под их обоим руководством шли чтение и беседа. Поднимались и вопросы политические...

При обрисованных чертах преподавания Чернышевский отличался большею силою и независимостью характера. На этой почве, повидимому, довольно рано произошло их первое столкновение,—по вопросу, где Чернышевский неожиданно для директора и не в пример другим преподавателям стал на правильную по существу дела, но по свойству дела и не обычности требования для директора обидную формальную точку зрения,—по вопросу денежному. Для Мейера эта формальная точка зрения была тем обидна, что он действительно, был и по заслугам считался очень ответным и безукоризненно честным хозяйственником и в частности прекрасным казначеем. Это было, повидимому, довольно раннее столкновение. Трудно, к сожалению, указать при суммарности ученических воспо-

минаний, когда впервые у них произошла сильная размолвка. И вообще говоря, их отношения, кажется, легче систематизировать, чем хронологизировать. Большая часть открытых неудовольствий Мейера была видимо, вызвана классными, как их итог, экзаменными столкновениями. Но в их основе лежали— во первых, безусловные и всем очевидные новшества Чернышевского в преподавании и общении с учениками, во вторых, его определенные политические тенденции, не то чтобы проглядывавшие, а повидимому, совершенно открыто обнаруживавшие в его преподавании, хотя и никогда не выливавшиеся, кажется, в явный призыв к ниспровержению господствующего порядка и правительственной догмы, и в третьих, его независимое поведение. Что же создавало это его независимое поведение? Конечно, кроме личной силы характера и высокой самооценки, и учет влияния у местной власти отца и собственного привилегированного по отцу, образованию и личным качествам положения в городе—и в частности среди его чиновничьих и духовных верхов, начиная с самих губернатора и архиерея.

В поздних припоминаниях учеников эти несомненно бывшие у Чернышевского с Мейером столкновения раскрашены совершенно анекдотическими подробностями,—пожалуй, совсем невозможными ни в тогдашней, ни в какой либо вообще школе. В итоге этих несомненно бывших, но памятью и передачами учеников чрезвычайно раскрашенных, столкновений, директор Мейер переносил свое недовольство учителем на его учеников. Чернышевский энергично вставал на их защиту. Положение таким образом еще более запутывалось и обострялось. А в момент его наибольшей запутанности и наивысшего обострения на сцену выступил с наибольшею, повидимому, силою политический момент.

Указания учеников Чернышевского, что он в порядке преподавания свободно излагал свои политические и социальные убеждения встретили возражения П. Л. Юдина. Он привел три аргумента против показания учеников: во первых, учитель, а потом директор саратовской гимназии Лакомте, поступивший в гимназию вскоре после того, как ее покинул Чернышевский, писал к нему, что Чернышевский „будучи преподавателем словесности,... иногда, по просьбе учеников, делал отступления от своего предмета и давал учащимся объяснения некоторых исторических фактов“. „Но при этом“, добавлял Лакомте, и на это особенно указывает Юдин, „не был тенденциозен, не имел в виду никакой агитации; во вторых, тот же Лакомте говорил о „большом уважении“, с которым „всегда“ отзывались при нем о Чернышевском, „как о человеке даровитом“, директор и инспектор гимназии, чего,

очевидно, по мнению Юдина, не могло бы быть, если бы политический момент, действительно, имел место в преподавательской работе Чернышевского; в третьих, Чернышевскому через год по приезде в Саратов дана была в заведывание ученическая „продажная“ библиотека, каковое заведывание он сохранял до окончания службы в гимназии, чего опять таки при наличии политического момента в его преподавании, по мнению Юдина, не могло бы быть. Эти аргументы Юдина, вообще говоря, сами по себе несостоятельны. Собственно только один из них содержит в себе опровержение тех рассказов, которые о политической пропаганде Чернышевского в преподавании дали его ученики, свидетели и объекты этой пропаганды,—это первый аргумент, показание Лакомте в письме к Юдину. Надо сказать, что ценность этого аргумента очень ослабляется одним обстоятельством: Юдин приводит лишь очень небольшой отрывок, выхваченный из письма, которое, как можно догадываться, представляет собою скорее всего ответ Лакомте на какой-то запрос любознательного Юдина; к сожалению, мы не знаем ни текста запроса, ни полного текста ответного письма. Судя по опубликованному Юдиным отрывку, слова Лакомте лишены какой-нибудь определительности. В самом деле он сначала довольно сбивчиво говорит об „отступлениях“, которые в изложении своего предмета позволял себе „иногда по просьбе учеников“ Чернышевский. Повидимому, пояснением к этим его словам служит тоже неясное показание Лакомте: „давал... об'яснения некоторых фактов“. Каких исторических фактов,—этого Лакомте не говорит. Меж тем и крепостное право и судебное устройство, о которых упоминание или рассказ можно было найти у любого из преподававшихся авторов, и многое другое, о чем эти авторы говорили, как для давних времен, так и для недавнего и даже совсем недавнего прошлого,—тоже „исторические факты“. Может быть, Лакомте надо понимать так, что именно о них и шла у Чернышевского в классе речь? Но как Чернышевский мог быть в речах о таких „исторических фактах“ нетенденциозен? Как мог он, о них говоря, не восставать против них, ежели не по форме, то по существу, всею силою своего убедительного и ядовитого слова? Или может быть, Чернышевский говорил с учениками о совсем других „исторических фактах“, полных политической невинности и самым свойством своим застраховывавших от политической вольности в слове и даже мысли всех—и оратора, и его слушателей? Теоретически рассуждая, таких фактов можно подобрать, сколько угодно,—но спрашивается, как революционер, толкуя о политически невинном факте прошлого, устоит на академической платформе и не сделает политически полезного вывода

ского Ляцкий делает вывод, что, когда Чернышевский „вырос в знаменитого и опытного писателя, у его бывших учеников создалось впечатление, будто он и тогда, прежде в беседах с ними, определенно высказывался по поводу современных тогдашних политических и социальных вопросов“. Этим довольно хитроумных построений Ляцкого, которыми он думает упразднить силу совпадения показаний Чернышевского и его учеников, я никак не могу принять за их очевидную надуманностью.

Ветринский, исключая письма Лакомте, не повторил аргументации своих предшественников, но привлек к делу новый и очень существенный аргумент: показания ученика Чернышевского гимназиста Шапошникова, который определенно говорил, что „никакой пропаганды среди учеников“, Чернышевский „не вел“. Однако и Шапошникову, как мне представляется, довольно трудно верить, ибо, судя по его рассказу, он едва-ли долгое время был учеником Чернышевского: факты рассказа Шапошникова о времени Чернышевского заставляет локализовать автора для этой поры более в младших, чем в старших классах гимназии.

Таким образом, как мне представляется, нет никаких оснований отвергать правильность показаний учеников Чернышевского и его самого об его школьной агитации. Мне думается вместе с тем, что значительная доля разноголосицы в источниках по этому вопросу произошла от того, что Чернышевский делал свое агитационное дело в высокой степени осторожно, заботясь не о форме, а о содержании речи и охотно, жертвуя первой для второй, и не только принимал меры к тому, чтобы начальство как-нибудь не узнало об его агитации в классе, но своим ученикам, повидимому, не выяснял, с какою собственно целью он им рассказывает то и так, что и как он им говорил. Можно поэтому, пожалуй, утверждать, ежели оперировать терминологией со всею строгостью юриста, что Чернышевский, совершенно не занимался агитацией или пропагандой. Но нас во всем этом интересует существо, а не форма дела. Нам совершенно достаточно убедиться, что Чернышевский своими беседами и разъяснениями во время своих школьных уроков совершенно определенно строил чувство, мысль и волю своих учеников против существовавшего тогда государственного и общественного порядка и рисовал перед ними свои идеалы и ступени к их достижению. Думается, что сомневаться в этом нет никакой возможности. И ежели у гимназистов, побывавших у него в 4 или 5 классе, составилось обратное представление,—значит, они не поняли Чернышевского—по его или их вине или воле,

вопрос иной. Итак Чернышевский выступил в гимназии искусным в маскировке агитатором. И этот агитатор был искусен, конечно, не в одной маскировке, а и в повседневном, реальном улове душ — и в этой области, видимо, имел решительный успех ¹⁾. Можно думать, что в связи с этою неопровергнутою искусною деятельностью агитатора стоят две заметки в дневнике Чернышевского. Одна, не вполне разобранный покойным М. Н. Чернышевским, гласит: „я уверен, что меня теперь вытеснят, а я скорее поставлю все вверх дном и останусь, ежели уж на то пошло. Я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать, что принудил меня к тому-то, тем более“... Далее несколько слов осталось неразобранным. Так писал он в дневнике 4 марта 53 г., а через несколько дней, 14 марта, записывал: „Разговор с директором, который, по его мнению, поступил благородно, отказавшись доносить на меня в Казань. Конечно, благородно с его точки зрения. Я хотя не разделял ее, но был растроган. Инспектор много смеялся нашей дружбе. Я не был в состоянии вести себя так раньше, когда не был уверен в своей силе, как и в том, что я не трус и немалодушен. Но теперь я был спокоен и *спросил* его, а не требовал, чего раньше не мог сделать. Еще я доволен собою в отношении этого: не уступил и не струсил, но был чрезвычайно мягок и даже нежен.... Завтра, воскресенье, я должен быть у *Карягина*, может быть у инспектора, у Акимовых...; раньше хотел к директору, чтобы высказать ему, что я оцениваю его поступки со мною, но теперь не буду: не достанет времени. Это можно будет высказать и перед отъездом и будет гораздо лучше“. Несомненна связь обеих записей. Как видно, Чернышевский за несколько дней успел как-то — может быть, путем объяснений с директором — устроить свое дело мировым порядком без перевертывания, как он недавно грозился „всего вверх дном“. И вместе с тем ясно, что в основе знаний лежат какие-то политические моменты, ибо по существу дела что еще могло бы вызывать со стороны директора в Казань именно „донос“, а не жалобу, а со стороны Чернышевского вызвать к директору, когда тот своей обязанности, доноса не исполнил, „благодарность и даже растроганность“? чего, кроме политической неприятности, было бояться Чернышевскому? В записке Белова есть указание, которое по связи с последующим проще всего относить к первым месяцам 1853 г., на какое-то „крупное объяснение“ Чернышевского с директором Мейером.

¹⁾ Белов свидетельствует, что Чернышевский „характером ума“ и „остроумия“ походил на мать. В связи с этим не могу не вспомнить замечания А. А. Гераклитова, что в Чернышевском воскрес его дед по матери знаменитый священник Сергиевский церкви Голубев, человек исключительных дипломатических способностей и большого ума.

Его „пришлось выдержать“ Чернышевскому из-за рассказанного выше злополучного экскурса в зало Конвента. В связи с ним „по городу пошли толки, что Чернышевский проповедует революцию“. Сам Белов отрицает такую проповедь Чернышевского, уверяет, что и „Мейер очень хорошо понимал, в чем дело“,—„но напор извне был так силен“, что Мейер был должен принять какие-то меры. Характерно это упорное отрицание Беловым политического момента в преподавательской деятельности Чернышевского. Трудно думать, чтобы он просмотрел эту сторону работы товарища. Думается здесь имело дело другое: Белов довольно сильно пострадал за свои связи с Чернышевским и, как кажется, прикосновенность к ученическому движению в Саратове, летом 1864 г. он был, видимо, вынужден оставить Саратов и перебраться в Петербург; здесь ему оказалось очень трудно пристроиться на службу: в последних словах своей записки о саратовском знакомстве с Чернышевским он говорит с меланхолическим припоминанием, как ему „пришлось походить на Казанскую в четвертое отделение собственной Его И. В. канцелярии и к покойному Николаю Алексеевичу Вышнеградскому до осени“. Весь его рассказ о расправе в Саратове с политически подозрительными людьми проникнут старою грустью и вместе сдерживаемым раздражением. Он охотно говорит об ошибках и нелепых предположениях власти в той травле, которую она вела против политически ненадежных лиц, но еще большее удовольствие доставляет ему вспомнить, осмеять и опровергнуть те озлобленные толки, которые по Саратову ходили и на которых базировалась власть в своих предположениях и ошибках. И за одну скобу со всеми,—часто, действительно, вздорными,—толками он берет и толки о политической агитации Чернышевского в школе...

При всем вышерассказанном столкновение Чернышевского с его гимназическим начальством было совершенно естественно и не могло не произойти. Повидимому, правильное всего полагать в воспоминаниях гимназистов хронологические рамки оказались неустойчивы—что столкновения довольно рано начались и к середине учительской карьеры Чернышевского достаточно обострились. При этом надо отметить, что гимназическое начальство—гл. обр. директор Мейер—вело с Чернышевским упорную борьбу, отлично учитывая, с какою крупною фигурой оно эту борьбу ведет. Признание значительности своего противника у начальства было двояким: с одной стороны, оно ценило его „отличные дарования“, с другой, не могло не оценить его прочного по отцу и личным связям общественного положения, а в частности добрых отношений с местным губернатором В. Кожевниковым, благодаря

только которому впоследствии Чернышевскому, по словам Белова, удалось „уехать из Саратова без особой неприятности“. Что же касается педагогических воззрений и педагогической практики своего противника, то гимназическое начальство отнеслось к ним пренебрежительно и с недоверием.

В этой борьбе сильного и с прочным общественным положением учителя с его гимназическим начальством большинство учителей гимназии оказалось не на его стороне: с одной стороны большинство учительского персонала, видимо, живо чувствовало, что Чернышевский дает в преподавании и общении с учениками то, чего они дать своим ученикам не в состоянии, и ополчались на него, как на представителя новой педагогической практики и теорий; а с другой стороны, судя по материалам Духовникова, и он сам задевал многих из них своими насмешками и высокомерием....

Это отношение товарищей—учителей к Чернышевскому проясняется рассказами его учеников. Дело в том, что впечатление, которое произвел Чернышевский всеми сторонами своей личности и своего преподавания на гимназистов было поистине колоссально. Им стало казаться, что „этот педагог был первою восходящею звездою в сумерках, царивших в педагогическом персонале Саратовской Гимназии; с его приездом началось веяние нового духа; старики-педагоги окостеневшие в невежественном понимании образовательного и воспитательного значения юношества, стали мало по малу замещаться достойною, знаущею и образованною молодежью, вполне способною исполнить тяжелую миссию просвещать молодое поколение“. Эти слова принадлежат Ив. Воронову. Между тем сам-же Ив. Воронов приводит ряд преподавателей, которые независимо от Чернышевского каждый по своему вносили свое новое в быт и преподавание гимназии. Ежели же мы обратимся к другим воспоминаниям, напр. собранным Духовниковым, то увидим, что кое-что хорошего в отношении к ученикам внесли и другие—таковы его предшественник по специальности Волков, врач его времени Троицкий; не только в отношении к ученикам, но и в самое преподавание, много хорошего внес Е. А. Белов. Т. о. разрозненные струйки нового и хорошего издавна вливались в гимназическую жизнь. В эпоху Чернышевского, как и до него и после него, над преобразованием педагогического состава много поработал его упорный антагонист в вопросах педагогики и его политический противник директор гимназии Мейер, который как администратор очень вырастает после ознакомления с запискою его сослуживца Белова. В медленное дело немногих разрозненных и часто пересыхающих ручейков вдруг в лице Чернышевского ворвалась могучая река—и фактически и в вос-

приятии современников затмила собою их медленное, но верное дело. Отдавая дань ее величию, не надо забывать этих ручейков, ее предшественников и спутников! Так, и отдавая все должное педагогической работе Чернышевского, который один по своим дарованиям, общему мировоззрению, силе и независимости своей личности мог стать этою могучей и великой рекой, не забудем дела его предшественников и современников, тех, кто подготовлял его работу и ему в ней помогал. Если представить его великим пахарем и сеятелем,— он имел перед собою уже не новь, а тронутую землю, и пахал ее и сеял на ней уже не один, а в—пусть небольшом, но—сотрудничестве... Вот почему совершенно невозможно принять заявление другого Воронова, Мих., что „в то недолгое время, которое“ Чернышевский „пробыл в нашей гимназии, глубоко была потрясена им вся старая система“, что „все изменилось на время под благотворным влиянием этого умного, гуманного человека. „Все“, вернее многое, может быть очень многое, изменялось от постепенного вливания в гимназию новых по духу преподавателей, из которых Чернышевский был, конечно, во всех смыслах наиболее значительной и наиболее эффектной фигурой... Но не одно это вливание меняло „все“ в гимназии. Рядом с ним—и вероятно, сильнее, чем оно, действовала крымская война, действовал общий, связанный с нею тяжелый кризис всей правительственной системы. Надо думать, что их воздействие, а оно началось в последние месяцы работы в гимназии Чернышевского, было гораздо сильнее, чем его воздействие,—человека, в конце концов потерпевшего в своей борьбе неудачу... Но за то те разнообразные семена, которые Чернышевский и его предшественники и современники по обновлению гимназии, бросили в ее почву, в сознание и настроение своих учеников, теперь в годы войны и подготовки реформ быстро взошли, пышно зацвели и дали богатые плоды на ниве русского общественного дела... Но в одном мемуаристы, повидимому, безусловно правы: „сильная личность и насмешливое слово Чернышевского влияли в хорошую сторону на его товарищей“. Правда, и здесь они, видимо, в своем преклонении перед героем допускают преувеличение—так, М. Воронов говорит, что, благодаря Чернышевскому, „учитель греческого языка перестал бранить Пушкина и Лермонтова“. Дело в том, что от учителя греческого языка очень почтенного и ученого классика Синайского, которому русская наука классической филологии обязана одним из первых, ежели не первым, греческим словарем, брань Пушкина и Лермонтова ученикам приходилось слушать в совсем особом порядке: он за отсутствием учителя словесности одно время преподавал им теорию

и историю словесности. Сам очень большой знаток не только греческого языка, но и греческой литературы, Синайский искал и ценил в новой литературе подражания великим образцам литературы эллинов и с этой точки зрения осуждал Пушкина и Лермонтова за отступление от великих и, как ему казалось, непреходящих образцов. Перестав с приездом Чернышевского преподавать теорию и историю словесности, он вместе с тем потерял и обычные поводы к критике и брани наших величайших поэтов. Чернышевский здесь, может быть, повинен только тем, что приехал в Саратов учителем предметов, которые до его приезда временно преподавал Синайский. Но в ряде других конкретных указаний влияния Чернышевского на учителей мемуаристы, повидимому, правы. Однако это его влияние на учителей имело два эффекта: один, как Ломтев и Белов, всецело под него подпадали и даже менялись в хорошую сторону, а другое—и, повидимому, таких было большинство—лишь несколько меняли обличье и пытались показать себя Чернышевскому в таком свете, который бы он оценил, как положительный, но в существе его не любили и боялись его ума, насмешки и непреклонной силы. Отсюда и идут те „проклятья“, которыми его „преследовали“ товарищи. Воронов объясняет их только тем, что Чернышевский „подорвал навсегда“ их „кредит... между воспитанниками“ гимназии. Но, конечно, к этой Вороновым указанной причине товарищеских „проклятий“ надо прибавить и другую—ту, которую я сейчас намечал: то были проклятия лиц, впавших перед ним в моральное рабство. Конечно, не все товарищи проклинали Чернышевского—Белов и Ломтев этого не делали, и менее, чем Воронов, озлобленный мемуарист Шапошников признает, что Чернышевский оставил после отъезда из Саратова „уже, хотя и маленькую, группу педагогов“, так сказать новой формации, сложившуюся под его влиянием, хотя бы и не из людей, всем своим развитием обязанных именно ему; таков, напр., Белов, познакомившийся с фурьеризмом еще в казанские студенческие годы.

Каким-же был учителем Чернышевский?

Разбросанные выше показания учеников Чернышевского заставляют признать, что он очень способствовал всестороннему развитию своих учеников—в частности в вопросах общего мировоззрения и политики, что он вместе с тем очень увеличил их сведения, как по предмету своей специальности, так и эпизодически, а иногда, может быть, и систематически, в ряде других наук, что он также очень сильно способствовал развитию их самостоятельности. Один из них, Дурасов, именно с педагогической деятельностью Чернышевского связывает рост за короткий срок поступлений саратовских гим-

мназистов в университет—рост, очень значительный, в 2¹/₂ г. —3 раза. Ученики в своей гордости учителем вспоминали впоследствии, как яркое доказательство педагогической славы их учителя, слова экзаменовавшего их по словесности профессора при поступлении в Казанский Университет: „о Ваших познаниях свидетельствует уже то, что Вы—ученики Чернышевского“. И двоюродный брат Чернышевского Пыпин писал домой из Петербурга, что там один профессор не стал экзаменовать ученика Чернышевского именно потому, что он его ученик и, как таковой, знает предмет. Некоторые ученики Чернышевского шли далее профессоров Казанского и Петербургского Университетов, когда толковали, что, собственно говоря, „кто был учеником „Чернышевского“ в Саратовской гимназии, тому незачем поступать в Университет, где даже не услышишь и не узнаешь того, о чем“ он „подробно говорил“.

Но мы должны выслушать и показания другой стороны.

Так, в 1854 г. директор и инспектор гимназии, проэкзаменовав недавних учеников Чернышевского, следующим образом формулировали свои впечатления от их ответов: „В русской словесности ученики 4 кл. успели достаточно, в прочих посредственно, хотя они твердо знали правила, изложенные в сокращенном их руководстве, но не могли подтверждать их примерами, а без этого изучение правил не достигает желаемой цели. Сочинения учеников, читанные на литературных беседах, по отзывам проф. Булича, посредственны“¹⁾. Понятны становятся рассказы мемуаристов о недоразумениях Мейера с Чернышевским в классе и на экзамене. Ученики были достаточно развиты и к экзамену знали „правила“ из „сокращенного... руководства, но не умели эти „правила“ применять на практике. Таким образом прямая цель школьного обучения достигалась плохо. В том же 1854 г. гимназию ревизовал окружной инспектор Антипов. Он тоже признал „преподавание словесности посредственным“. К сожалению, он не дал никаких пояснений к своему заключению. Таким образом и окружное гимназическое начальство шлет во след Чернышевскому осуждение его деятельности. Однако оно началось ранее. Вот отзывы Булича об ученических сочинениях, читавшихся на руководимых Чернышевским литературных беседах“. Они, эти отзывы, сохранились в отношениях попечителя казанского округа ген. Молоствовова к директору Саратовской гимназии и народных училищ губернии Мейеру. Привожу первое из них целиком, а последующие в необходимых извлечениях.

¹⁾ Дело № 46 за 1854 г. арх Сарат. I Муж клас. гимназии. Пользуюсь случаем благодарить администрацию и состав Саратовского Губархивбюро за всегдашнее содействие в работе.

[л. 3] 23 марта 1853 года № 951.

Господину Директору училищ Саратовской губернии.

Представленные при донесении Вашем от 3 апреля 1852 года, сочинения учеников 6 класса вверенной Вам гимназии, были препровождены на рассмотрение к ад'юнкту Казанского Университета Буличу, который ныне возвратил эти сочинения с следующим мнением: первое, Василия Михальского разбор повестей „Белкина (Пушкина)“. Сочинитель кажется не имеет никакого понятия о том роде критики, которая называется историческою критикою, а потому его суждения совершенно [л. 3 об.] произвольны, пусты и ни на чем не основаны, кроме его личных убеждений. Подобные же убеждения—плохой авторитет. Кроме того, резкость тона, необдуманность выражений, часто неуместные и натянутые остроты доказывают малую степень уважения со стороны критика к разбираемому им славному писателю. Молодой человек не так поступать должен. Суждения его должны быть девственно-чисты, а не щеголять претензиями на насмешливость и оригинальность. Смех в этом случае обращается вспять, а не туда, куда направляет его автор, и второе, Василия Найденова „Взгляд на историю Аристотелевой теории красноречия“. Удивляться должно зачем ученики гимназий берут такие, слишком превосходящие силы их, темы для сочинений. Выхватив клочки мыслей из какой нибудь книги, не связав их в одно целое, необдумав их, полагают, что все сделано. Так можно, пожалуй [л. 4] писать и о халдейской мудрости и о магнетизме. Ученики гимназий, хоть например, в этой статье, написанной вовсе не на собственном изучении риторики Аристотеля, рассуждают необычайно умно и о философе Платоне и об английском парламенте и о Гизо и о Пиле. Все это прекрасно, но главное дело гимназического преподавания русской словесности уметь правильно выражаться и писать по возможности изящно на родном языке—ускользает решительно из виду. От того эти рано-развитые умы, такие прекрасные диалектики на литературных беседах, отвечают очень плохо на приемных экзаменах в Университет, а писать совсем не умеют. Литературные беседы с их всеобщим содержанием становятся поэтому очень подозрительными. Нужна грамматика и грамматика, практика в языке и слоге постоянная и неутомимая. Почему например, автор этой статьи, рассуждающий [л. 4 об.] так красноречиво о политическом характере риторики Аристотеля и о содержании афинской жизни, плохо пишет по русски? Почему его товарищи, такие знатоки в греческой жизни и в истории теории словесности, не сделали ни одного замечания на язык автора. А это бы очень нужно было. Грамматические ошибки часты, слог вялый и сухой, иные обороты и фразы бьют по ушам, коффония беспрестанно попадает. Один период раз'ехался на две страницы. Обо всех сих недостатках не сказано ни слова, слона-то и не заметили. Даю об этом знать Вам, милостивый государь, для сообщения учителю словесности, к надлежащему сведению; при чем возвращаю и самые сочинения. Попечитель Казанского Учебного Округа генерал-майор (подпись).

[л. 5] 27 марта 1853 года № 1021.

Первое—Виссариона Дурасова: „Разбор седьмого тома сочинений А. Пушкина“, есть поверхностный взгляд на содержание двух повестей Пушкина, но выраженный довольно правильно [л. 5 об.]. а потому и заслуживает похвалы. Несправедлив критик только во взгляде своем на капитанскую дочку; ей он отдает меньше достоинства, чем бы следовало. Эта повесть требовала бы большего и подробнейшего разбора, нежели первая—Пиковая дама. Ее прекрасные стороны, верный взгляд на эпоху, слог, доведенный до высокого мастерства, стоили бы указания и напрасно все это забыто критиком. Что касается до замечания г. учителя в конце этой статьи, касательно разумных требований, какие можно делать гимназическими трудами и ученическими сочинениями, читаемым на литературных беседах, то нельзя не согласиться вполне с справедливостью этого, замечания только напрасно он выпустил из виду самое существенное и разумное требование—умение правильно писать по русски. Прежде всего [л. 6] надобно удовлетворить этому требованию. А эти два разобранные г. Буlichem сочинения учеников Саратовской гимназии не удовлетворяют ему: в первом 28, а во втором 65 грамматических ошибок. Второе Ивана Пескова: „о введении действительности в роман и историю“ вообще хорошо; видно, что автор знает свой предмет, с любовью занимается словесностью и владеет прекрасною начитанностью. Самые ошибки во взгляде и историко-литературных фактах показывают, что труд его самостоятелен, что он пишет не из книг, не с чужого голоса. И слог его вообще хорош, но за то какое множество грамматических ошибок, доказывающих, что автор, при всем его уме и начитанности, не знаком с правописанием. С мнением г. учителя о том, что это сочинение заслуживает печати согласиться нельзя; во первых, потому что идея действительности, главная пружина [л. 6 об.] статьи, развита не ясно и не хорошо понята. Действительность такое слово, которое недавно существовало в нашей критике и к счастью наконец, исчезло, подобно другим, родственным ему понятиям—художественности, искренности и т. п. С ними нельзя связать определенного и ясного понятия. Во вторых потому не стоит эта статья печати, что в ней очень мало фактов, да и те большею частью не справедливо показаны. Г. Булич старался заметить несколько промахов на полях сочинения.

[л. 9] 4 апреля 1853 года № 1129.

Сочинение ученика Михаила Воронова „Исторический обзор укрепления прав на имущество до Екатерины II-й,“ доказывает в авторе юридические сведения и любовь к сему роду знаний, что ему делает большую честь, [л. 9 об.] если он посещает класс законоведения. Изложение его дельно и толково, факты исторические представлены в последовательности и логической связи и с этой стороны сочинение действительно хорошо. Но при этом совершенно не лишним было бы знание грамматики родного языка, а этого нет и потому самые грубые ошибки против правописания нередки.

[л. 10.] 31 марта 1853 года № 1099.

Первое—Кассиана Пашковского „Взгляд на польскую литературу во время царствования дома Ягеллонов“. В этом сочинении видно положительное [л. 10 обор.] знание польской литературы, доказывающее своим изложением труд и старание автора. Факты рассказываемые им любопытны. Но нельзя с тою же похвалою отозваться о слоге его: он сух и тяжел. Обороты вообще не легки. Не мешало бы автору также прибавить хронологические указания и скольконибудь общие места для введения,—тогда статья его была бы оживленнее. Он переносит читателя прямо in medias res, не знакомя его с причинами развития, с началом его. Но это нисколько не отнимает цены от положительного знания автора и ученого достоинства статьи, хотя она по своему содержанию и далека от того, чтоб быть общедоступною его товарищам. В отношении правильности языка надобно заметить, что автор решительно [л. 11] не умест ставить знаки препинания в надлежащем месте Второе: Николая Турчанинова: „Цицерон и разбор его речи в оправдание Тита Анния Милона“.—Это сочинение совершенно похоже на предидущее, кроме однакож неправомерности в языке, которых здесь менее. Вообще это труд достойный одобрения, хотя и выраженный довольно сухо и вяло. Лучшим местом можно назвать рассказ об убийстве Клодия и о поводе к речи Цицерона. Здесь автор гораздо оживленнее, нежели в других местах.

[л. 14] 28 апреля 1853 года № 1279.

Первое—Александра Дмитриева: „Поэзия и Мифология Скандинавов“, есть буквальный перевод некоторых мест из известной книги француза Мармье: *Lettres sur l'Island*. Перевод этот [л. 14 об.] сделан довольно плохо, потому что он сух, а подлинник отличается прекрасным языком; кроме того, автор, вероятно для отличия от Мармье, переставлял периоды и изменял их места, кое что и выпуская. Трудно поэтому объяснить цель замечания г. старшего учителя словесности, что это статья есть дельное извлечение из Гримма (?) и что оценить ее могут только те, которые читали Гримма. Г. Булич не знает для кого сделано это замечание, но может сказать одно только, что в нем виден невинный шарлатанизм, потому что эта статья не имеет ничего общего с сочинениями Гримма. Эти сочинения писаны вовсе не для гимназистов; даже студентам рано их читать: они плод глубокой науки, который не всякому дается легко. Вообще г. Буличу кажется, что даже эта пустая игра в великие имена (вполне можно быть уверену, что Гримм неизвестен автору) чрезвычайно вредна для гимназического развития. Ученики перестанут уважать то, что уважается людьми, посветившими [л. 15] себя науке. Представители великих успехов в науке, идеи, до которых нужно вырости и образоваться, делаются таким образом для детей мыльными пузырями, которыми тешится их тщеславие. Например: на беседе, происходившей по поводу разбираемой статьи, один ученик говорит что „у китайцев источником жизни в мире считается теплород“. Другой отвечает ему, что „в китайской философии теплород есть отвлеченная сила а у скандинавов конкретистов теплые предметы. Далее можно встретить кохинхинские предания, ссылки на Масуди, Гримма и т. п. Можно подумать, что это конференция Академии, а не литературная беседа в Саратовской гимназии, если бы не уверенность, что все эти имена и идеи выговариваются случайно, что это просто детская, но вредная игра. Почему было не назвать эту статью просто переводом, без всяких притязаний на громкое имя Гримма. По мнению Булича переводы, разумеется общедоступных, также полезны, как и собственные упражнения. Сверх того, они могут развернуть бедные лингвистические сведения в языках Европейских, а для Русского языка они полезны [л. 16 об.] будут ученикам в том отношении, что нигде лучше переводов нельзя им познакомиться с неправильными и чуждыми оборотами речи, галицизмами, германизмами и проч., особенно, если они кстати и умно будут указаны учителем. Г. Булич думает, что половина присылаемых сочинений с большою пользою могла бы быть заменена переводами с иностранных языков. Второе—Николая Росницкого: „Княжнин и его комедия: несчастье от кареты“. Довольно порядочная статья, в которой видно знание дела. Разбор комедии впрочем сам по себе очень плох. Критик ограничивается только изложением содержания и большою выпискою. В отношении языка заметно неумение расставлять знаки препинания и переносить слова.

Как видно, удары Булича и понечителя прежде всего направлены против правописания и вообще грамматики учеников Чернышевского; направлены им и против их языка и слога. И рядом с ними удары обрушиваются на их смелость

суждения и нахватанность знаний в ущерб основательности усвоения и мысли. Очень существенно замечание Булича, что ученики „диалектики“ плохо отвечают на приемных экзаменах в университете. Как сопоставить его с горделивым заявлением гимназистов Чернышевского, что профессор-экзаменатор отказывался их, как учеников Чернышевского, экзаменовывать? Может быть, это заявление передает казанскую точку зрения более позднего времени, чем 1852, может быть, самое начало 1852 г., когда Булич написал свой приговор над прекрасными „диалектиками?“ Как бы то ни было, но Молоствов и Булич, повидимому, сумели поймать на расстоянии существенный недостаток в преподавании Чернышевского.

Действительно, способствуя развитию своих учеников, открывая для них целые миры прекрасного, истинного и морального, он, повидимому, не очень налегал на исполнении ими школьной программы, отчего в применении подзубренных к экзамену правил у них выходил ряд пробелов.

Конечно, все это было можно выполнить впоследствии, на почве того широкого общего развития, которое благодаря Чернышевскому его ученики получили. В одном только получался непреодолимый пробел. Сам Чернышевский необычайно широко ставил свое преподавание и этим шел навстречу живым потребностям своих начинающих думать на общие темы учеников. Они-же жадно хватали разнообразное знание, которое он им по их вызову и от себя предлагал. Они в школьной беседе с ним приучались обсуждать самые сложные и трудные вопросы общего мировоззрения, науки, политики, жизни.... А им в среднем было под 15—16 лет.... И вот многим из них начинало казаться, что они прикоснулись к знанию во всем его объеме. Те верхушки знания, которые им больше кусочками, чем в целокупном единстве, предлагал Чернышевский, иные из них считали вполне довольными и достойными. Они были готовы застыть в этом раз навсегда приобретенном знании, и трудный путь подлинной науки им казался неинтересным и скучным. Отсюда среди некоторых из них пренебрежение к университету и университетской науке. Не надо думать, что они сами дошли до этого пренебрежения. В речах молодого Чернышевского иной раз задором дрожали слова пренебрежения к университету. Палимпсестов сохранил их нам почти в той-же формулировке и во всяком случае в том-же смысле, как ученики Чернышевского высказывали к университету свое отношение. И действительно, того общего мировоззрения и тех политических и социальных взглядов, которые вне официальной науки нашел себе и стремился передать ученикам Черны-

шевский, русский николаевский университет кафедры не давал и не мог дать. Но как раз в это темное николаевское время русский университет проделал огромную работу по усвоению и продвижению в доступные ему круги западно-европейской научной работы. Чернышевский впитал в себя эти знания и методы работы. Он сам стал действительным ученым и был на корне того, чтобы стать русским ученым мирового калибра. Совесть решила иначе. И он в короткий срок проделал другую по истине гигантскую работу.... Но вот тот скепсис, который порою звучал по адресу русского университета в его устах, к несчастью упал на очень благодарную почву. И те, кто с ним в Саратове, шагнули очень далеко в свои немного лет, оказались без пути, когда он из Саратова ушел. Им стало некуда итти. В них широта его захвата, погубила глубину познания и ранний догматизм под критической маской убил охоту исследовать....

Так в преподавательской работе Чернышевского сочеталось хорошее с дурным, крупные достижения с большими неудачами. И от этих его неудач понятнее становится и его столкновение с гимназической властью.

С. Чернов.

Ноябрь 1924 г.
11 февраля 1925 г.

Топография Саратова и его окрестностей по воспоминаниям Н. Г. Чернышевского.

(Из неизданных материалов).

Среди произведений Чернышевского, написанных им в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости, видное место занимает его автобиография. Труд этот для истории Саратовского края имеет громадное значение, так как Чернышевский касается здесь главным образом Саратова и его исторического прошлого, в связи с жизнью своих предков в пределах края. С редкой наблюдательностью описывает он различные места родного города, останавливаясь иногда на деталях и подробностях с фотографической точностью.

Находясь на едине с самим собою, в глухом каземате крепости, он во второй раз переживал в своих воспоминаниях прошлое, что, будучи занесено на бумагу, представляет для нас громадный интерес, как произведение великого писателя с одной стороны и саратовца по происхождению— с другой.

Автобиография Чернышевского распадается на два варианта—на полный и сокращенный; последний имел, очевидно, назначение быть напечатанным, так как является более тщательно обработанным и структурированным. Имеет свои достоинства и полный вариант, дающий более подробные сведения и являющийся, повидимому, сводкой первоначального разрозненного материала.

Мы даем здесь краткое извлечение из этого замечательного произведения, суммируя разрозненные его части, касающиеся, главным образом, топографии Саратова и его окрестностей, дополняя их, попутно, интересными подробностями из других его произведений—мелких рассказов и писем, еще не опубликованных. Из под пера Чернышевского встают здесь почти забытые названия саратовских улиц, площадей, оврагов, отдельных зданий, правительственных учреждений, с описанием их местонахождения и внешнего вида. Многие Чернышевский записывал со слов своей бабушки (по матери) П. И. Голубевой, которая охотно рассказывала внуку о далекой старине.

I.

К самым ранним воспоминаниям Чернышевского относятся его записи о степной стороне Заволжья, входившей некогда в состав Саратовского края. По своему внешнему виду и составу население Заволжья было тогда далеко не таким, каким видим мы его теперь.

— „Левая степная сторона нынешней южной части Самарской губ.,—говорит Чернышевский,—стала населяться нашими русскими почти уже на памяти моей бабушки; прежде там были только немецкие колонисты, да полоса малорусских поселений, основанных правительством для возки соли с Эльтона в Камышин, из Камышина в Саратов, да раскольничьи монастыри на Иргизе, еще и во времена Александра Павловича высывавшиеся в степи очень далеко аванносом, дорога к которому была через степь, и селились подле этих своих знаменитых монастырей раскольники, да селились тоже по Иргизу молокане, пользуясь отдаленностью от регулярного административного действия... По степям и лесам были изредка разбросаны большие села, да на многие версты иногда на десятки верст от такого села и друг от друга были разбросаны хутора (не в малорусском смысле, а в смысле группы 3—7 пожалуй и 10 изб, т. е. очень маленькие деревни)—выселки из этих больших сел. К югу, нагорная часть губернии, суживаясь, шла, быть может и тогда открытым полем, как теперь, а быть может, и тогда еще было много лесного пространства, а в большей, северной половине нагорной стороны губернии, лесное пространство преобладало. И в этих лесах шайки (разбойников) имели прочные, известные окольными жителями, оседлости“ *).

Не многим населеннее была и Саратовская губерния, составлявшая, в то время одну епархию с Пензенской. Тот край губернии, где получил себе приходское место прадед Чернышевского, представлял собою глухой угол, „покрытый дремучими лесами, и межь леса, будто оазисы, большие открытые местности; край был почти пустынный, лишь кое-где по этой лесной и отчасти луговой пустыне были разбросаны деревни и большие села. Почтовых дорог было так мало, что в иных местах поперечники треугольников и четырехугольников между этими „столбовыми“ дорогами имели по несколько сот верст. Кроме почтовых дорог были и „обозные“, или торговые дороги к Тамбову, Пензе, Москве, Хвалынску, Волжску, Саратову,—быть может еще двум-трем пристаням на Волге. Гостиниц небыло нигде, кроме разве плохеньких в Пензе, быть может в Тамбове. В Саратове наверное не

*) Рукописная автобиограф. Чернышевского, полный вариант, 10, 11.

было, не только тогда—в восьмидесятых и девяностых годах прошлого (XVIII) века, но и много времени после. Станции на „почтовых“ дорогах были омерзительные, грязные, развалившиеся логовища, без стульев, даже без столов, кроме скверного, вонючего от всякой гнили и гадости, сбитого из тесаных топором сосновых досок стола для жранья и пьянства. На „обозных“ дорогах были „постоялые дворы“—иной раз построенные из хорошего леса, крепкие, без сквозного ветра, —непременного и непрерывного путешественника по берлогам „станций“; но до нестерпимости грязные, душные; не то, что собственно вонючие, каковые были „станции“, — нет по мужицкому опрятные, т.-е: с грязью на вершок толщины повсюду, с воздухом, тяжелым для дыханья от земляной грязи, от онуч, от полушубков и конской сбруи. Поэтому для проезжих, привыкших жить опрятно, единственным сносным пристанищем были дома духовевства, некоторых дьячков, дьяконов, но—все это слишком бедно, тесно. Еще в мое детство проезжие по глухим местам ездили из одного священнического дома в другой... Мой отец постоянно раз'езжавший по всей Саратовской губернии, отвечая на мои ученые вопросы об истории сельского быта, говорил просто и положительно, что с той поры, как знает он Саратовский край, быт поселян постепенно улучшается: „хорошо ли, нет ли теперь (около 1850 г.), но теперь всетаки много лучше, нежели пятнадцать, тем более тридцать лет тому назад *).

Далее Чернышевский обстоятельно останавливается на топографии Саратова и его окрестностей; здесь он уже сам очевидец и автор. Наблюдения эти, воспринятые им непосредственно, так укоренились в его памяти, что много лет спустя, сидя в крепости, он описывает все виденное им с поразительной точностью. Он отлично помнит не только улицы, площади, переулки, но и отдельные здания, количество окон, в них и даже окраску. Свое описание он начинает с гор, окружающих город, затем переходит к самому городу и его отдельным частям.

— „Горы огибают Волгу полукругом,—говорит Чернышевский,—имеющим верст 20 по берегу в длину и верст 5—6 в глубину по своей середине. Саратов лежит в этом амфитеатре на предгорьи северной стороны; местность живописна. Соколова гора,—как называется та часть стены амфитеатра, к которой прилегает Саратов, видна со всех улиц города. Она подходит полною своею высотой к самому берегу реки, и вода в половодье поднимается на несколько сажен по этому обрыву. Когда вода спадает, остается между обрывом и водою уская, но довольно пологая полоса прибрежья.

*) „Неизданные письма из Сибири“; письмо к жене от 15 марта 1878 г.

Амфитеатр гор прекрасен. На 25—30 верстах полукруга горы множество лощин, буераков—и в диких, и светлых, веселых,—иные из них прелестны. Мне помнится, наприм. Баранников буерак; в каком месте гор он, не знаю, я ездил туда, когда мне было лет 6—8, меня брал с собой мой батюшка. Там был раскольничий скит; к скиту присоединились какие-то мошенники, чуть ли не делатели фальшивой монеты, их открыли, перехватили, или рассеяли, а старики,—человек десять, стали подозрительны. Кроме полиции за ними должно было наблюдать теперь и духовное начальство; батюшка, как благочинный, должен был доносить, как живут старики и по временам ездил взглянуть на это. Из разговоров, бывших там, у меня осталось в памяти только последнее его посещение. Старик почтенного вида, в старинной полумещанской одежде вышел из кельи, послышав, что кто-то едет, и с час гулял с батюшкой по тропинкам оврага, хвалясь своими пчелами и что-то вроде нескольких яблонь или вишневых деревьев; толковали о сельских работах,—оба собеседника были опытные пахари *).

Переходя к топографии окрестностей Саратова, Чернышевский подробно останавливается на характере местности, отмечает культурное значение садоводства окрестных садов, и те условия, по которым садоводство это приходит в упадок:

— „В очень многих лощинах и ущельях гор—сады,—говорит он,—и по предгорью, внутри амфитеатра, много садов,—быть может до 150, до 200 в этом полукруге. В мое детство была молва, что садами умели и любили заниматься старики, что у нынешних владельцев мало этой охоты; если действительно было такое время ослабления любви к садам, теперь оно уже прошло. Теперь опять много людей, с любовью занимающихся своими садами.

Верстах в 3—4 от берега, Соколова гора спускается в глубину амфитеатра довольно отлого; весенняя вода с северного края амфитеатра, нашедши небольшой перегиб в отлогости спуска, обратила его в глубокий овраг; этот овраг и отделяет предгорье, принадлежащее настоящему городу, от горы. Вдоль оврага, под'ем от горы в глубину амфитеатра ровный, пологий; но подалее к югу, предгорье падает к берегу террасою; между террасою и берегом весенней воды идет полоса сполу-версты шириною. Эта прибрежная полоса—крутой спуск террасы; вся терраса занята городом; еще дальше,

*) Автоб. Чернышевского стр 239—241, (полн вариант). „Раскольничий“ скит в Баранниковом буераке, о котором говорит Чернышевский в своих воспоминаниях находился в 4 верстах от Саратова. Там жили скитники-старообрядцы, преимущественно, безпоповцы. Основание скита (как и других двух—в „Мячевом“ и „Марянином“ буераках) относится к 2-й полов. XVII стол., а уничтожение—к 40-м г. г. XIX стол., ко времени ревизии Саратов. губ. сенатором Денфером.

вниз по Волге, к югу, терраса незаметно переходит в дно амфитеатра,—зато само дно поднимается довольно высоким берегом,—и это все застроено, отчасти уж на моих глазах; еще дальше начинаются посевные луга с небольшими озерами или большими плоскими блюдечками воды, остающимися от разлива. Но до этих мест еще несколько верст от нынешнего конца города.

Город тянется от Соколовского оврага по берегу версты на три, на четыре; в глубину амфитеатра от берега версты на две, на три и больше. Где-то в верховьях Соколовского оврага—татарская слобода.

По склону Соколовой горы, по соседству берега, много места вверх на гору занято предместьем.

Вдоль берега, версты две с половиною, от мест соседних с Соколовским оврагом до другого, Ильинского оврага, идет почти совершенно прямая улица. На плане, бывшем у моего батюшки, она называется Царицынской. Почти на половине длины этой улицы стоит наша церковь, Сергиевская, и от нея средняя часть улицы всегда, а большей частью и вся улица называлась в мое время Сергиевскою. На этой улице, в нескольких десятках сажен от нашей церкви, к низу по течению Волги, стоит наш дом.

С другой стороны церкви, (церковь выходит своею оградой на площадь, которая вся ниже к берегу от Сергиевской улицы); тут пространство между Сергиевскою улицею и берегом так велико, что с нижнего конца площади идет к Соколовскому оврагу другая улица, с версту длиной, параллельная Сергиевской, Покровская.

Покровская улица другим концом выходит на площадь Старого Собора. С площади Старого Собора, параллельно оврагу, идет в глубину амфитеатра Московская улица. Сергиевская улица кончается, пересекаясь нижним концом ея. На Покровской улице жили наши родные; между площадью Старого Собора и концом Сергиевской улицы стоит Гостинный двор; поэтому, эти две улицы были мне, ребенку, свои, знакомые чуть не ежедневно.

Мимо нашего дома, от Волги в гору, идет улица на площадь Нового Собора, где архиерейский дом; часть двора архиерейского дома отделена особым двором, на котором стоит консистория, куда я в первую пору детства безпрестанно ездил за моим батюшкою: скорее уйдет из присутствия, когда сын тут стоит и ждет, и надоедает—зовет,—поэтому соображению и поощрялись моею матушкою мои поездки в консисторию.

Немножко в сторону от Соборной площади, по направлению к Соколовой горе, жили наши родственники. Потому,

местность между Новым Собором и нашим домом, тоже была мне своя, ежедневная знакомая. Да еще тоже знакомый ежедневный, в теплое полугодие, был берег Волги, на три версты от Соколовского (Казанского, как зовут его в нижней его части, по Казанской церкви, стоящей подле него) оврага и до местности на версту ниже нашего места берега.

Что берег играл важную роль в жизни ребенка, это разумеется; но и вся Волга, хоть я и не любил любоваться ею, была тоже родной—роднее всего, кроме своего двора, моему детству. Окна дома, в котором жили мы, выходили на Волгу. Все она, и она перед глазами,—и не любишь, а полюбишь. Славная река, что говорить!

Вот местности главного знакомства моему детству: Волга, берег, две улицы, идущие по берегу, две—три улицы подле нашего дома, идущие на перерез Сергиевской в гору, да небольшой уголок подле площади Нового Собора. Остальной город отчасти был мало знаком, а большая половина его и вовсе не знакома моему детству *).

Из отдельных частей города Чернышевский останавливает свое внимание на площади Нового Собора. Будучи мальчиком, он часто ходил туда, не только потому, что там находилась консистория, где по обязанности бывал его отец, но и потому, что площадь эта являлась местом правительственных учреждений и лучших в городе зданий, привлекавших к себе интерес, а также и потому, что там же находилось место общественных гуляний саратовцев—бульвар.

— „На площадь Нового Собора,—говорит Чернышевский,—надобно проходить из южной половины прибрежной части города (если идти) на рынок съестных припасов, на „Верхний базар“. На Соборной площади стоит самое большое из тогдашних зданий Саратова, корпус, в котором тогда находились все присутственные места, с другой стороны—гауптвахта. Средина площади, довольно большой, занята бульваром **).

Описывая берег Волги, Чернышевский говорит о взвозах, указывая на их неудобство и неустроенность. Взвозы эти известны были ему больше других мест потому, что с ними связаны его детские игры—летом—беганье на Волгу, а зимой—катанье на „санках“, или „салазках“, чему он был большой любитель; да и дом отца стоял на одном из взвозов.

— „Проулки спускающиеся к Волге,—по нашему „взвозы“, говорит он,—у нас очень круты, тогда еще не были мощены, были страшно изрыты весеннею водою в течение сотни лет; экипаж должен был вилять слишком медленным шагом между крутых рытвин, которые можно бы назвать маленькими овра-

*) Рукоп. автоб. 241—244, (полный вар).

**) Jbib, 109.

гами,—по нашему „барачками“, т. е. буерачками, я в детстве, читая книжки, всегда понимал под словом барак—овраг и дивился странной выдумке, будто в бараках нет сырости*).

На одном из взвозов, Гимназическом, стоял дом Чернышевских, а смежно с ним находился, двор бабушки Н. Г-а,— Пелагеи Ивановны Голубевой; об этом дворе Чернышевский тоже упоминает в своей автобиографии.

— „Двор моей бабушки,—говорит он,—тянется, вероятно, сажена на 50 в длину, вниз по Волге, и спускается к ней тремя террасами. Двор моего батюшки — тут же, рядом выше,— продолжение верхней террасы. На второй из террас двора моей бабушки стоит, между прочим, маленький флигель. Когда мы жили еще все на дворе моей бабушки, этот флигель отдавался в наем**).

Из отдельных зданий внимание маленького Чернышевского привлекал таинственный, как ему казалось, дом, стоявший на углу Московской и Бол.-Сергиевской; (дом этот существует и теперь; принадлежал он в последнее время брат. Шмидт). В его время дом этот принадлежал купцу Корнилову и поэтому назывался „Корнилов дом“. Заветной мечтой мальчика было побывать, как-нибудь, в этом доме, и мечта его исполнилась: один из знакомых бабушки свел его в этот дом и радости мальчика и его рассказам не было границ.

— „Нельзя было не пожелать побывать в Корниловском доме,—вспоминает он,—три-четыре казенные здания, корпус, присутственные места, дворянское собрание, семинария, были больше его, но из частных домов он был почти самый большой в городе;—в 2 этажа, 18 окон на нашу улицу и 7 окон на Московскую улицу. Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем, как остальная, тоже железная кровля, была красная***).

II.

Сообщение наше было бы не полным, если бы мы не коснулись еще некоторых топографических мест, отмеченных в автобиографии Чернышевского. Таковыми являются—загородные пункты Саратова, посещавшиеся лично Н. Ч—им в дни его детства: Увек, мужской монастырь, и дача Саратовского губернатора Панчулидзева. На Увек маленький Чернышевский ходил с своими родными по причине широко праздновавшегося в то время там престольного праздника, известного в прошлом под именем „Ивана Постного“. Туда стека-

*) Неоконченный рассказ „Жгут“, стр. 3.

**) Рукоп. автоб. 278, (полн. вар.).

***) Из неоконч. рассказа „Наша улица“, стр. 3.

лось множество народа не только из саратовских жителей, но и из далеких сел, деревень и уездов. Чернышевский так описывает эти паломничества:

„Начиналась осень, подходил Иван Постный (29-го августа) праздник в селе Увеке, верстах в 15 или 18 ниже Саратова на том-же берегу Волги,—Увекский Иван Постный очень уважается в Саратове и служит местом ближайшего паломничества благочестивых горожан. И я с моими старшими раза два—три ходил к Ивану Постному, т. е. к обедне в увекскую церковь, только не в этот день, потому что в этот день—толпа, давка, шум и конечно не без очень сильного кутежа; но таких посетителей не в день храмового праздника очень мало бывало в Увеке; вся масса паломников идет туда собственно „на Иван Постный“, 29-го августа, и только одним этим ограничивается паломничество; зато в этот день ходят туда очень многие *).

В другой загородной поездке—в мужской монастырь, Чернышевский бывал по большей части с отцом, а иногда и с другими родными; когда Г. И—чу приходилось по делам службы бывать у архирея Иакова. Мальчику—Чернышевскому важны были конечно не визиты к архиерею (он у него и не бывал), а прогулка за город, где он видел простор полей, горы, поросшие тогда густым лесом, и роскошную монастырскую рощу.

— „Вокруг Саратова много ветряных мельниц,—повествует он;—построилась еще одна мельница, которую наши заметили оттого, что она была видна с дороги в мужской монастырь, куда нередко ездил мой батюшка, по делам к архиерею Иакову, переселявшемуся туда, вместо дачи. С батюшкою (когда было время собраться, а не вдруг ему встречалась надобность ехать)—отправлялись и мы, гулять по монастырской роще, пока он занимается делами с Иаковым. Матушка и тетушка говорили: что-то странна эта мельница; никогда не видно, чтобы она молола. Да и поставлена она на таком месте, что не откуда возить хлеб на нее. И место слишком неудобно еще в другом отношении—закрыто горами от господствующих ветров, так что вообще в нем затишье“ **).

Как оказалось в последствии, на этой мельнице жили разбойники, которые занимались грабежом мирных жителей и имели притон на этой таинственной мельнице. После притон этот был раскрыт, и шайка была частью перехватана, частью рассеяна, (о чем подробно рассказывается в дальнейшем изложении автобиографии).

*) Рукоп. автобиогр. 190, (полн. вар.).

***) Рукоп. автоб. Чернышевского, 206, (полн. вар.).

Третьим местом из-загородных посещений Чернышевского оставившим по себе след его воспоминаний, была дача губернатора Панчулидзева. Она находилась на т. н. Институтской площади и занимала обширный участок земли с роскошным парком, где впоследствии был устроен женский институт. Дача Панчулидзева приводила в восхищение маленького Чернышевского, не видавшего дотоле ничего более красивого и изящного. Он с восторгом описывает красоты этой дачи и удивляется ее устройству и красоте:

— „Дача Панчулидзева“ — нечто единственное и не сравнимое ни с чем,—замечает он.—На моей памяти она была уже опустевшим памятником померкнувшего блеска, как и Версаль; теперь уже город подтянулся к ней,—но я помню ее отделявшуюся от него полем версты на полторы. Это был огромный (по тогдашнему Саратовскому размеру) дом, с флигелями, службами, с другим домом, по меньше, но тоже большим, и опять флигелями, опять службами; вся эта монументальная „Дача“,—которая теперь уже исчела с лица земли,—тянулась чуть-ли не целую треть версты, если считать по длине каменного забора. По бокам и позади каменного забора и дворца были сад, роща,—сад и роща с прудами, пруды с островами и мостами, острова и мосты с киосками, киоски с цветными стеклами... По прудам плавали люди в лодках и лебеди; в роще и в саду, на местах, и на прудах, и на островах бывали фейерверки и иллюминации; в доме были балы и банкеты, превышавшие все, что могла представить себе фантазия саратовцев“.

* * *

На этом оканчиваются воспоминания Чернышевского о Саратове времени его юношеских лет. Мы, как уже и оговаривались, выбрали из его автобиографии места, относящиеся лишь до топографии города, опустив интересные картины быта саратовцев 20—30 годов. Нельзя не пожалеть, что богатейший материал остается не использованным в целях изучения прошлого Саратовского края. Здесь исследователь мог бы найти многое, что с разных сторон обнимает жизнь родного города—и быт, и топографию, и историю, и литературу. Пытливый ум Чернышевского не проходил мимо явлений современной ему жизни, чтобы не отметить их с той или иной стороны, и это отражение в его передаче приобретает особый интерес: как современника, и как человека, которому была дорога жизнь родного города во всем многообразии ее сторон.

С. Быстров.

Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской. *)

При каких обстоятельствах, где и когда произошла наша первая встреча с О. С.—совершенно не припоминаю. Мои первые воспоминания о ней связаны с праздниками рождества и пасхи, а также днями ее именин и рождения, когда приходилось посылать ей поздравления. Зная ее любовь к кошкам, я всегда старалась выбрать открытку с самой хорошенькой кошечкой. Все эти открытки, а впоследствии и присоединившиеся к ним поздравления сестер и брата, бережно хранились старушкой, и после смерти ее, в старых вещах, на дне сундука, мною была обнаружена целая пачка—вершка в 3 высоту—открыток, представлявших богатейшую коллекцию кошек во всех видах и положениях; а также и разных других.

Лет восьми, приблизительно, мною был получен первый оставшийся в памяти подарок ее: в белых и синих клетках шерстяная материя на платье. Так как нас, детей, одевали в детстве исключительно в синие и красные цвета, то подарком этим я осталась недовольна. Вообще же подарками бабушки я очень дорожила, и некоторые из них целы у меня и по сие время.

Надо сказать, что О. С. страшно любила делать подарки. Для нее не было приятнее развлечения, как ходить по магазинам, перебудораживать с верха до низа целые вороха самых разнообразных предметов, проводить целые часы за этим занятием, с тем чтобы остановиться в конце концов на какойнибудь малюсенькой безделушке, которую она с торжеством уносила, сама готовая забавляться ею. В период ее пребывания в Ленинграде она неоднократно брала и меня в подобного рода экскурсии, что приводило, конечно, меня в несказанный восторг.

Курьезно то, что О. С. при этом никогда не считалась со вкусом того, кому подарок предназначался...

В один прекрасный день бабушка водворилась в Ленинграде. Натура беспокойная, мятежный, вечно куда то стремившийся дух, не давали ей долго усидеть на одном месте, за-

*) Автор воспоминаний—старшая внучка Н. Г. Чернышевского. (Прим. ред.).

ставляя ее кочевать из одного города в другой, а, по водворении в том или ином городе-из одного дома в другой.

Приедет, бывало, куда нибудь, снимет комнату—хозяйка ангел, комната уютная, обстановка прекрасная, стол—лучше быть не может. Пройдет месяц—и хозяйка превращается в ведьму, да еще нечистую на руку, комната становится холодной, обстановка перестает нравиться, кормят ее ни на что не похоже. И бабушка свертывает свои чемоданы и пускается в новые странствия, для того чтобы пережить новые разочарования... И так почти всю жизнь. Чаще всего ездила она в Липецк, на курорт, для поправления своего здоровья. Страшно мнительная, она с 17 лет заподозрила у себя чахотку и всю жизнь занималась лечением своих воображаемых болезней, будучи от природы настолько здоровой, что отец ее, известный саратовский врач, Сократ Евгеньевич Васильев, неоднократно говорил ей: „Ты, матушка, такая здоровая, что умрешь только от старости“. Такое отношение сильно обижало О. С., как не достаточно серьезное и внимательное. Однако, отец оказался прав: О. С. умерла 86 лет от роду, именно от старости, которая заставила ее совершенно впасть в детство.

Итак, бабушка прибыла в Ленинград.

Поселилась она в одном доме с нами, но, чтобы дойти до нее, нужно было потратить минут 10: дом был громадный, выходил на 4 улицы в нем имелось 104 квартиры, и насчитывалось около 500 жителей. (Это был дом Человеколюбивого Общества, на Зелениной ул. № 9).

Бабушка сняла сначала комнату в одной квартире, но, верная себе, вскоре переселилась к бывшей баронессе Вольф, у которой, вопреки обычаю, прожила сравнительно долго, вплоть до своего отъезда в Саратов. Вероятно, баронесса подкупила ее своим благоговейно-восторженным почитанием памяти Ник. Гавр., в беседах о котором старушки коротали вечера. Мать баронессы, старуха 90 лет, сохранившая поразительную бодрость и исполнявшая всю домашнюю работу („бароны“ они были обедневшие и прислуги не имели возможности держать), очень развлекала О. С. огненным исполнением казачка и пением малороссийских песен. Это была маленькая, толстенная, совершенно круглая старушка, вся сморщенная, как печеное яблоко, но глаза ее сохраняли юношеский блеск, а ее шаловливому задору могла позавидовать и не одна девица... Может быть, это была тоже одна из фаз впадения в детство...

Этот период особенно ярок в моей памяти. Мне было тогда лет 13. Как старшая внучка, а также крестница, я пользовалась особым расположением О. С. Сокрушала ее только моя наружность. Она чрезвычайно любила хорошеньких, а я,

тем более в переходном возрасте, красотой далеко не отличалась, хотя, по злой иронии судьбы, и напоминала en laid ее, красавицу.

— Больно уж нос то у тебя длинный! с ее манерой бесцеремонно говорить правду в глаза, спрашивают ее о том или не спрашивают, сокрушенно оглядывала она критическим оком мою тщедушную фигурку с ног до головы.

Но это не мешало нам быть в самых приятельских отношениях.

Каждую субботу, покончив с гимназическими уроками, я летела провести вечер с бабушкой за игрой в резерв, сопровождаемой бесконечными воспоминаниями и поветствованиями о „добром, старом времени“...

Слушала я ее рассказы в благоговении, но к сожалению, в том возрасте меня более интересовала игра в карты и сладости, которыми неизменно угощала меня бабушка, а потому в памяти задержалось немного. Будь я постарше, сколько ценного смогла бы я извлечь из этих бесед...

— Ну, иди, иди!—встречала меня О. С., похлопывая с добродушной суровостью по спине.—Бери стул, садись.

Не успевала я сесть, как она меня подымала:—Поддай карты вон со столика!

Я подавала карты, Она принималась их тасовать.

— Ну-ка, открой-ка верхний ящик комода!—через секунду опять говорила она: достань там варенье, конфеты, пряники...

Я доставала. Этот верхний ящик комода был подобен рогу изобилия. Чего-чего только в нем не было... Бабушка, как все старушки, отдавала большую дань сладенькому... Я вполне разделяла ее пристрастие.

И вот сидели мы, старый и малый, часами с картами в руках, с набитыми сладостями ртами, и взаимно развлекали друг друга.

Наигравшись, (между прочим, бабушка очень обижалась, когда я ее обыгрывала), бабушка пускалась в рассказы, сильно оживляясь при воспоминании о своем былом величии,

Глядя на нее, раскрасневшуюся, со сверкающими глазами, словно выросшую вдруг, я допускала, что она могла быть красавицей. Слыша постоянные разговоры в семье о том, что бабушка—красавица, я, помню, была сильно разочарована, увидев ее в первый раз: вот так красавица. Вероятно годы и тяжелые переживания украли эту красоту.

Чего-чего я только ни наслушалась. Теперь всем известна в мельчайших подробностях жизнь Чернышевских, поэтому не буду говорить о том, что не представляет новизны...

Передо мною проходили картины шумного саратовского веселья с царившей красавицей О. С., окруженной поклон-

никами, которым она по собственному признанию, очень любила кружить головы и „оставлять в дураках“; вставал перед глазами ряд туалетов в мельчайших подробностях, семейный быт патриархальной семьи Ник. Гавр. и Пыпиных, доходившая до обожания любовь к отцу, счастливая пора жизни с Ник. Гавр. и печальная повесть о свидании, в Сибири сопряженном с длительным, тягостным путешествием, когда доведенная до отчаяния О. С. близка была к самоубийству, и только присутствие маленького Миши удержало ее на краю пропасти.

Имя Ник. Гавр. было окружено культом О. С. Из ее уст я впервые услышала о нем. Она была первая, приучившая меня с благоговением относиться к памяти великого человека.

Не знаю, какие соображения руководили моими родителями, но в нашей семье никогда не говорилось о Ник. Гавр., вплоть до 1905 г. когда поднялся вопрос об издании его сочинений. Правда, я была еще в то время слишком ребенком для того, чтобы оценить все значение Н. Г.

О. С. подарила мне портрет Н. Г., который я свято берегла и, не будучи в состоянии сделать правильной исторической оценки его, чуткой детской душой невольно приучалась скорбеть за безвинного страдальца, представляя себе, как холодно и неуютно должно ему было быть где то за тридевять земель, оторванным и от семьи и от любимого дела...

Бабушка очень любила говорить о Ник. Гавр. и никогда не упускала возможности при всяком удобном и неудобном случае упомянуть, что она „Чернышевская“.—А вы знаете, кто был Чернышевский?—Заходила ли она в магазин, ехала ли она на извозчике, встречалась ли с новыми лицами во время своих путешествий—езде она находила предлог завести речь о Н. Г. Это была прирожденная агитаторша и пропагандистка. Живи она в наше время—сколько пользы могла бы она принести обществу... Недаром полюбил в ней Н. Г. провозвестницу „новой“ женщины, свободную от предрасудков, смелую и отважную, презирающую все преграды и не боящуюся высказывать правду в глаза.

Как я уже упоминала, бабушка очень гордилась своею любовью к правде. Надо сказать, что ее правило высказывать открыто свои мнения подчас граничило с бесцеремонностью. однажды произошел такой случай: лето 1906 и 1907 г.г. мы проводили в пансионе под Д. в ожидании постройки домика на приобретенном отцом клочке земли (отец мечтал обосновать нечто, вроде колонии Пыпиных—Чернышевских, подобно тому, как это было в Саратове, где Пыпины и Чернышевские вековали бок о бок. Мечты так и остались мечтами: война разорила начавшее налаживаться хозяйство В. А. Пыпиной—

Ляцкой, участок Н. А. Пыпина был продан, не начав даже воздвигаться, а у нас дело дальше фундамента под дом не пошло).

В числе обитателей пансиона находился нотариус А., рыжий и довольно некрасивый. Бабушка еще не знала о его существовании. Сидит она в гостиной, и вдруг взгляд ее падает на входящего А. Со свойственной ей живостью и непосредственностью она восклицает:— „Это что еще за противный рыжий урод“?

Моей матери стоило не малых усилий загладить получившуюся неловкость.

В выражениях бабушка не стеснялась и никогда не заботилась о производимом ею впечатлении.

Помню ее рассказ о том, как она „огрела“ вел. князя, встретившегося ей на прогулке.

Бабушка очень любила лошадей, ездила лихо верхом, и сама правила.

В одно раннее, ясное летнее утро бабушка велела заложить кабриолет и отправилась одна—одинешенька на прогулку в Павловский парк. Постепенно разогнала она лошадь полным карьером и мчится во весь опор по аллее. Навстречу ей таким же аллюром несется другой экипаж. В нем находился один из вел. князей, выехавший, подобно бабушке, на одинокую прогулку. О. С. слышит властно-повелительный окрик: „Тише“. Нимало не ослабляя поводьев, она звонким голосом бросает в ответ: „Сам тише!“ и вихрем пронесется мимо. Одним миллиметром ближе, и ктонибудь из них, а быть может и оба вместе очутились бы в канаве.

В период расцвета литературной деятельности Н. Г., когда они жили очень хорошо, у бабушки было две лошади: „Аристократ“ и „Демократ“. Чтобы отметить различие между тем и другим, бабушка кормила „Аристократа“ сахаром, а „Демократа“ черным хлебом.

Женское общество бабушка не особенно долголюбивала: „Я бабья терпеть не могла“,—откровенно рассказывала она мне: „у них только сплетни на уме“.

Дамы, повидимому, платили ей тем-же.

Отца своего она называла „попоря-душка, попоря-милушка“ и отзывалась о нем восторженно. Матери не любила.

Особенно сильное впечатление произвел на меня ее рассказ о том, как сжег себя ее любимый младший брат Венедикт, с которым она была очень дружна.

Из сестер она больше любила „Миночку“, причем называла ее „Миночка—ты“; Миночка же величала ее—„Ольга Сократовна—вы“ и целовала ее руку. Долго хранились у меня

салфеточки, связанные искусными руками Ерминии Сокр., но в голодную годину базар все поглотил... (Одна, правда, имеется и сейчас, но самая простая).

Бабушка питала пристрастие к блондинам с голубыми глазами и, в силу этого, вероятно, отнеслась благосклонно к моей матери, окружая ее на первых порах замужества с сыном ее, Мих. Ник., самой нежной заботливостью и вниманием. Но после того, как первый внук ее родился брюнетом с черными глазами, бабушка „обиделась“ и свою благосклонность отняла. Отношения между ними всю жизнь не могли наладиться.

Как на зло, и все последующие внуки продолжали появляться на свет брюнетами с черными глазами, воспроизводя, с разными отклонениями, конечно, ее собственный тип.

Девочек О. С. предпочитала мальчикам. Немало была она разочарована, когда, вместо ожидаемой дочери, у нее появился первенец Саша.

Она продолжала ожидать девочку, но следующим родился опять сын—Витенька. Этот, правда, утешил ее хоть тем, что был белокурый и с голубыми глазками. Это был ее любимец. К сожалению, смерть рано похитила его у нее.

Мечта о дочке не оставляла О. С. Почувствовав себя матерью в третий раз, она заготовила женское имя „Катенька“ и принялась нашивать приданое, разукрашенное розовыми ленточками. Увы—„Катенькой“ оказался Миша.

Чтобы вознаградить себя за пережитое разочарование, бабушка целых два года водила Мишу в розовых платицах и называла его „Катенькой“. Кормила она его тоже года два. Он уже бегал и говорил. Не знаю, способна ли память хранить такие ранние воспоминания, но отец утверждал, что он помнит, как, наигравшись, он притаскивал существовавшую для этой цели скамеечку, подставлял ее к матери и требовал своей обычной порции материнского угощения.

Старшего сына бабушка никогда не любила за его уродство.

Несмотря на большие средства, бабушка никогда не стремилась к роскоши. Одевалась она просто, но изящно. К каждому платью у нее полагалась соответственная обувь и чулки. Единственным слабым пунктом ее было белье. Как сейчас помню завет ее—. „Пусть на тебе будет ситцевое платье, но белье должно быть хорошо“.

Страшно боялась бабушка грозы. Лучше всякого барометра ощущала она заранее присутствие электричества в воздухе. При первом же ударе грома она мчалась со всех ног в свою спальню и зарывалась с головой в подушки, так и не двигаясь с места до окончания бури.

В 60 лет бабушка не имела ни одного седого волоса и, поблескивая глазами, восклицала: „Я еще свободно могла бы выйти замуж, если бы захотела“.

В 1906 г. бабушка, рассорившись с окружающими, уехала в Саратов, и до 1918 г., когда я сама переехала туда же на жительство, я более ее не видала. Переписка между нами велась, но касалась исключительно внешних событий: я рассказывала о своих гимназических впечатлениях, сообщила ей о своем замужестве, она писала большею частью поздравления, и былая теплая связь понемногу остывала.

Каждое лето почти отец ездил в Саратов навещать О. С. Два раза сопровождали его и сестры. Я же была тяжела на подъем и только в силу необходимости предприняла такое далекое путешествие.

Прошло 12 лет со времени нашего последнего свидания. В последние годы стали доходить до нас слухи о бабушкиных чудачествах: нигде ей не хорошо, все ее обкрадывают, ни с кем не могла она ужиться и поселилась в конце концов одна одинешенька во флигеле, подаренном ей ее нянькой и перенесенном с Советской улицы, где он первоначально был построен, во двор дома Чернышевских. ¹⁾ Друзья, конечно, навещали ее, прислуживала ей жена почтальона, живущего по соседству, но никто не мог угодить ей, ко всем она относилась с какой то неприязнью и недоверием, подозревая во всех злой умысел по отношению к себе. Когда приезжал отец, она принималась с жаром жаловаться ему на все испытанные ею обиды и кончала тем, что обижалась на него самого за его попытки уговорить и успокоить ее. Это была какая то болезненная чувствительность, доходящая до мании.

Рассказывают, что О. С. наряжалась порою нищей и выходила на улицу с протянутой рукой, говоря: „Подайте жене великого писателя“.

Что руководило ею, неизвестно. Нужды она испытывать не могла, так как получала пособие из Литературного фонда, да и отец помогал ей.

Летом бабушка переезжала „на дачу“, т. е. из флигеля переходила в каретник, где устраивалась с полным комфортом, а чтобы не было страшно, клала с собой на ночь одну из дочерей вышеупомянутого почтальона.

Несмотря на ее капризы, причуды и вечное брюзжание, окружающие любили ее и уважали в ней „жену великого писателя“.

¹⁾ Здесь автором воспоминаний допущена некоторая ошибка: флигель находился не на Советской (б. Константиновской) ул., а на нынешней Армянской ул. против городского бульвара (недалеко от дома Шмидт, где теперь помещается Этнографический Музей) и был не подарен Ольге Сократовне нянькой, а куплен 28 июля 1880 г., что удостоверяется купчей, хранящейся в архиве Музея Чернышевского. (Прим. ред.).

В последний свой приезд в Саратов отец пришел в ужас, застав О. С. сидящей во флигеле в полном одиночестве, с неизменной кошкой на коленях, с распущенными волосами, в которых кишели паразиты. Благодаря энергичным хлопотам, ему удалось устроить ее в хроническое Отделение Городской больницы, где она и окончила свои дни.

В мае 1918 года, гонимая голодом, я переехала из Ленинграда в Саратов с моей маленькой двухлетней дочерью—белокурой и с голубыми глазками.

Первым моим побуждением было показать бабушке нового члена нашей семьи, уродившегося, наконец, в ее вкусе. К тому же—девочку.

В сопровождении Мар. Ал. Чернышевской (единственной, кого О. С. узнавала до последнего момента), я с бьющимся сердцем переступила порог бабушкиной обители. Первое, что бросилось мне не в глаза, нет—в нос—это резкий запах аммиака... Удерживая подступавшую к горлу тошноту, я храбро двинулась вперед. Узенькая полутемная комнатка с одним окошком. Три кровати. На которой же она? Мар. Ал. подводит меня к средней. Боже мой! Что же осталось от бывлой „красавицы“. В моем воспоминании О. С. сохранилась благообразной пожилой женщиной, довольно полной, выше среднего роста... Что же сейчас было передо мной? Под тонким одеялом обрисовывалось маленькое, худенькое тельце девочки лет 9... С крошечного, в кулачек, личика на меня глядели тусклые глаза, с любопытством впившиеся в новую посетительницу.

— Ольга Сократовна! Узнаете вы меня?—наклонилась к ней Мар. Ал. Безжизненный взор перешел на говорившую. Сделав видимое усилие мысли, живая мумия пробормотала еле внятно: „Машенька“...

— Ольга Сократовна! Я вам внучку привела, крестницу вашу—Марочку! принялась растолковывать Мар, Ал.

— Кого?—оживилась вдруг О. С.—Марочку? Да она в Петербурге!—И довольная тем, что не дала себя провести, О. С. хихикнула, обнажив беззубый рот.

— Да нет же! продолжала настаивать Мар. Ал.,—она здесь: она приехала сюда совсем, будет жить теперь тут, с дочкой, с вашей правнучкой!

На мгновение проблеск сознания озарил лицо О. С. Иссохшая до ужаса ручка протянулась ко мне из-под одеяла.

— Так ты Марочка? протянула она, все еще не вполне доверчиво.—Ну, поцелуй меня!

Пришлось приложиться к почерневшим холодным, как у покойника, губам.

— Да нет! спохватилась она, это не ты... Марочка некрасивая была... носастая... А ты вон какая... красавица...

Я не могла удержаться от смеха, который прозвучал как то кощунственно в этой могиле, среди полутрупов...

Проявившие на миг сознание тут же изменило О. С. Больше она уже не приходила в себя.

Оглядев меня с ног до головы, она обратилась ко мне холодно—вежливо, как к совершенно посторонней:—Так вы из Петербурга? Ну, расскажите, что там делается? Как Марочка живет? Она ведь замуж вышла? Какой у нее муж?

— Бабушка! Это я и есть Марочка! попыталась я втолковать ей истину. Но тщетно.

— Она в интересном положении, кажется?—продолжала очень довольным голосом О. С.

— Кто? в недоумении спросила я.

— Да Марочка!

Я убедилась в безнадежности вести сознательный разговор и стала стараться лишь быть любезной собеседницей.

В дальнейшем стало еще тяжелее.

— Слышишь?! вдруг оживилась она, прислушиваясь к чему то: это Миша! Он у меня тут в дровах играет под окошком...

— Ну, понесла, махнула рукой Мар. Ал.—Вот она все так! Теперь от нее ничего больше путного не добьешься! Идемте,

Я еще раз приложилась к живым мощам и с тяжелым чувством покинула больницу, облегченно вздохнув полной грудью на улице.

Так и не привелось мне похвастать перед О. С. белокурой правнучкой: 24 июля 1918 года О. С. тихо скончалась—уснула, чтобы больше уже не просыпаться.

Как человека глубоко верующего, О. С. похоронили с соблюдением всех церковных обрядов, невдалеке от могилы Ник. Гавр.

В числе прочих мелочей, оставшихся после нее, мне на глаза попала маленькая книжечка в коричневом переплете: это было „поминание“, в котором на первом листе была записана чуть не вся родословная дома Романовых, а в жестянке от печенья, рядом с портретом Ник. Гавр. бок о бок лежала открытка с изображением памятника Александра II, кто был первопричиной страданий Ник. Гавр., и кому пришлось в конце концов уступить свое место на памятнике великому борцу за народное благо.

Марианна Чернышевская.

Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской—жене покойного писателя Николая Гавриловича Чернышевского ¹⁾.

11 июля 1924 г. исполнилось 6 лет со дня смерти О. С. Чернышевской. В память ее и в память недавно умершего ее сына Михаила Николаевича, а также 35-ти летия со дня смерти Николая Гавриловича (в октябре сего года), я хочу поделиться своими воспоминаниями о ней.—Я была на заседании в Университете (в мае с. г.), посвященном памяти Михаила Николаевича—вскоре после его смерти, где я слышала доклад о покойной О. С., прочитанный ее внучкой Ниной Мих. Быстровой (дочерью покойного Мих. Ник.). Считаю долгом прибавить некоторые сведения о покойной О. С., которые были неизвестны ее близким родным, т. е. ее сыну и ее семье, так как они жили в Петрограде (теперь Ленинграде) и знали ее жизнь в Саратове только из ее писем, а переписывались они с ней не часто. Раз в год приезжал навестить ее сын Мих. Ник., но по этим кратким свиданиям нельзя было узнать близко ее жизнь, особенно последние годы ее жизни были им мало известны, когда она еще реже писала им.

Ближе всех в Саратове к ней была я; я постоянно навещала ее и делала для нее все, что могла, чтоб ей жилось не так тяжело и тоскливо. Она меня очень любила и в шутку называла „валериановыми каплями“. Когда она была расстроена чем нибудь, то сейчас-же успокаивалась, если я приходила к ней в это время. Я знала ее с детства. В детстве я жила в Вольске, где мой отец служил народным учителем. В то время в Вольске жила мать О. С. и сестра ее, и О. С. приезжала в Вольск навестить их иногда летом и всегда бывала у нас, когда приезжала. Мой отец был дальний родственник ²⁾ покойного Ник. Гавр.; но она относилась к нашей семье, как к родным, и очень уважала моего отца. Моему отцу хотелось определить меня учиться в Саратовскую гимназию (в Вольске тогда женской гимназии еще не было); но он не имел средств поместить меня в Саратове на хлеба в какую нибудь семью, и когда О. С. узнала об этом и услы-

¹⁾ Автор воспоминаний Мария Александровна Чернышевская, жительница Саратова, состоявшая много лет преподавательницей городских школ, по обстоятельствам своей жизни имевшая возможность близко знать Ольгу Сократовну, особенно в моменты пребывания ее в Саратове. (Прим. ред.).

²⁾ Крестник Г. И. Чернышевского из евреев-кantonистов г. Вольска. (Прим. ред.).

хала от меня, что я очень хочу учиться, то предложила моему отцу взять меня к себе, если я выдержу приемные экзамены в Саратовской гимназии. Она жила тогда в Саратове, а летом приезжала в Вольск и была у нас, и, уезжая, сказала, чтоб отец привозил меня к ней в Саратов. Я выдержала экзамены и поступила в 4-ый класс Саратовской гимназии (отец подготовил меня в 4-ый класс.) Мне было тогда 12 лет, когда О. С. взяла меня к себе. Мы жили с ней в небольшой квартире—в 2 комнаты,

Она сама хозяйничала, а я училась. Жили мы очень скромно,—никто у нас не бывал, и она редко где бывала. Бывала изредка у нас сестра О. С., переехавшая из Вольска опять в Саратов после смерти матери, которая умерла в Вольске. Навещала О. С. еще племянница ¹⁾ дочь другой ее сестры умершей. Эта племянница и теперь живет в Саратове. Изредка заходили знакомые. О. С. было тогда более 40 лет; но она была очень моложава и интересна. Видно было, что она была красива в молодости, и была—вероятно—очень живая и веселая. К людям вообще она была требовательна и любила порядок во всем. Трудно было на нее угодить, как говорили некоторые; но я всегда умела на нее угодить, хотя и не старалась, а выходило это как то невольно, и мы с ней всегда были дружны, и дружба эта продолжалась до самой ее смерти. Жить вместе с ней мне пришлось только первый год моей гимназической жизни: на следующий год она поехала зимовать в Петроград, а меня устроила у своей сестры на следующий учебный год. На летние каникулы сама отвезла меня в Вольск.—Она не любила тогда жить долго на одном месте: то зимовала в Саратове, то в Петрограде, изредка в Москве (в Москве одно время жил мой брат, и она жила у него не раз). Когда я жила у ее сестры, мы с ней переписывались, и после я с ней переписывалась, когда она уезжала из Саратова, но—к сожалению—у меня не сохранились ее письма.—После окончания гимназии я уехала в г. Казань на Высшие Женские Курсы, где училась 2 года, и мы виделись с ней тогда во время летних какинул только.—Летом она ездила иногда лечиться; прежде ездила на Кавказ, а потом несколько раз ездила в Липецк. Одно лето я с сестрой ездила тоже в Липецк, и вместе с О. С. провела там лето.—После окончания высших курсов я стала служить в Саратове учительницей. О. С. тогда часто зимовала в Саратове, и тогда мы виделись с ней часто, хотя жили не вместе. Иногда она рассказывала мне из прошлого своей жизни; но вообще она не любила вспоминать прошлое.—Из ее рассказов я знаю, что она роди-

¹⁾ Варвара Александровна Буковская, ур. Котлубай дочь А. С. Васильевой, к которой в 50-х г.г. сватался Добролюбов (Прим. ред.),

лась в Саратове и была старшей дочерью—известного в свое время в Саратове врача Сократа Евген. Васильева, имевшего большую семью.

О. С. была любимица отца, которого и сама она любила. Мать ее была очень строга и требовательна к детям, особенно к О. С., которая выделялась своей живостью и самостоятельностью, что в то время не позволялось тогдашним „барышням“, от которых она резко отличалась, что и не нравилось ее матери, и она с матерью часто ссорилась.—После смерти Сокр. Евг. когда все дети стали взрослые, мать ее с младшей дочерью переселились в Вольск, где и умерла, прожив там несколько лет. Мои отец и мать навещали ее там. О. С. ездила в Вольск почти каждое лето навещать свою мать, как я писала уже об этом, забыв свою вражду к ней в детстве и в молодости. Она была добрая по душе и мать свою все-таки уважала. Когда она вышла замуж за Ник. Гавр., уехала с ним в Петербург и прожила там счастливо лет 10 до ареста и ссылки Н. Г. в Сибирь. У нее было 3 сына, из которых старший Александр был болезненный. Он учился в Петрогр. университете и жил всегда в Петрограде ¹⁾. Приезжал в Астрахань повидаться с отцом, когда он вернулся из ссылки, а потом уехал за границу лечиться и умер в Италии. Второй ее сын умер ребенком, а третий—Михаил, который умер в мае этого года. Когда ему было 8 лет, О. С. ездила с ним к отцу в Сибирь, где прожила недолго и по желанию Н. Г.—вернулась в Петербург с сыном, где и жила с детьми, пока они учились ²⁾.

Н. Г. не хотел, как она рассказывала, чтоб она терпела такие лишения в жизни, какие ему пришлось испытать в ссылке; он очень любил О. С. и просил ее уехать обратно да еще с ребенком тем более. Она недолго там пожила и уехала обратно. Переписывалась она с ним довольно часто ³⁾.

Во время образования детей ей много помогал известный А. Н. Пыпин—двоюродный брат Ник. Гавр.—тоже саратовец. О. С. очень его уважала. Когда дети закончили образование, О. С. уехала из Петрограда в Саратов, но по временам жила там, особенно на зиму иногда туда уезжала.—В ту зиму, когда случилась в Петрограде „Гапоновская история“, О. С. зимовала

¹⁾ А. Н. Чернышевский часто ездил в Саратов и до гимназии учился в Нижнем Новгороде; два раза гостил у отца в Астрахани и 3 раза побывал за границей прежде, чем переселиться туда навсегда. (Прим. ред.)

²⁾ Пока дети учились, Ольга Сократовна раз'езжала по разным городам и меняла местопребывание с баснословной быстротой, о чем свидетельствуют ее записные книжки. (Прим. ред.)

³⁾ Письма от Н. Г. приходили раз в месяц и реже, но был в переписке перерыв, тянувшийся более года (с апреля 1868 по июль 1869). Впоследствии Н. Г. Чернышевский объяснял этот перерыв желанием дать Ольге Сократовне возможность забыть его и выйти замуж за кого-нибудь другого. Но Ольга Сократовна не сделала этого, и переписка возобновилась. (Прим. ред.)

там, и эта „история“ так на нее подействовала, что она быстро после этого уехала оттуда и больше в Петроград уже не ездила ¹⁾). С тех пор она жила в Саратове до самой смерти почти безвыездно.—В 1884 г. ²⁾—в год возвращения Н. Г. из Сибири—она переехала в Астрахань, куда его перевезли из Сибири и разрешили там жить. Она поехала туда заранее, чтоб приготовить квартиру к его приезду и встретить его там ³⁾). Жили они там около 5 лет ⁴⁾, до того времени, когда разрешили Н. Г. жить на родине—в Саратове. В июне 1889 г. они переехали в Саратов, а в октябре 1889 г. Н. Г. умер. 4 месяца только пришлось ему жить на родине, а он так ждал этого возвращения! О. С. была огорчена его смертью.—Я ездила к ним в Астрахань летом познакомиться с Н. Г., но беседовать приходилось с ним мало, и в Саратове тоже, когда они переехали, мало пришлось с ним говорить, да и жил-то он так мало в Саратове. Моя сестра жила у них в Астрахани одно лето, и у нее осталось светлое воспоминание о Н. Г., как о человеке необыкновенно гуманном и добром.—О. С. очень охраняла его покой и не давала ему утомляться лишними разговорами, так как он очень много работал и в Астрахани, и в Саратове до самой смерти. (Переводил он тогда историю Вебера). Он всегда был очень приветлив и внимателен ко всем. Такие люди гуманные, снисходительные к другим и всепрощающие, каков был Н. Г., встречаются редко, и О. С. ценила все его качества и берегла его. Когда она после вспоминала его, всегда говорила, что это был человек редкой души, и остался таким же и после ссылки. Никогда никто не слыхал от него ни ропота, ни упрека по чьему либо адресу, говорила она. Весной в 1890 году О. С. поставила памятник Н. Г. в виде часовни ⁵⁾), который стоит и сейчас на саратовском кладбище. Часто ездила она на кладбище, иногда и я с ней бывала там, и всегда почти плакала она около могилы. Долго она не могла забыть свое горе. После смерти Н. Г. О. С. ездила несколько раз в Петроград, жила там в семье сына, любила она своих внучаток, и очень любила получать от них письма, когда жила в Саратове. Когда она жила последние годы в Саратове, то иногда очень

¹⁾ Последний год пребывания О. С. в Петербурге—1908. (Прим. ред.).

²⁾ В 1883 г. (Прим. ред.)

³⁾ Встретить Н. Г. в Астрахани Ольге Сократовне не пришлось: встреча произошла раньше в Саратове 22 окт. 1883 г., а на другой день Н. Г. увезли в Астрахань. Ольга Сократовна могла только следовать за ним на пароходе. В Астрахани они жили сначала в номерах Смирнова, а потом нашли квартиру в доме Ханькова на Почтовой ул. (Прим. ред.).

⁴⁾ 6 лет. (Прим. ред.).

⁵⁾ Памятник в виде столба стоял давно уже над семейным склепом, где были похоронены мать, отец и сын Н. Г. Чернышевского, Виктор, за ним дочь Е. Н. Пыпиной и затем уже Чернышевский. Часовня была поставлена в 1892 г. на общественные средства. (Прим. ред.).

скучала о сыне и о внучатах, а потому и была всегда очень рада их письмам. Жила она последние годы очень скромно, получая пособие из Литературного Фонда ¹⁾. Всегда читала газеты и читала без очков. Из дома выходила она очень редко, особенно зимой, а последнее время, когда ее здоровье пошатнулось, и весной, и летом даже не выходила почти дальше своего двора. Жила она все время почти одна, и когда ей одной стало трудно жить, она стала просить, чтоб ее устроили в богадельню, куда ее и поместили; но ей там не понравилось, и она жила там недолго. Когда потребовался уход за ней, ее поместили в „хронику“ при городской больнице, где устроили в отдельной комнате и старались быть к ней внимательны все, начиная от врача и т. д.; но ей все-таки жилось там тяжело и тоскливо... Туда редко кто заглядывал к ней кроме меня. Я навещала ее часто и приносила ей чтонибудь из съестных продуктов, так как стол для больных был однообразный и неважный. Она всегда была очень рада мне, и жаловалась на тоскливую и одинокую жизнь в больнице... Кроме меня ее навещала моя сестра иногда, ее племянница изредка и одна старушка Григорьева—ее старинная знакомая тоже изредка. Эта старушка принимала большое участие в похоронах О. С. Она уже умерла. Навещал ее иногда еще мой брат—врач, который и теперь живет в Саратове. Он ее знал тоже с детства.—Последний год О. С. была очень слаба, не могла ходить; у нее отекали ноги, и ей их трудно было двигать. Месяца за 2 до смерти она сделалась апатичная, часто забывала, что говорила, или как будто теряла даже сознание по временам; иногда ей казалось, что сын сидит около нее, или из внучат видит которогонибудь,—галлюцинации были.—Вероятно ей хотелось их видеть. Весной 1918 г. приехала в Саратов ее старшая внучка (дочь Мих. Ник.) из Петрограда. Она навестила О. С. в „хронике“, но О. С. как будто не совсем узнала ее, так что внучке тяжело было видеть бабушку в таком состоянии.

28 июня по ст. ст. или 11 июля по нов. ст., О. С. скончалась, и последние дни была почти без сознания, даже меня не узнавала. Похороны ее были довольно торжественные. А сама она иногда говорила, чтоб хоронить ее как можно проще. Хоронили ее на счет Исполкома. На похоронах была ее старшая внучка из близких ее, затем родственники Саратовские—ее племянница с семьей,²⁾ все мои родственники и знакомые, знавшие О. С., и вообще народу было порядочно. По-

¹⁾ О. С. получала от сына, М. Н. Чернышевского, от 40 до 60 р., в месяц, а из Литературного Фонда—25 р.

²⁾ Считаю необходимым добавить, что Ольга Сократовна в последние годы жизни была окружена заботами своей племянницы В. А. Буковской и ее многочисленной семьи, о чем автор воспоминаний упоминает слишком мало. (Прим. ред.).

хоронили ее рядом с ее отцом по ее желанию. — После ее смерти уже ее сын Мих. Ник. переехал с семьей в Саратов из Петрограда, и ей не пришлось дожить до переселения своих близких в Саратов. Мне пришлось хоронить Николая Гавриловича и Ольгу Сократовну, а весной в этом году и сына их Михаила Николаевича, оставившего память о себе, как основателя и собирателя Музея памяти своего отца.

У меня останется всегда самое хорошее воспоминание об Ольге Сократовне.

М. Чернышевская.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

А. (нотариус).—210.
Александр Павлович, император—198.
Альба, герцог—3.
Андреев (псевдоним Н. Г. Чернышевского)—89.
Аничков, В. М.—162.
Анненков, П. В.—75.
Антипов—192.
Антонов, М.—48. 53.
Антонович А. М.—142. 161. 162.
Анфанген—134.
Аристотель—74. 76. 193.
Арсеньев, К. К.—58.
Арцимович—159.

Б...ова, Софья—66.
Бакунин, М.—116.
Баллин, Л. В.—135.
Бальзак—132.
Барсов—59.
Барышев (Мясницкий) И. И.—141. 146. 147.
148. 152. 153. 154.
Басистов, В. Е.—150.
Батюшков, К. Н.—88.
Бахметев—116.
Безант—139.
Бек—167.
Белинский, В. Г.—47. 75. 79. 85. 159. 160.
Беллами—139.
Белов, Е. А.—170. 174. 178. 185. 188. 189.
191. 192.
Благой, Д.—76.
Венедиктов, В. Г.—77.
Бентам—110.
Берг, Ф.—156. 178.
Веппекер—69.
Бирюков—76.
Бобров—88.
Бодянский—71.
Бекль—65.
Боков, П. И.—114. 115. 116.
Боковы—94.
Борисов, И.—98.
Брамбеус—160.
Бродский, Н. Л.—135. 136.
Буковская, В. А.—216. 219.
Булич—193. 194. 195.
Бурбонов, см. Минаев, Д. Д.
Буслаев—75.
Быков, П.—159.
Быстрова, см. Чернышевская—Быстрова,
Н. М.

Вайц, Г.—58. 62.
Валуев—97. 131.
Васильев, Венедикт Сокр.—210.

Васильев, Н. А.—58. 63. 67.
Васильев, С. Е.—207. 217.
Васильева, А. С.—216.
Васильева, Ерминия Сокр. Миночка—210.
Васильева, О. С.—см. Чернышевская, О. С.
Введенский, И. И.—161. 172.
Вебер, Г.—66. 141. 142. 146. 218.
Вейсентур—75.
Венгеров, С. А.—75.
Vergilius—67.
Ветошников, П.—92.
Виппер, Р. Ю.—67.
Виноградов, И. Н.—116.
Владимир Тимофеевич—179.
Водовозова, Е. Н.—138. 139.
Военский, К.—131.
Волжский—139. 140.
Волков, П. Ф.—181. 189.
Волькенштейн, М. Ф.—139.
Вольф, баронесса—207.
Воронов, Ив. А.—170. 174. 179. 191.
Воронов, М. А.—170. 171. 191. 192.
Востоков—88.
Вышнеградский, Н. А.—188.
Вяземский—79.

Газдрубал—89.
Гакстаузен—42. 51. 63.
Галич—88.
Гамилькар—90.
Гартман, М.—167.
Гаршин, Вс.—139.
Гацисский, А. С.—164.
Гегель—58, 60.
Гейне—165. 166.
Гераклитов, А. А.—187.
Гервинус—93.
Герцен, А. И.—47. 62. 92. 116. 158. 160.
Гиббон—57. 58. 60. 63. 64. 66. 67.
Гизо, Ф.—58. 59. 60. 67. 193.
Гильфердинг, А. Ф.—71.
Гипарх—67.
Гиппиус, В. (В. Г.)—78. 80. 88. 91.
Глинский, Б. Б.—95.
Гогенштауфены—61.
Гоголь, Н. В.—74. 75. 79. 135. 155.
Голицин—97.
Голубев, В. Ф.—144.
Голубева, П. И.—197. 203.
Гольденберг, Л. Б.—135.
Гольцев, В. А.—145.
Гомер—82. 83. 88.
Гонкуры—75.
Гончаров, И. А.—130.
Гонорий, имп.—64.
Горлов, Иван—44.
Городецкий, С. М.—87.

Грачев, В. Е.—147. 152.
Гревс, И. М.—57.
Грибосдов, А. С.—75.
Григорьева—219.
Гримм—194.
Грюн—167.

Д., М.—161.
Даль, В.—69.
Дан—58.
Дандевиль, Б. Д.—161.
Денфер—200.
Дмитриев, А.—194.
Добролюбов, Н. А. 75. 77. 78. 83. 116.
118. 156. 161. 164. 166. 216.
Допш, А.—60.
Достоевский, Ф. М.—124. 132. 164.
Дурасов, В.—191. 193.
Дурново, П. Н.—143
Духовников, Ф. В.—114. 115. 162. 170.
189.
Дюбо, аббат—57, 58.
Дэнзиль Элиот (псевдоним Н. Г. Чернышевского)—89.

Ешевский, С. В.—58.

Жадовская, Ю.—78.
Жемчужников, А. М.—164.
Жирмунский, В. М.—87. 88.
Жуковский, В. А.—83, 84. 85. 88. 174.

Зайцев—77.
Захарьин, А. В.—142. 143. 144. 145. 146.
Захарьин-Якунин—168.
Зеек, Отто—57. 63. 66.
Зельманов—139.
Зибель—58. 62. 65.
Золя—139.
Зом—58.
Зыков, С. П.—162.

Иаков, еп—204.
Иванов, Ю. А. 66.
Иванов-Разумник—47. 48.
Измайлов, А.—115.
Ильинский, Г. А.—72.
Искандер, см. Герцен, А. И.
Ишутин—137.

Каменев—88.
Кант—149.
Капнист—83.
Карл Великий—64.
Каракозов—137.
Карамзин, Н. М.—88. 89.
Карлейль—41.
Каролинги—67.
Карпентер—142.
Кассовский, В.
Катенин—75.
Каутский, К.—49.
Клиентова, А. Г.—112.
Клодий—194.
Клочков, В. М.—168.
Княжнин Я. Б.—194.

Княжнин, В. Н.—159.
Кобылина, Е. Н.—112.
Ковалевский, Вл.—115.
Ковальская (Солнцева), Е. Н.—135. 137.
Кожевников—188.
Кольцов, И. В.—86. 87
Комин де, Филипп—60.
Консидеран—111. 133. 134.
Корнилов—203.
Костомаров, Всеволод—94 136. 157. 158.
167. 168
Костомаров, Николай (брат Всеволода)—167.
Костомаров, Н. И. (историк)—181.
Котляревская, Л. Н.—160.
Котляревский—118.
Кропоткин, П.—35.
Круглов, Л. П.—178. 181.
Кубарев, А.—79.
Кукольник, Н. В.—75.
Куторга, М. С.—61. 62. 67.
Кюмон (Simont Fr), Ф.—64. 67.
Кюхельбеккер, В. К.—88.

Лакомте, М. А.—170. 183. 184. 185. 186.
Лауферт—173
Лебедев, А.—114. 115.
Лейкин—146.
Лемке, М. К.—94. 96. 108. 135. 138. 164.
168.
Ленин, В. И.—50.
Леонтьев, П.—82.
Лермонтов, М. Ю.—78. 84. 174. 191.
Лободовская, Н. Е.—95. 112.
Лободовский, В. П.—95. 112. 117.
Ломоносов, М. В.—79. 88.
Ломтев, Е. И.—178. 191.
Людовик XI—60
Ляцкий, Е. А.—112. 161. 170. 186.

Майков, Вал.—160.
Майн-Рид—149.
Мальтус—50.
Маслов, П.—47.
Маркс, А. Ф. (издатель)—75. 165.
Маркс, Карл—56
Мармье—194.
Маурер—63.
Мейер, Э. К.—64. 66. 57. 181. 182. 187.
192.
Мещеряков, Н. Л.—50.
Миль, Д. С.—46. 52. 54. 110. 134. 131.
Милон Тит Анний—194.
Мильтиад—67.
Милюков, А. П.—161.
Минаев, Д. Д. (псевдоним Бурбонов)—77.
Михайлов, М. И.—134. 157. 168.
Михайловский, Н. К.—85.
Михальский, В.—193.
Мняковский, В. В.—168.
Молешотт—149.
Молоствов—192.
Моммсен, Т.—58. 66.
Мопассан—131.
Монтескье—57. 58. 60.

Мордовцев, Д. Л.—95,
Мясницкий, см. Барышев, И. И.

Надеждин, Н. И.—79.
Назарьев—76.
Найденов, В.—193.
Некрасов, Н. А.—76. 83. 84. 85. 86. 87.
90. 118. 155. 159.
Никитенко, А. В.—61. 62.
Никитин, И. С.—77. 87.
Николаев, П. Ф.—137.
Николай Павлович, император—170.

Ободовский—75
Оболенский, Л. Е.—137.
Обручев, В. Л.—113. 113.
Обручев, Н. Н.—162.
Обручева, М. А.—115. 116.
Огарев, Н. П.—76
Огарева-Тучкова, Н. А.—116.
Островский, А. Н.—154.
Оуэн, Р.—40. 41. 48. 49. 50. 53. 55. 111.

Пажитнов, К.—46. 47. 136.
Палимпсестов, И.—170. 173. 195.
Пантелеев, Л. Ф.—142,
Панчулидзе, А. Д.—205.
Пашковский, К.—194.
Пекарский—118.
Перевлесский—79.
Пересьо—58.
Песков, Ив.—193.
Печковский, А. В. 148.
Пиль—193.
Писарев, М. И.—73. 74. 76.
Писемский, А. Ф. 75. 80.
Платон—193.
Плетнев, А. Н.—160.
Плеханов, Г. В.—48. 49. 53. 57. 59. 62
67. 73. 130.
Плещеев, А. А.—168.
Плещеев, А. Н.—76. 155. 169,
Поджи—58. 61.
Помяловский—110.
Понтус-е-Фальбек—65.
Потапов, А. А.—93. 94.
Прейс, П. И.—68.
Пржецлавский, О. А.—96, 97.
Протопопов—160.
Прудон—61.
Пруц—167.
Путилин—168.
Пушкин, А. С.—76. 79. 80. 81. 82. 84. 85.
86. 88. 135. 149. 154. 174. 190. 193. 195.
Пылин, А. Н.—84. 93. 94. 95. 97. 141. 142.
143. 146. 148. 155. 159. 192. 217.
Пыпина (Ляцкая), В. А.—94. 117. 209.
Пыпина, Евг. Н.—94. 109. 116.
Пыпина, Ек. Н.—94, 116. 218.
Пыпины—208. 209.

Рагозин—145.
Раумер—61.
Редвиц—167.
Рейнгардт, Н. К.—97. 137.
Рекло, Элизе—59. 67.

Решетников—79.
Росницкий, Н.—194.
Ростовцев, Я. А.—167.
Рот—53.
Рудаков, В. Е.—97.
Русанов—140.
Рылеев—161.

Салтыков, М. Е.—75. 76. 88.
Санд, Жорж—111. 113. 134.
Сен-Симон—48. 55. 111. 133.
Серно-Соловьевич, Н. А.—92.
Сеченов, И. М.—94. 114. 115. 116.
Сенковский, см. Брамбеус,
Сераковский—116.
Синайский—172, 191.
Скабичевский, А. М.—136.
Скальковский—137.
Смирнов, свщ.—178.
Смирнов—218.
Солдатенков, К. Т.—146. 147. 148. 149.
150. 151. 152. 153. 154.
Сорокин, А. Ф.—93.
Спенсер, Г.—142. 149.
Срезневский, И. И.—62. 68. 70. 72. 118.
175.
Staël, de, M-me—117.
Стасюлевич, М. М.—144.
Стеклов, Ю. М.—48. 56. 116.
Стоянин, В.—71.
Страхов, Н.—136. 137.
Студенцов—170.
Сумароков, А. П.—84.
Сушицкий, В. А.—184.

Ткачев, П. Н.—75.
Толстой, Ал.—87.
Толстой, Л. Н.—75. 76. 130. 132. 135.
139.
Томашевский, Б. В.—81. 82.
Троицкий, врач—191.
Туган-Барановский, М. И.—41. 47. 49.
Туманов, Г. М.—162.
Тургенев, И. С.—76. 85. 135. 149.
Турчанинов—115.
Турчанинов, Н.—194.
Тютчев, Ф. И.—85.
Уваров, С. С.—83.
Успенский, Н.—109. 110.
Устрялов—62. 186.
Уэльс—139.

Феокистов—143.
Фет, А. А.—76. 77. 85.
Филиппов—161.
Фишер—62.
Флак, Ж.—60.
Флобер—131. 132.
Фрейлиграт—167.
Фурье, П.—40. 48. 49. 61. 111. 133. 134.
Фюстель де Куланж—58. 64. 65. 66.

Ханыков—161. 218.
Хвостов, М. М.—57.
Хвощинская—75.
Хоментовская, А.—168.

Цитович, П.—135.
 Цицерон—194.
 Чернышевская, М. М. (Марианна, Марочка)—213. 214.
 Чернышевская, М. А.—213. 219.
 Чернышевская, Ольга Сократовна 65. 112. 113. 114. 115. 117. 118. 152. 162. 206. 219.
 Чернышевская-Быстрова, Н. М. (Н. Ч. Б.)—67. 94. 116. 174. 215.
 Чернышевский, А. Н. (Александр)—144. 146. 211. 217.
 Чернышевский, В. Н. (Виктор, Витенька)—211. 218.
 Чернышевский, Г. И.—67. 204. 215.
 Чернышевский, М. Н. (Михаил, Миша)—3. 36. 94. 115. 118. 139. 142. 144. 145. 146. 148. 209. 210. 211. 214. 215. 217. 218. 219.
 Чехов, Ант.—132. 151.
 Чехихин-Ветринский, В. Е.—62. 137. 138. 164. 168. 170.

Чуковский, К. И.—85.
 Шапошников—186. 191.
 Чемпионьер—58.
 Шелгунов, Н. В.—162.
 Шенгелли, Г.—81.
 Шлоссер—149.
 Шмидт—203. 212.
 Шрадер—142.
 Щепкина, Е. И.—136.
 Щербина—76. 77.
 Эйхенбаум, Б. М. 83. 84.
 Эмпедокл—90.
 Энгельс, Фр.—48. 49. 56.
 Эрикур-дэ, Женни—134.
 Юдин, И. Л.—159.
 Юдин, М. Л.—159. 163.
 Юдин, П.—170. 183. 184. 185.
 Ягеллоны—194.

Важнейшие опечатки:

Стрн.	Стрк.	Н А П Е Ч А Т А Н О:	С Л Е Д У Е Т:
63	26 св.	влитние	влияние
65	18 св.	Зебеля	Зибеля
67	16 св.	т. VII	т. VIII
67	19 св.	Uergiius	Cergilius
69	10 сн.	fbstrba	jbstrba
83	18 св.	enjabmement	enjambement
84	6 св.	Филантроке	Филантропе
97	9 сн.	и	,
98	1 св.	редких	немногих